СЕЛЕСТА АЛЬБАРЕ

Господин Пруст

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Селеста Альбаре
Господин Пруст
Воспоминания, записанные Жоржем Бельмоном

Лишь в конце XX века Селеста Альбаре нарушила обет молчания, данный ею самой себе у постели умирающего Марселя Пруста.

На ее глазах протекала жизнь "великого затворника". Она готовила ему кофе, выполняла прихоти и приносила листы рукописей. Она разделила его ночное существование, принеся себя в жертву его великому письму. С нею он был откровенен. Никто глубже нее не знал его подлинной биографии. Если у Селесты Альбаре и были мотивы для полувекового молчания, то это только беззаветная любовь, которой согрета каждая страница этой книги.

- Господин Пруст
  - Предисловие
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
  - XIX
  - XX
  - XXI
  - XXII
  - XXIII
  - XXIV

- XXV
- XXVI
- XXVII
- XXVIII
- XXIX
- XXX

- notes
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

Господин Пруст

Предисловие

Сразу после смерти Марселя Пруста, бывшего уже тогда, в 1922 году, знаменитостью, возник настоящий ажиотаж вокруг свидетельств и воспоминаний той, кого он называл не иначе как «дорогая моя Селеста». Многие знали, что только она, единственная прожившая рядом с ним день за днем восемь наиболее значительных лет его жизни, хранила в своей памяти самое главное о личности, прошлом, друзьях, влюбленностях, понимании мира и о творчестве этого гениального больного. Знали и то, что целыми часами каждую ночь — а ночи заменяли для этого человека день, и утро начиналось у него в четыре часа пополудни — Селеста Альбаре пользовалась исключительной привилегией слушать и то, что приходило ему на память из прошлого, и сиюминутные впечатления, когда он приезжал из гостей; видеть его гримасы и слышать простодушный, как у ребенка, смех; и тут же он начинал говорить о какой-нибудь из глав своей книги. Никто, кроме нее, не видел его таким.

Селеста была в центре всего, и свидетельства ее самые важные. Тем не менее целых пятьдесят лет она не соглашалась нарушить молчание, говорила, что ее жизнь ушла вместе с Марселем Прустом. Как и он, затворившийся в своем творчестве, она хочет остаться наедине с воспоминаниями. Только там еще жив тот блистательный повелитель духа и чудовище тирании и добра, которого она «любила, терпела и которым наслаждалась». Пытаться передать все это, да еще, как ей казалось, неумело и неловко, значит совершить предательство.

И если в восемьдесят два года она передумала, то лишь потому, что увидела, как другие, не столь щепетильные, предают Марселя Пруста, не зная всего того, что было известно ей, давая волю избытку своего воображения, а, быть может, ради привлечения внимания к собственным мелким «интересным» гипотезам.

Пусть мне простят и мое собственное объяснение. Чтобы остаться честным перед самим собой, я должен сказать, что никогда не согласился бы стать эхом г-жи Альбаре, если бы уже через несколько бесед с нею — а они продолжались в течение пяти месяцев — не убедился в абсолютной достоверности ее откровенных рассказов. Ведь эта книга неизбежно заденет многие устоявшиеся идеи и навряд ли обойдется без скрежета зубовного. Поэтому я хотел быть уверенным в том, что не впаду в иную разновидность предательства — как я однажды сказал госпоже Альбаре, я не хочу создавать образ святого.

Семьдесят часов, потраченные при разговорах на одни только проверки и перепроверки, дали мне необходимую уверенность. Бывало, мы возвращались по семь или восемь раз к одному и тому же, то ли в связи с другими сюжетами, а иногда и совершенно неожиданно для нас самих. И ни единого раза я не заметил хотя бы малейшего противоречия. К тому же есть нюансы, которые не обманывают. Если читатель услышит в этой книге слышанное мною, я не сомневаюсь, что он различит здесь самый проникновенный из всех голосов — голос сердца.

Весь мой труд, когда я записывал говорившееся, и заключался в тщательном сохранении этого голоса и, конечно, в разделении на темы и главы. Следует сказать еще об одном,, что окончательно убедило меня: за те месяцы, которые последовали вслед за нашими беседами, наша книга рождалась не только благодаря этому голосу сердца; я жил тогда весь окутанный и пронизанный Марселем Прустом, и мне являлись чуть ли не настоящие видения. Не раз я был в полной уверенности, что это сам Пруст. Никогда до тех пор ни одна книга не порождала во мне столь ясного ощущения такого присутствия.

Жорж Бельмон

Я должен особенно поблагодарить здесь тех, чья помощь в исследованиях и проверках, столь необходимых для такого труда, воистину неоценима. Это Одиль Жеводан — дочь г-жи Альбаре, Сюзанна Кадар и Тортензия Шабрье.

I
Я УВИДЕЛА НАСТОЯЩЕГО АРИСТОКРАТА

Дочери моей Одили

Прошло уже шестьдесят лет, как я увидела его в первый раз, но все было как будто только вчера. Он часто говорил мне: «Когда я умру, вы будете все время вспоминать маленького Марселя, ведь никогда уже не найдется другого такого же». Теперь я уверена, что он был, как, впрочем, и всегда, прав. Я никогда не оставляла его, не переставала думать о нем и брать с него пример. Когда не спится по ночам, он как будто разговаривает со мной. А если случается что-нибудь и не знаешь, как тут быть, я спрашиваю себя: «А будь он здесь, что бы он посоветовал?» Я слышу его голос: «Дорогая Селеста...» — и уже знаю, как бы он ответил. Все, что случается со мной хорошего, посылает он, ведь он желал мне только добра, бывал так доволен, когда я радовалась чему-нибудь или когда ему хвалили меня. И если он был таким большим человеком на земле, разве может быть по-другому, и, кроме того, я уверена, что и там он остается вместе со мной.

Десять лет это не так уж долго. Но за эти десять лет с г- ном Прустом в его доме для меня прошла целая жизнь, и я благодарю судьбу, ведь я не могла даже мечтать о чем-нибудь более прекрасном. Я даже не понимала, что это такое. Просто жила со дня на день, и мне было хорошо. А когда говорила ему об этом, он отвечал:

— Послушайте, Селеста, но жить по ночам, все время, с больным, ведь это так тоскливо?

Я возражала, он посмеивался, но, конечно, понимал, что значит для меня такая жизнь. Это трудно выразить словами. Его шарм, его улыбка, манера говорить, подперев рукой щеку. Он задавал тон, как в песне. И когда для него остановилась жизнь, кончилась она и у меня. Но песня осталась.

Да, судьбе было угодно свести меня с ним. Могла ли я знать, выходя замуж, что это приведет меня к нему?

В 1913 году мне не было еще и двадцати двух, и я еще ничего не видела, кроме своего Оксилака, там, в Лозере, и нашего большого дома. Я просто обожала всех — и мать, и отца, и сестру, и братьев — и даже не думала о замужестве или о том, чтобы

куда-нибудь уехать. Мой будущий муж, Одилон Альбаре, приезжал в отпуск к моим двоюродным сестрам. Это был очень приятный молодой человек с добрым круглым лицом и густыми усами по моде того времени. Он жил в Париже и работал на такси. Ему было на десять лет больше, чем мне, он родился в 1881 году. Я знала, что у него еще в детстве умерла мать. Может быть, моя любовь к матери и скрытая в нем печаль о его потере и сблизили нас.

У него была замужняя сестра, очень энергичная и властная, заменившая его братьям мать; в то время она держала в Париже кафе на углу улиц Монмартр и Фейдо. Ее звали Адель, по мужу г-жа Ларивьер, г-н Пруст упомянул о ней в одной из своих книг, — кажется, в «Обретенном времени». Моя сестра, к которой приезжал в отпуск Одилон, говорила, что Адель хочет устроить наш брак. Одилона я знала хорошо, он мне очень нравился, мы даже переписывались, но виделись не так уж часто, и мысль о замужестве мне и в голову не приходила. К тому же у нас в семье было какое-то предубеждение против Одилона. Даже за десять дней до свадьбы мой двоюродный брат говорил матери, что он совсем не подходит для меня из-за Парижа, что это слишком далеко. Тогда в провинции, особенно в деревнях, семьи жили вместе, и браки не отрывали их от земли. В конце концов Одилон сделал мне предложение, и оно было принято.

Мы поженились 27 марта 1913 года. Но буквально перед тем, как все семейство отправилось в церковь, почтальон неожиданно приносит Одилону телеграмму, и я вижу, как мой муж вдруг разволновался. Я его спрашиваю:

— Что случилось?

— Это один мой парижский клиент поздравляет меня и желает всяческого счастья. Конечно, это совсем необычный клиент, не такой, как все, но никогда бы не подумал, что ему придет в голову послать мне телеграмму.

И больше ничего мне уже не говорил.

Я видела, как он растрогался. Телеграмма, он мне ее показал, и вправду была очень трогательная. Я сохранила ее: *«Примите поздравления, не пишу больше из-за гриппа и слабости; от всего сердца желаю счастья вам и всем вашим».* И тут же подпись: *«Марсель Пруст».*

Так я впервые услышала о нем. Никогда, начиная с нашего знакомства и во все время жениховства, Одилон не проронил ни слова про него. Потом, уже днем, он сказал, что это один хороший клиент, которого он предупредил, уезжая из Парижа, что едет жениться и две-три недели не сможет приезжать за ним на такси, как обычно. Г-н Пруст спросил его:

— А куда же вы едете?

— На свою родину.

— И где ваша родина?

Одилон объяснил ему, но г-н Пруст спросил еще: А когда же свадьба?

Потом я узнала, что это его обычная манера выспрашивать, и, конечно, уже в тот момент поздравительная телеграмма была у него в голове.

После свадьбы, которую устроили как раз на Пасху, чтобы собраться всей семьей, мы все отправились в Париж и там вместе уже закончили праздники. Только для нас одних потребовался чуть ли не целый вагон. Я не спала всю ночь и помню, как страшно сердилась на мужа за то, что он, как и все другие, заснул и до меня никому не было никакого дела. А утром, выйдя на Лионском вокзале, среди всего этого дыма и людской толпы, суетящейся в поисках такси, почувствовала себя совсем потерянной. Наконец Одилон нашел машину. Помню, как мы проезжали мимо Французского Театра и муж, указывая пальцем, сказал:

— Смотри, там, внизу, это Опера.

— Я взглянула и, увидев только зеленоватую крышу, удивилась:

— Вот это?

У нас была маленькая квартирка в новом доме на Леваллуа, которую Одилон нашел с трудом. Как он потом объяснил, дело было в том, что ему очень хотелось жить поближе к одному кафе, которое закрывалось совсем поздно ночью из-за того самого человека, «его» г-на Пруста, который иногда звонил ему по телефону или оставлял записку до десяти, одиннадцати часов или даже до полуночи с просьбой заехать за ним. Раньше эти записки получала сестра Одилона Адель, г-жа Ларивьер, в своем заведении на улице Монмартр; но мужу больше подходила Леваллуа, там было удобнее ставить его такси; к тому же совсем рядом располагалось кафе-табак с телефоном, открытое до поздней ночи.

Наша квартирка была совсем новой, безупречно чистой и великолепно устроенной; не знаю уж почему — наверно, усталость, волнения и все вокруг меня совершенно незнакомое — но, едва войдя, я расплакалась. А потом заснула, как тюк.

Так у нас прошло недели две. Мне плохо спалось, и я с трудом привыкала к новой жизни; правда, меня поддержала вторая сестра мужа, Жюли Альбаре, по-матерински отнесшаяся ко мне. Я ничего не умела, дома нас с сестрой баловали, я не могла даже разжечь огонь, все делала наша матушка. Золовка давала

мне советы и кое-чему учила — например, ходить за покупками, это очень важно, она брала меня с собой в магазины. Но, самое главное, мой муж был во всем очень деликатен, ему хватало на все и мягкости и терпения... В деревне я привыкла к тому, что двери никогда не запираются, и однажды захлопнула дверь, а ключ остался внутри. Пришлось идти к консьержке, и мы отправились с ней посмотреть, нельзя ли пробраться внутрь через окно кухни. Но тут пришел муж со своим ключом. Да вот беда — мой-то оставался изнутри в замке, и лезть в окно пришлось ему. Потом он только и сказал мне нежным голосом:

— Здесь, маленькая, все-таки не деревня. Постарайся не забывать про ключ.

Его слова показались мне упреком, и я заплакала.

Для меня все было плохо, хотя муж старался, как мог, угождать мне. Он постоянно приносил цветы, а однажды, благодаря его сестре Адели, мы побывали в Комической опере на «Миньоне» — к ней часто в кафе ходили артисты оперетты и приносили билеты. Во время представления муж спросил меня:

— Тебе нравится? Посмотри, как красиво.

Но меня все это пение только утомляло, и я ответила:

— Да скоро ли, наконец, они кончат?

Потом он всю жизнь смеялся над этим случаем.

Я была совсем еще молодая. Но муж никогда и ничем меня не обидел. Он ждал, пока я немного освоюсь, и первые две недели говорил мне:

— Ты понемногу привыкнешь, и тогда я займусь своей работой, но не раньше.

Прошли недели две апреля, и он сказал:

— Если хочешь, пойдем сегодня гулять на бульвар Османн и заглянем к г-ну

Прусту предупредить его, что он опять может вызывать меня; я уже пойду на работу.

Не торопясь, мы отправились пешком на бульвар Османн, 102 — не помню, заметила ли я тогда этот номер. На втором этаже дверь в кухню с черного хода нам открыл Никола Коттен, камердинер. Там же была и его жена Селина, также служившая у г-на Пруста. Оба очень милые, особенно он, и, как мне показалось, они обрадовались моему мужу. Но из-за своей застенчивости я была совсем не в восторге при виде новых лиц и хоть ради мужа изображала всяческие вежливости, но мне хотелось лишь одного — поскорее уйти. Помню, правда, большую плиту, где потрескивал огонь, и то, как вся кухня прямо-таки сверкала чистотой. Муж не хотел беспокоить г-на Пруста, а просил Никола только предупредить его о своем возвращении. Но

Никола обязательно хотел сказать, что пришел Одилон.

Г-н Пруст вышел на кухню. Я всегда его таким и вспоминаю — в жилете поверх белой рубашки. Он сразу же поразил меня. Я увидела настоящего аристократа. Он был очень моложавый — тоненький, но совсем не тощий, с очень красивой кожей и ослепительными зубами. И, конечно, эта небольшая прядь, которая всегда спускалась у него на лоб. И удивительная элегантность и сдержанность в движениях, которую я часто замечала потом у астматиков, словно они берегли свои силы и дыхание. Многим он казался маленьким, но на самом деле был не меньше меня, а я совсем не коротышка — почти метр семьдесят два.

Муж поздоровался с ним и, поняв, кто я, он протянул мне руку и сказал:

— Мадам, представляю вам Марселя Пруста в неглиже, непричесанного и без бороды.

Я так засмущалась, что даже не могла взглянуть на него. Он сказал мужу еще несколько фраз, которые я не расслышала, потому что, не переставая говорить, он ходил по кухне, но чувствовала, как он рассматривает меня, однако в то же время ощущала и его деликатность, отчего смущалась еще более. Под конец он сказал:

— Ну, что же, Альбаре, когда вы мне понадобитесь, все будет, как раньше, если вы не против.

С этими словами он удалился, и мы тоже ушли.

Внизу узкой лестницы я спросила:

— Почему он сказал «без бороды»?

Улыбнувшись, Одилон объяснил:

— У него была великолепная черная борода, которая ему очень шла, но вчера он сбрил ее, ты не расслышала. Это он сообщил как последнюю новость.

Итак, муж вернулся на работу, а г-н Пруст снова стал вызывать его, когда ему было нужно куда-нибудь поехать. Он делал это по телефону. Если Одилон был дома, то сам спускался в кафе-табак, или там оставляли для него записку.

Муж много работал. Ему позволяли брать машину по своему усмотрению, а не отрабатывать часы; познакомившись с хорошим клиентом, он уже так и держался за него, потому что главным его желанием было обеспечить нашу жизнь и скопить денег. Когда мы поженились, он уже кое-что сэкономил и намеревался вскоре купить одно дело, как только я освоюсь с парижской жизнью. Иногда он приходил домой поесть, иногда нет, но всегда старался предупредить меня. Мало-помалу я стала привыкать. И к тому, что приходилось ждать его, хотя это было тяжело. Я все еще

оставалась деревенской. И не то что я чувствовала себя одинокой, скорее как бы отгороженной от мира. Все-таки у меня была его сестра, но я не очень-то любила бывать в этих кафе. Да, еще его младший брат Жан, тоже приехавший в Париж. Он и его жена держали кафе на углу улицы Виктуар и Лаффит. Они с мужем обожали друг друга, Жан был очень мягкий и остроумный. Одилон говорил мне: «Пойди на Лаффит, к Жану. Там ты привыкнешь к делам для нашего будущего». Но это все то же кафе, и я предпочитала дожидаться его дома. Муж работал по ночам и часто уходил очень поздно, между десятью и полуночью. Соответственно и возвращался, так что в общем спала я совсем мало и, еще не подозревая о том, приучалась к своему будущему существованию, когда все трое, г-н Пруст, мой муж и я, будем жить совсем навыворот.

Прошло лето. Г-н Пруст по своему обыкновению уезжал в Кабур, а возвратился в сентябре и снова стал вызывать мужа.

Как-то к концу октября он спросил Одилона, привыкает ли его молодая жена. Одилон ответил:

— Не так чтобы очень хорошо. Не знаю, как будет дальше, но она не любит выходить из дома. Я все говорю ей, пусть съездит повидать семью, чтобы хоть отвлечься от этих ожиданий моего возвращения. Она съездит, но не надолго. А я все на работе и на работе. Сами знаете, иногда нет времени заехать перехватить что-нибудь. А тогда и она не ест и не спит. Не думаю, что ей не хватает только деревенского воздуха.

Г-н Пруст сказал ему:

— Ваша молодая жена просто скучает по матери. Вот и все.

Подумать только, как это он догадался, откуда взял, удивлялась я, еще совсем его не зная.

Но это не все. Он сказал Одилону:

— Если вам мало только семьи, надо найти что-то другое, чтобы она не сидела все время дома. Я, кажется, придумал. У Грассе вышла моя книга «В сторону Свана», и я сейчас надписываю экземпляры для своих друзей. Если ваша жена захочет, то может брать эти книги и разносить их по адресам. Может быть, это и развлечет ее.

Рассказав об их разговоре, муж добавил:

— Если это тебе нравится, соглашайся. А если нет, никуда не ходи. Но он предложил только чтобы сделать тебе приятное, это уж точно. С другой стороны, может быть, и ему тоже будет приятно.

Он даже настаивал, хотя и не очень, и я в конце концов сказала:

— Хорошо, я пойду.

Помню, что он еще предупредил меня:

— Ты сама увидишь, г-н Пруст очень обходительный. Постарайся, чтобы он остался доволен, ведь он все замечает. Но такого милого человека ты нигде не увидишь.

Вот так все и началось. Потом я его лучше узнала и поняла, но никогда не забуду, как он сразу же разгадал меня. Сама я почему-то не чувствовала, что мне скучно одной, когда мужа не было дома. Да и мать, и вся семья не казались мне столь уж необходимыми, я с ними переписывалась. Одилон окружил меня вниманием, он, такой добрый, по-своему заботился обо мне. И вот только г-н Пруст, а не кто другой, понял, что если я еще по-настоящему и не тоскую, это все равно придет. И про мою мать он сказал в сущности верно. Как бы ни баловал меня муж, это было все не то. На Леваллуа наша квартирка выходила во двор, а в Оксилаке дом был не просто большой, а весь наполненный воздухом, непрестанным движением, окруженный полями, и соседние горы эхом вторили веселым голосам. Вот все это и почувствовал г-н Пруст.

Уже потом и за это, и за многое другое в его наблюдательности не только со мной, но и с другими я называла его волшебником, а он, глядя на меня своим глубоким, проницательным взглядом, как бы стараясь оценить мою искренность, спрашивал:

— Вы действительно так думаете, Селеста?

Но, мне кажется, это было ему приятно.

II
В ОБЛАКЕ ДЫМА

Так я отправилась разносить пакеты с надписанными книгами. Со своей Леваллуа я приехала на автобусе, это совсем не утомительно — мы жили не так далеко от Пор д'Аньер. Я поднялась по той же узенькой лестнице, и в кухне мне был уже приготовлен пакет. Г-на Пруста я так и не увидела, только Никола Коттена, камердинера.

Его жены Селины не было; г-н Пруст, которому она казалась слишком нервной, отправил ее немного отдохнуть.

Но была еще одна молодая пара, занимавшая тогда, в эпоху бульвара Османн, одну комнату: Альфред Агостинелли со своей подругой Анной. О нем много говорили в связи с г-ном Прустом, к этому я еще вернусь. Тогда я знала только, что Агостинелли, как и мой муж, один из шоферов г-на Пруста. Он был из Монако и недавно уезжал на Лазурный берег, а теперь возвратился вместе с Анной, но стал уже секретарем и перепечатывал рукописи г-на Пруста. Впрочем, я знала их совсем мало.

Пакеты с книгами укладывал Никола и делал это чрезвычайно тщательно, это был очень аккуратный человек. Обертка выбиралась разная: если пакет предназначался женщине — розовая, а для мужчин — голубая.

Никола сказал мне:

— Так велел г-н Марсель.

Потом объяснил, что я должна с ним делать:

— Этот оставьте у консьержки.

Или:

— А этот в собственные руки.

Но чаще всего так:

— Здесь есть письмо, отдайте его вместе с пакетом.

Он посоветовал мне взять экипаж — так будет удобнее, ведь я совсем не знала Парижа.

В то время еще было много лошадей: фиакры, небольшие двухместные кареты; меня это привело в восторг, ведь я почти никогда не ездила на такси. Помню только один раз, надо было отвезти книгу с письмом для графини Греффюль. Я запомнила из-за того, что потом мне было очень стыдно и неловко: графиня жила на улице Асторж, как раз по другую сторону бульвара Османн, но я этого не знала, а шофер промолчал. Когда я рассказала Никола, он только посмеялся, успокоил меня, что тут не о чем говорить, и, как всегда, отдал деньги. Всякий раз,

развезя книги, я возвращалась на бульвар Османн, и он спрашивал:

— Сколько вы наездили?

Я говорила, и он отдавал деньги, ничего больше не спрашивая; судя по всему, так у них было принято.

Наконец, все книги были разнесены. Вот тогда и проявилась доброта и обходительность г-на Пруста, — ведь он никогда ни о чем и ни о ком не забывал.

Он сказал моему мужу:

— Ваша жена, если захочет, может и дальше приходить, — возможно, понадобится отнести какое-нибудь письмо.

Но со свойственной ему деликатностью он начал с того, что спросил Одилона:

— А вашей молодой жене нравятся такие поездки? Ей не скучно? Это и вправду развлекает ее, как мы думаем?

Только когда муж поблагодарил его за заботливость и уверил, что нет, я нисколько не скучаю, он предложил мне приходить.

— Ну и хорошо, пусть она приходит с сегодняшнего дня. Если будет письмо или что другое, она возьмет его; если нет, — уйдет, и дело с концом, во всяком случае это заставит ее выходить из дома.

Так, начиная с того же дня, я стала бывать там каждый День.

Мы поменяли квартиру, но в том же доме на Леваллуа, теперь окна выходили на улицу, стало больше воздуха, я могла видеть восход солнца и, быть может, поэтому стала лучше спать. Я ездила на автобусе от Пор д'Аньер до Сен-Лазара, а потом пешком к бульвару Османн по улицам Пепиньер и Анжу, это совсем недалеко. Если никаких писем не было, я не обязательно сразу же возвращалась; раз уж пришлось выехать в город, можно было воспользоваться этим, чтобы зайти к какой-нибудь из сестер мужа. Иначе говоря, замысел г-на Пруста осуществился; его самого я больше тогда не видела, но он как бы незримо направлял меня из глубины своей квартиры.

Как переменилось для меня время с того дня, когда я узнала его, и за все эти прожитые рядом девять или десять лет с 1913-го до его смерти в 1922-м, в которые были написаны его главные книги. Это время кажется мне то одним годом, то целой жизнью, а первый период, пока я еще по-настоящему не вошла в его дом, или слишком долгим, или совсем коротким, как оно все-таки и было на самом деле.

Я солгала бы, сказав, что могу с точностью до дня, или недели, или даже месяца назвать все даты этого периода, от конца 1913-го до объявления войны. Но как все происходило, все

до мелочей, у меня в памяти, а ведь это и есть самое главное. Что толку знать, в понедельник или во вторник я впервые вошла в комнату г-на Пруста? Это ничего не меняет по существу, ничего не прибавляет и не убавляет.

Целых пятьдесят лет я отказывалась написать историю моей жизни рядом с г-ном Прустом, потому что сама себе дала слово. И если в конце концов решилась, то лишь потому, что слишком много о нем написано неправильно и даже просто вранья теми людьми, которые знали его много хуже меня или вообще не знали, разве что по книгам и сплетням. И чём дальше, тем больше искажается его образ, иногда даже совсем непреднамеренно, из одной предвзятости, но часто только от желания показать себя. А какой интерес может быть у меня в мои восемьдесят два года говорить неправду? Я ни разу не солгала г-ну Прусту при его жизни и не собираюсь лгать теперь. Ведь это было бы ложью ему самому. Прежде чем уйти, я хотела бы только одного — по мере своих сил восстановить его образ. Больше ничего.

Так вот, на первых порах я какое-то время была «курьером». Все шло, как тогда с пакетами: я приходила, брала уже приготовленное, возвращалась, Никола отдавал мне деньги, и я шла домой. Или заходила куда-нибудь.

Потом — кажется, в декабре того года, 1913-го, — дела на бульваре Османн как-то разладились. Книга г-на Пуста появилась в магазинах, о ней говорили, но я про это ничего не знала. Альфред Агостинелли и Анна опять уехали на Лазурный берег.

Но, самое главное, жена Никола, Селина, заболела; ее положили в больницу и назначили операцию. Для меня это был поворот в жизни. Но сначала надо сказать о супругах Коттен. Характер г-на Пруста и его отношение ко всему, да еще при такой жизни, не только больного, но и почти уже отшельника, требовали огромной заботы, аккуратности и тщательности; к тому же он все замечал. Квартира на бульваре Османн была замкнутым миром, где очень много значила жизнь людей, окружавших г-на Пруста.

Еще до четы Коттен была Фелиция, старая служанка их семейства; может быть, она появилась у его родителей и после рождения г-на Пруста и его брата Робера, но, кажется, жила у них еще прежде того. Я знала ее только по рассказам г-на Пруста. Судя по всему, она была великой кулинаркой и всех баловала своими рецептами. Он часто вспоминал ее вареную говядину: «А студень был совершенно прозрачный. Такой вкусный!.. Вы и представить себе не можете!» Это знаменитое мясо вошло даже в его роман. Фелиция была высокая, худая и держалась с достоинством. Иногда она одевалась в народный костюм: «Если

бы вы ее видели в этом великолепном наряде!». После смерти матери г-на Пруста, последовавшей почти сразу за кончиною отца, Фелиция переехала с г-ном Прустом в Версаль, куда он удалился на несколько недель, а потом устраивала его на бульваре Османн и оставалась там до появления Никола.

Никола Коттен тоже служил в их семье, откуда ушел на место крупье в модном тогда Английском клубе. Г-жа Пруст постоянно говорила сыну, чтобы он больше никогда не брал его:

— Марсельчик, если Никола захочет вернуться, не соглашайся. Он очень мил и приятен, но в этой своей должности крупье научился допивать бутылки, и это уже совсем не тот человек.

И когда, наконец, Никола стал просить г-на Пруста взять его обратно — как предвидела его мать, — Фелиция вспомнила о ее предостережении и сказала, что, если его возьмут, она уйдет. Так она и сделала. Я не сомневаюсь, что г-н Пруст решил взять Никола из приверженности к той жизни, которая у него была при родителях и которой он так дорожил. А Фелиция стала уже совсем старой, и тем более никто не смог бы быть таким камердинером, как Никола: вышколенный, заботливый, всегда на своем месте и с чувством собственного достоинства. Но г-н Пруст нашел его ужасно переменившимся. Потом он рассказывал мне:

— Сначала я подумал, что он болен, и даже испугался, как бы мне не заразиться. Пришлось вызывать доктора Биза осмотреть Никола.

Этот доктор Биз был его врачом. После осмотра он успокоил г-на Пруста: Никола здоров и не заразен; просто у него изношенное сердце, которое надо беречь. Это было тем более странно, что за все время, когда я его знала, он был свеженький, как роза. Г-н Пруст взял его, а поскольку Фелиция ушла, да Никола успел еще и жениться, появилась и его жена, Селина. Они жили в комнате на бульваре Османн с 1907 года. Уже потом я узнала, что г-н Пруст сказал Никола:

— Я вас беру на одном важном для меня условии: чтобы у меня была возможность выходить из дома, когда мне захочется.

Это означало, что у Никола никогда не будет отпуска. Но он не понял смысла этих слов и, очень смутившись, отвечал:

— Да что вы, г-н Марсель, вы же знаете, что всегда совершенно свободны!

Помню, как тогда удивила меня эта манера Никола говорить «г-н Марсель».

Когда я спросила его об этом, он объяснил:

— У них в семействе профессор Адриен Пруст был «г-н Пруст», а чтобы отличить сыновей, их называли «г-н Марсель» и

«г-н Робер». У меня так и осталась эта привычка.

Никола позволял себе некоторые вольности в выражениях, сохранившиеся еще от службы у родителей г-на Пруста. Помню, я как-то пришла к ним и сидела на кухне, когда он появился с брюками в руках вне себя от ярости и, показывая их, сказал:

— Вот полюбуйтесь, я так старался отгладить складку, а этот растяпа замочил их, когда мыл ноги. Теперь делай все заново.

Такая манера казалась мне странной и даже шокировала из-за незнания тогдашних отношений. Удивляло меня и кое-что другое. Часто, например, когда я уходила, Никола просил:

— Вам не трудно по пути забросить это в «Божоле»?

«Божоле» — так называлась винная лавочка на улице Аркад.

Хозяин, толстяк, не отличавшийся вежливостью, брал у меня конверт, полученный от Никола, и кидал в корзину к другим конвертам. Я плохо понимала, что все это означает, но ни о чем не спрашивала, ведь меня его просьба нисколько не затрудняла. К концу дня Никола начинал нервничать, принимался крутить прядь волос на лбу и поглядывать на часы. Наконец, говорил:

— Я на минутку, за газетой. Если он позвонит, я сейчас...

И, действительно, всегда возвращался бегом, заглядывая в газету, неизменно на одну и ту же страницу.

Только потом, когда я рассказала об этом г-ну Прусту, он, посмеявшись, объяснил мне:

— Так вы не поняли, Селеста? Вы относите его пари, а хозяин «Божоле» — это, как теперь говорят, «бук»[1]. Поработав крупье, бедняга Никола не только научился допивать бутылки, он еще пристрастился к игре.

Все это не мешало ему оставаться таким же милым и преданным, и я понимаю привязанность к Никола г-на Пруста. Мне самой никогда не приходилось жаловаться на него. Другое дело Селина.

По просьбе брата ее устроил в больницу г-н Робер Пруст, уже получивший известность как ассистент профессора Подзи, который сам ее оперировал и лечил. И, естественно, г-н Пруст сразу же заявил Никола:

— Придется нам как-то устраиваться, чтобы вы могли каждый день навещать жену. А может быть, попросим г-жу Альбаре, если ей не трудно, приходить на время, когда вы будете в больнице?

Я ответила, что с удовольствием помогу им. Вот так я и привязалась на эту цепь.

Было договорено, что я буду приходить к двум часам, когда г-н Пруст отпускал Никола, и заниматься на кухне до его

возвращения в четыре или в пять, а потом уходить.

Никола все мне объяснил очень подробно. К моему приходу г-н Пруст уже выпьет свой утренний кофе, и тут мне нечего беспокоиться. Единственно, иногда «г-н Марсель» выпивал через какое-то время и вторую чашку, для которой оставляли еще один круассан. На этот случай или если я понадоблюсь «г-ну Марселю» для чего-то другого, он показал мне на стене большого коридора табло с черными лунами, по одной для каждой комнаты; он позвонит два раза — и одна из лун станет белой, всегда та же самая, от его комнаты. Если круассан еще оставался, я буду знать, что делать; если нет, — надо пойти спросить.

И он мне дотошно объяснял:

— Как только позвонит, сразу идите. Хоть вы и не знаете квартиру, но все очень просто, не ошибетесь. Идите по коридору, потом через переднюю и большую гостиную, там еще одна дверь. Подойдя к ней, ни в коем случае не стучите, а сразу входите. Он позвонил и уже ждет вас. На столике около кровати увидите большой серебряный поднос, на нем серебряный кофейник, чашка, сахарница и молочник. Ставьте на поднос блюдце с круассаном и уходите.

Никола все время повторял:

— Главное, ничего не говорите, если он сам не будет спрашивать.

Итак, приходя, я ждала на кухне и чувствовала себя как-то неспокойно в этой большой беззвучной квартире, мне совсем незнакомой, где был он, для меня невидимый и неслышимый. Самое странное, но я не припомню, чтобы хоть когда-нибудь тяготилась этими часами ожидания. Я ничего не делала, даже не читала. И ни одного звонка. Лаже никто не приходил. Совсем никто.

Так тянулись дни, и я уже поняла, что он так никогда и не позовет меня. Возвращался Никола и спрашивал:

— Не вызывал?

Поболтав с ним немного, я уходила.

Но вот однажды два звонка. «Два звонка — значит, нужен круассан», — так учил меня Никола. Беру круассан. Кладу на блюдце и пошла. Иду, как было сказано, через прихожую, потом через большую гостиную, без стука открываю дверь, раздвигаю портьеру и вхожу.

В комнате невообразимый дым, хоть ножом режь. Никола предупреждал меня, что иногда г-н Пруст, проснувшись, сжигает окуривающий порошок из-за своей ужасной астмы, но я никак не ожидала такого облака. При всей своей обширности комната была густо наполнена дымом. У изголовья едва светила лампа

под зеленым абажуром. Я увидела кровать из бронзы и на белой простыне зеленый отсвет, а вместо самого г-на Пруста только белую рубашку и плечи, прислонившиеся к двум подушкам. Лицо закрывали тень и туман от дыма, и оно совсем было не видно, я только чувствовала на себе его взгляд. К счастью, на столе поблескивали серебряный поднос и кофейничек. Не глядя вокруг, я подошла к ним, а когда уже вышла, так и не смогла бы описать обстановку комнаты, ставшей для меня потом столь привычной; все скрадывала полутьма, да я была еще и под впечатлением этих глаз. Поставив блюдце с круассаном на поднос, я поклонилась невидимому для меня лицу, а он только помахал рукой в знак благодарности, без единого слова. И я вышла.

Правда, в то время я была не очень-то храбрая; скорее, даже боязливая, чуть ли не ребенок в свои двадцать два года, особенно после того, как лишилась материнской заботливости. Да еще вся таинственность этой квартиры и этого человека в постели, окутанного облаком дыма; его комната, казавшаяся выше от высоких окон и длинных голубых портьер, закрывавших полуденный свет; и где-то высоко под потолком погашенная люстра в дымном тумане.

Только вернувшись в кухню на свой стул, я вполне ощутила сильное впечатление от стен этой комнаты, похожей на огромную коробку, обитую изнутри пробковыми листами, чтобы в нее не попадал никакой звук. Меня это тем более поразило, что напомнило один случай из моего детства в родном Лозере. Я ходила в школу к монахиням, которые прогуливали нас по воскресным дням. Однажды мы пошли за два или три километра осматривать только что открывшийся карьер. Может быть, я была любопытнее других и поэтому забралась совсем одна в какую-то галерею. Там стояла тишина и не доносилось криков детей. Затухающий дневной свет слабо освещал медово-коричневые земляные стены; я подумала: «Как внутри коробки». Меня это очень поразило, но тогда я не показала виду.

Прекрасно помню, что с того первого раза эта комната словно завораживала меня. Я как бы перенеслась в ту галерею с приглушенными звуками. Наверное, я была похожа на удивленного ребенка. И, конечно, его глаза, хотя и невидимые, смотрели на меня. Я даже уверена, в тот день он специально дождался, когда уйдет Никола, чтобы попросить свой круассан. Он хотел проверить меня. Уже когда я носила пакеты, а потом письма, он вызывал консьержку, чтобы осведомиться обо мне — как я держусь, не слишком ли болтлива и развязна? Но сама я и не подозревала ни о чем, тем более о предстоявших мне вскоре сложных обстоятельствах.

Все-таки первый шаг был уже сделан. И дело не в том, что я имела честь побывать в его комнате и поднести ему круассан. Даже не в моем любопытстве, как тогда в карьере. Было что-то неуловимое, исходившее от него и сразу тогда неосознанное. Если подумать, очень странно, что в первое время, когда я знала его по тем обрывкам и крохам, которые слышала от мужа и Никола — а это было трижды ничто, особенно с моим мужем, идеалом сдержанности, — у меня даже мысли не мелькнуло, что в этом человеке и его перевернутой наоборот жизни есть какая-то тайна. Напротив, я почувствовала какое-то притяжение. И все те воплощения, каким он являлся мне потом ежедневно, так и не смогли стереть первое впечатление от него — лежащего на бронзовой кровати, с невидимым лицом, совершенно неподвижного, кроме слабого жеста руки. Что ни говори, манеры его были совершенно необычны. По своей натуре он отличался от всех других, и поэтому имел не только великий талант; и сам человек, и его сердце были такими же.

А в общем, тогда у него не было причин иметь на меня какие-то виды, да и мне даже в голову не приходило, что я скоро окажусь в этом доме. Селина вылечилась, все пошло по-старому, и Никола уже не нужно было отлучаться.

К тому же я ведь и не делала работу Селины. И только если бы мне сказали, что больше не надо приходить на бульвар Османн, лишь тогда я поняла бы, насколько сама хочу бывать там, и как это уже вошло в мою жизнь.

III
И ВДРУГ ВОЙНА

Селина Коттен вышла из больницы, кажется, в начале 1914 года, но возвратилась на бульвар Османн лишь ненадолго, чтобы почти сразу уехать к своей матери в Шампиньи-сюр-Марн, недалеко от Парижа.

И все время, пока она там поправлялась, я так и продолжала исполнять по просьбе г-на Пруста свои нехитрые обязанности. Да и теперь, когда Никола не должен был ходить в больницу, мне уже не представлялось случая подавать кофе. Я снова превратилась в «курьера», - и уже не надо было подолгу сидеть на кухне в ожидании звонка. А если не случалось писем или каких-нибудь поездок для помощи Никола, я все-таки не шла домой, как раньше, но оставалась, чтобы заняться вязанием, починкой, или в отсутствие Селины разбирала белье.

Снова я не видела г-на Пруста — между нами посредником всегда был Никола. Единственная перемена в сторону сближения, но опять-таки без моего участия, состояла в том, что, когда я занималась своими нехитрыми делами, невольно видела, как Никола готовит то или другое, чаще всего кофе. А для этого всегда были совершенно особенные приготовления, ни в чем не похожие на то, что мне приходилось раньше видеть, и, естественно, я смотрела с любопытством и потому многое примечала. Таким образом, я невольно училась, приобретала навыки.

О самом г-не Прусте я не узнала ничего нового, не считая того, что можно было извлечь из двух-трех встреч с ним, да еще время от времени из рассуждений Никола о всяких пустяках, относящихся к работе камердинера, вроде той истории с замечательными брюками. Ну, и еще рассказы мужа, который в этом отношении был ничуть не разговорчивее сравнительно с другими своими клиентами. Изредка он упоминал, куда пришлось везти его, в ресторан или к тем людям, чьи имена для меня ничего не значили, или сколько часов пришлось ждать его. Но не больше. Самое необычное составляли послеобеденные поездки за город или в Булонский лес, когда г-ну Прусту хотелось увидеть кусочек пейзажа. Но не думаю, что для поездок нашлось тогда более одного или двух поводов.

Во всяком случае, хоть мне и нравилось приходить на бульвар Османн, у меня было внутреннее убеждение, что это ненадолго. Однако, самое странное, я не задавалась никакими

вопросами. Просто жила и все, хотя совсем не хотела, чтобы это кончилось, и поэтому, вероятно, не думала, что будет дальше, тем более о чем-то постоянном. У меня не было причин особенно интересоваться делами и трудами человека, чья жизнь пока так и оставалась вдали от моей.

Тем временем Селина вернулась из деревни, и все как-то зашевелилось. Она была женщина с характером, к тому же очень неудобным. Г-н Пруст рассказывал мне:

— Понимаете, она во все вмешивалась и хотела всем командовать.

Может быть, болезнь и операция даже усугубили это ее свойство. Но, возможно, здесь сыграло немалую роль и мое присутствие — другой женщины. Ясно только одно, после ее возвращения, впервые за все время, дела пошли вкривь и вкось. И г-ну Прусту как-то вдруг это надоело. Уже потом он мне рассказывал:

— Моя милая Селина, — сказал я ей, — к великому сожалению, я должен предупредить вас, что, если вы хотите остаться у меня, вам нужно переменить свое поведение. Я не нуждаюсь в ваших советах, и не вам объяснять мне, что я трачу слишком много денег, ни тем более еще то или это. Не мое дело воспитывать вас, у меня на это просто нет времени. Так вот, если хотите, можете отдохнуть месяц или два, даже три, в конце концов. И после хорошего отдыха, когда вам станет лучше, мы подумаем. Но если вы будете продолжать по-старому, я предпочитаю сказать прямо: мне невозможно оставить вас здесь.

И Селина ушла — когда он что-то решал, то всегда становился до невозможности вежлив и говорил: «Если вам угодно», — а это было посильнее любого приказа.

Она возвратилась в свой домишко в Шампиньи, а г-н Пруст передал мне через Никола, что я здесь никак не лишняя, и все остается по-прежнему.

Конечно, через несколько недель Селина возвратилась, и отдых как будто сделал ее спокойнее и рассудительнее. Но, к сожалению, и на сей раз это долго не продолжалось. Вскоре ее природный нрав взял свое. Пожалуй, именно тогда она стала по-настоящему ревновать ко мне и, возможно, были произнесены всякие слова перед г-ном Прустом. Она даже устраивала из-за меня сцены и, как говорили, называла «маленькой интриганкой». Но сам г-н Пруст совсем об этом не упоминал, хотя самолично подтвердил: «Да, она ревновала к вам».

Уже потом он говорил мне:

— Она превратилась в настоящую фурию, и, наконец, у меня открылись глаза, я только поражался, как мог столь долго

переносить ее. На сей раз я сказал: «Послушайте, Селина, судя по всему, отдых не помог вам, вопреки моим ожиданиям. Я уже объяснял, что не нуждаюсь в ваших советах. Для работы мне нужно спокойствие. Я все перепробовал, но, к несчастью, ничем помочь нельзя. Не о чем говорить, раз вы не хотите знать свое место. Терпению моему пришел конец, уходите».

И, чтобы уже все было ясно, он прибавил:

— Если Никола хочет уйти с вами, пусть уходит; но может и остаться. К нему у меня нет претензий. Но вы — другое дело, об этом не может быть и речи. Еще раз повторяю: я слишком занят и слишком устал.

Для Селины это была настоящая революция, и она навсегда покинула бульвар Османн, 102. Но Никола остался, и г-н Пруст просил его договориться со мной: отныне я должна была приходить каждый день.

Думаю, что, кроме своей привязанности к «г-ну Марселю», он, зная характер жены, прекрасно понимал, в чем дело. При его сдержанности у них с г-ном Прустом не было никаких недоразумений. Так же, как и у меня с ним. Уход Селины ни в чем не изменил наших отношений, оставшихся безупречными. Они испортились только позднее, под влиянием Селины, после чего и ему пришлось покинуть бульвар Османн, но уже совсем по другим причинам.

Этими причинами оказалась война 1914 года. К счастью, в предшествовавшие ей недели я каждый день приходила помогать Никола и незаметно для себя усвоила привычки и обычаи этого дома.

Я как завороженная смотрела на весь процесс приготовления кофе для завтрака г-на Пруста. Уже тогда кофе составлял единственную его пищу. И вскоре это стало важным для меня делом.

Был установлен настоящий ритуал. Прежде всего, и речи не могло быть о том, чтобы пользоваться каким-нибудь Другим сортом, кроме «Корселле». Более того, кофе надлежало покупать там, где его обжаривали, — в одной лавочке XVIII округа на улице Леви. Только тогда можно было быть уверенным в его свежести и аромате. Потом кофе фильтровали, опять же через фильтр «Корселле», пропуская его медленно, капля за каплей, и, конечно, все это делалось на паровой бане. Полагалось также класть ровно столько, чтобы хватило на две чашки, как раз для маленького серебряного кофейника. Таким образом, оставалась еще одна чашка про запас, если бы г-ну Прусту захотелось выпить вторую.

Но и это еще не все. Обычно г-н Пруст накануне говорил,

когда ему будет нужен кофе, и утром его готовили заранее на случай, если он позвонит раньше. Однако бывало и так, что он запаздывал, да и сам никогда не называл точный час, а всегда *около,* — например, *около* четырех, но при этом мог не позвонить и до шести, если ему хотелось еще немного отдохнуть или его мучила астма и надо было дольше окуривать комнату. Когда и после назначенного часа звонок молчал, приходилось начинать весь процесс заново, стараясь подгадать к нужному моменту, и если кофе фильтровался слишком быстро или передерживался на паровой бане, тогда, как рассказывал Никола, г-н Пруст неукоснительно замечал: «Омерзительный кофе, никакого аромата».

И, наконец, молоко. Его приносила каждое утро местная молочница. Как и кофе, оно должно было быть непременно самым свежим. Молоко ставили на лестнице у двери кухни, чтобы, упаси Бог, звонком или стуком не разбудить г-на Пруста. В полдень молочница приходила посмотреть, взяты ли бутылки. Если нет, она забирала их и приносила новые.

Так прошли три или четыре месяца. И вдруг однажды Одилон является на Леваллуа раньше, чем я его ожидала. С утра он выехал из гаража, даже не подозревая, что происходит. Уже была объявлена война, всеобщая мобилизация, и на улицах висели объявления, из которых он днем и узнал обо всем. По мобилизационному листку он должен был сразу же явиться в Парижскую военную школу. Это «сразу же» означало шесть часов утра в понедельник, а заодно и две перевернутые жизни, как тысячи и тысячи других.

Поразительно, что даже в подобных обстоятельствах г-н Пруст привлекал к себе и вызывал невольное уважение. Для моего мужа первым делом — даже еще не думая предупредить меня, его жену, — было явиться на бульвар Османн. Он опасался, что у него потом не останется времени повидать г-на Пруста. И, поверьте, это казалось нам обоим вполне естественным, у меня даже мысли не возникло упрекать его.

Как и полтора года назад, перед тем как отлучиться для нашей свадьбы, он и теперь пошел предупредить г-на Пруста, чтобы тот не рассчитывал больше на него в течение неопределенного времени. Когда Одилон сообщил мне эту новость, было довольно поздно, потому что я уже возвратилась к нам на Леваллуа. Но не для г-на Пруста — часто он оставался недоступен до десяти или одиннадцати часов вечера. И на этот раз Одилон не стал бы беспокоить его, если бы не всегдашняя любезность Никола, настоявшего на том, чтобы нарушить заведенный порядок. Г-н Пруст сразу же пригласил Одилона к

себе в комнату и, еще лежа в постели, сказал ему:

— Что я слышу, дорогой Альбаре? Вас призывают? И прямо завтра?

Затем, сказав добрые слова о своем сожалении, вдруг спросил:

— А что будет с вашей молодой женой? Она вернется к матери или хочет остаться в Париже?

— Не знаю, — ответил Одилон.

И объяснил, что только сейчас узнал о мобилизации, а меня еще не видел, поскольку сразу же поехал сюда. Г-н Пруст был тронут этим вниманием, благодарил его, а потом прибавил:

— Поверьте, дорогой Альбаре, я так сочувствую вам обоим. И если ваша жена все-таки останется в Париже, обещаю вам в случае опасности сделать для нее все, что только в моих силах. Так ей и скажите. А пока пусть приходит сюда по-прежнему.

Мой муж был очень взволнован этим разговором, но в то же время и приободрился, потому что это были не просто какие-то пустые обещания, ведь он уже достаточно знал г-на Пруста. Поэтому я решила пока никуда не уезжать.

Оно вышло и к лучшему, ведь Одилон тоже оставался в Париже. Надо сказать, он еще с молодых лет пристрастился к автомобилям и стал одним из первых автомобилистов. Поэтому его как резервиста записали в моторизованные части, а когда он был призван по мобилизации, из военной школы отправили на улицу Лурмель в XV округе и назначили для перевозок свежего мяса на фронт. Были реквизированы парижские автобусы, и их готовили для предстоящего дела на улице Лурмель. Каждый день говорили об отправлении уже завтра, но фронт непрерывно перемещался, никто ничего не знал, и муж проваландался там с месяц, а то и дольше. Я радовалась, что не уехала, хотя почти совсем его и не видела, всего два или три раза, но все-таки ощущала какую-то близость к нему. Да и бульвар Османн оставался еще одним связующим звеном между нами.

Однако события быстро следовали одно за другим. Уже много позже, думая об этом первоначальном периоде, я все-таки решила, что г-н Пруст понимал, к чему идет дело, и предвидел тот день, когда он останется совсем один. Впоследствии он и сам говорил мне, что, в противоположность большинству людей, совсем не надеялся на скорое окончание войны и понимал, что рано или поздно он лишится Никола.

Сам же Никола, который был в территориальной армии, считал себя в безопасности. Мобилизация его не касалась, и он все время повторял:

— Это не продлится долго, а я в территориальных, и еще

две недели меня не призовут. За это время мы их всех переколотим и будем в Берлине, вот увидите. Так что я никуда не денусь.

То же самое он говорил и г-ну Прусту, который, судя по всему, ничего на это не отвечал, а остался при своем мнении. Тем не менее, пятнадцать дней пролетели, и Никола забрали как миленького.

Сразу после ухода моего мужа г-н Пруст прислал мне письмо с предложением совсем переселиться на бульвар Османн. Я ответила, что буду приходить каждый день, но предпочитаю остаться у себя, в нашей квартире на Леваллуа. На это он написал: «Делайте как хотите и оставайтесь в своем доме. Приходите, когда захочется. Насильно мил не будешь».

Почти сразу вслед за этим ушел Никола, и г-н Пруст уже словесно повторил свое предложение:

— Мадам, то, что должно было случиться, случилось. Как видите, теперь я один. Вы окажете мне большую услугу, за которую я никогда не смогу отблагодарить вас. Но не беспокойтесь, долго вы здесь не пробудете. Было бы неприлично такому человеку, как я, больному и почти прикованному к постели, держать возле себя женщину. Да еще столь молодую. Это всего лишь временно, пока я не найду замену для Никола. Но, сами понимаете, при теперешних обстоятельствах это невозможно.

Затем он прибавил, не сводя с меня взгляда:

— Мадам, надеюсь, для вас не будет неожиданностью, если я скажу, что вы ничего не знаете и ничего не умеете. Я это прекрасно понимаю. Не беспокойтесь, я ничего не буду требовать от вас и сам займусь своими делами. Вам останется только мой кофе, это самое важное.

И еще он сказал, все так же глядя на меня:

— Вы ведь даже не умеете говорить в третьем лице.

На это я ответила:

— Нет, сударь, и не научусь. Он был прав, я даже не понимала, о чем идет речь. И, конечно, это немало его позабавило.

Я всегда была очень живой, даже наивной. И потом меня не так и поразила величественность его манер. Я чувствовала себя уже довольно свободно, ведь, в конце концов, сама никуда не напрашивалась и, помню, настолько осмелела, что даже решилась спросить:

— Сударь, а почему вы не называете меня Селестой? Мне неловко, когда вы говорите «мадам».

Так оно и было на самом деле.

Но он ответил:

— Я не могу, просто не могу.

IV
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В КАБУРЕ

Так он и продолжал называть меня «мадам», а я въехала в комнату Никола и стала готовить кофе, что было нетрудно, — мне уже столько раз приходилось видеть, как это делается. Мало-помалу я начала входить в повседневный быт квартиры и жизни г-на Пруста. Привыкла к дыму в его комнате, когда приносила ему на серебряном подносе кофейничек, чашку, молочник, сахарницу и круассан.

От Никола я знала, что по утрам он часто плохо себя чувствует из-за ночной астмы и, пробуждаясь, прежде всего окуривает комнату специальным порошком, который сжигается на блюдце. Но чтобы запах спички не вызывал приступа, он зажигал порошок свернутым листком бумаги, который, в свою очередь, зажигался от свечи. Поэтому всегда была нужна горящая свеча, ставившаяся на небольшом столике в другом коридоре, вход в который находился как раз возле изголовья постели.

Я входила, ставила поднос» и обычно он ничего не говорил, только этот его замечательный мягкий жест — «благодарю» — чтобы не тратить силы на слова, после чего я удалялась. В первое время, прежде чем приниматься за свой кофе, он всегда ждал моего ухода. Я никогда не видела, как он брал кусочек сахара или приподнимался на подушках. Так и продолжал лежать, словно замкнутый внутри самого себя, выходя наружу только взглядом или жестом руки.

От Никола я знала и кое-что другое — ведь его не выдернули так безжалостно, как моего мужа, и у меня было время поучиться, чтобы г-н Пруст ни на минуту не остался один, без помощи.

Зато я уже сама научилась соблюдать тишину, пока он отдыхал, и ждать его пробуждения после полудня или возвращения поздно ночью, если он уходил из дома. Именно тогда я стала приучаться к ночной жизни, хотя еще не было тех бдений до восьми или девяти утра, как впоследствии. Но все-таки я почти никогда не ложилась раньше полуночи или часа.

Все это сохранилось в моей памяти как смутное время перемен, когда начинается совсем другая жизнь, да еще с такой притягательной личностью, чья мягкость, больше чем любая сила, делала его центром этой жизни, то очень близким, благодаря его доброте и деликатности, то совсем далеким, когда он погружался в самого себя.

Возвратившись на кухню или в свою комнату, я часто

вспоминала его слова о том, что при его положении неприлично иметь возле себя женщину. Я замечала, как неподвижно он лежал при мне в постели, понимая, что пить кофе можно только сидя или даже спустив ноги на пол. Но при мне — только вытянутое тело и руки поверх натянутой простыни. Больше ничего, кроме живого, внимательного взгляда.

Поскольку мои обязанности заключались только в том, чтобы приходить на его звонки, он со свойственной ему рассудительностью занялся поисками замены для Никола, и, естественно, не желая брать первого попавшегося, начал наводить справки среди своих знакомых. Один из них, граф Готье-Виналь, большой почитатель его сочинений, поручил это дело своей горничной, и через некоторое время к нам явился невысокий молодой человек — вполне приличный, но чересчур застенчивый. Как он сам потом говорил, когда я открыла ему дверь, он принял меня за хозяйку дома и был очень смущен. Его уже вызывали на призывную комиссию, но пока отпустили, хотя и не из-за слабости здоровья, — г-н Пруст сказал мне: «Граф Готье-Виналь подтверждает, что он вполне здоров». Но выглядел он уж очень хилым и хрупким.

Г-н Пруст взял его, но просил меня остаться еще ненадолго и пока ничего не менять. Я прекрасно понимала, что ему не нравятся новые лица и вообще любые перемены.

Он сказал мне:

— Мадам, вы уже привыкли ко мне, а я к вам. И этот молодой человек стесняется даже говорить, нужно все объяснять. Меня это утомляет. Так что, когда я буду звонить, все-таки приходите вы, если можно. Потом мы посмотрим, сможет ли он приспособиться.

Был август 1914 года, и наши дела на фронте шли плохо. Приходилось довольствоваться тем, что было под рукой. Его вызвали еще раз, признали годным, и чуть ли не на следующий день он был отправлен.

Г-н Пруст возобновил свои поиски и нашел новую замену, одного шведа: может быть, ему показалось, что гражданин нейтральной страны сможет пробыть у него подольше. Этот оказался полной противоположностью первого — настолько высокого о себе мнения, что, похоже, считал себя чуть ли не королем Швеции, если не самим Господом Богом.

Короче говоря, г-н Пруст просил меня подождать еще немного. Но вдруг в первых числах сентября он, несмотря на войну, которая шла не так уж удачно для нас, решил ехать в Кабур, на Нормандское побережье, как делал это каждое лето. В Париже он чувствовал себя слишком одиноко. Из-за войны в

городе не оставалось почти никого из его друзей. Молодые ушли на фронт. Сам он считался непригодным для службы по здоровью, его все равно никуда бы не взяли, даже как волонтера. Женщины и не годившиеся для войны мужчины бежали из столицы, которой, как говорилось, уже прямо угрожали германские армии.

Ах этот багаж и все эти вещи! Дело совсем нешуточное. Ничего не смысля, я упаковывала их по указаниям г-на Пруста. Потом Антуан, консьерж из № 102 по бульвару Османн, отправлял их на железную дорогу. Для самого г-на Пруста предназначался сначала большой чемодан, очень старый и потертый, но все еще весьма прочный, из твердого, как железо, картона, обтянутый бежевой тканью. С первого же взгляда было видно, сколько ему пришлось поездить. Туда положили рукописи. По словам г-на Пруста, при любых переездах он возил все рукописи с собой. Это было самое ценное. С ними он не расставался, и чемодан всегда сопровождал его.

Во-вторых, был еще огромный дорожный сундук на колесиках. В него наваливали одежду, белье и разные рубашки. Г-н Пруст сильно кутался, даже летом, и часто менял белье — дважды он ничего на себя не надевал, так что набралось изрядное количество, в том числе и два пальто.

— Их сшили специально для поездок к морю, — объяснил он мне.

И вправду, я никогда не видела, чтобы он надевал эти пальто в Париже.

Оба были из вигоневой шерсти — одно очень легкое, светло-серое на фиолетовой подкладке, второе каштановое. Для каждого имелась своя шляпа. И еще надо было везти все его одеяла.

— Вы понимаете, — говорил он, — на зиму гостиница закрывается. Как бы они ни проветривали, их одеяла пахнут нафталином, и мне это неприятно.

Наконец, для его астмы бралась целая аптека.

В конце концов, мы все трое садимся в поезд — я рядом с г-ном Прустом, швед (кажется, его звали Эрнест) в соседнее купе. На дорогах царил хаос, у нас ушла уйма времени, совсем не так, как до войны, к чему привык г-н Пруст. Когда мы приехали, он уже очень устал, но был доволен, что оказался в своем «Гранд-Отеле» и в своей привычной комнате — № 137, если мне не изменяет память.

В гостинице его приезд стал чуть ли не праздником. Сразу было видно, как его любили, уважали и восхищались им. Каждый старался по мере сил угодить ему. Здесь он был у себя дома. Они перебрали все комнаты, чтобы подобрать для него самую удобную.

Все было, как в прошлые годы, объяснил он, разве что еще больше людей, которые оставили свои загородные дома из-за начавшейся войны.

Помню большую террасу на первом этаже, выходившую к морю. И еще то, что приходилось забираться на самый верх. Там были три комнаты с окнами на море. А над ними еще одна терраса, куда на время пребывания г-на Пруста из уважения к нему никого не пускали.

— Мне не нужны соседи, тем более у меня на голове, — объяснил он. — Для вас, мадам, будет комната рядом с моей, как прежде у Никола. А другую займет Эрнест.

При каждой комнате была своя ванная, которая изолировала ее от шума в коридоре. Первой шла его комната, потом моя и потом Эрнеста, причем у г-на Пруста не самая лучшая. В ней большая постель, несколько стульев и столов, на которых лежали его тетради и книги. Ничего необычного. Не было ни печи, ни камина, на зиму гостиница закрывалась. Из окна была видна дамба, вдававшаяся в море.

У него не полагалось нарушать уже заведенный порядок, и он сказал мне:

— А вы займитесь моим кофе.

Но для этого мы ничего с собой не взяли, однако на этаже в конце коридора был устроен буфет, которым пользовалась прислуга, и здесь я каждый день готовила кофе в их же посуде; все старались, чтобы у меня все было под рукой. Он как-то сказал мне:

— Раз уж здесь нет звонка, я буду стучать вам в стену.

Таким образом жизнь наша устроилась почти по-парижски. С утра абсолютное молчание, он отдыхает. Затем, если я ему нужна, стучит в стену, как это было у него с его бабушкой, когда они приезжали вдвоем в Кабур, что описано в «Содоме и Гоморре». Он делал окуривание, я приносила кофе. Потом еще немного отдыха или работы с тетрадями. Он много лежал, как и в Париже. Случалось, что вечером выходил к ужину, но никогда не обедал.

Сама я завтракала в столовой и всегда торопилась, боясь, что он позовет меня. Иногда он говорил накануне:

— Утром не спускайтесь к завтраку, я что-то сильно устал. Попросите метрдотеля подать вам в комнату; может быть, вы мне понадобитесь.

За все время там я не видела, чтобы он с кем-нибудь встретился или приглашал кого-нибудь в гостиницу к обеду. Вечерами он выходил довольно редко. Казино уже было закрыто; по его рассказам, он любил бывать там, «но никогда не играл, только смотрел, и все». Не помню, чтобы он часто бывал и у своих

друзей, которые жили по соседству: у графини Греффюль в Довилле, у графа Робера де Монтескье в Трувилле или у г-жи Клермон-Тоннер в Бенервилле, или совсем неподалеку, у одной из самых старинных и близких своих приятельниц, у г-жи Строе в имении «Кло де Мюрье».

Тогда я уже начинала понимать ту черту его характера, что он старался быть ближе к людям, если они ему понадобятся, но никак не хотел обязываться чем-либо перед ними. Кажется, как-то раз, когда графиня Греффюль и граф де Монтескье приехали к нему в «Гранд-Отель», он не захотел их принять.

В Кабуре меньше завешивали окна. На бульваре Османн шторы никогда не раздвигались, а тем более окна всегда были закрыты. В «Гранд-Отеле» после полудня раздергивали занавеси, да и сам он как-то больше приоткрывался.

Там же по прошествии некоторого времени он уже перестал обращаться ко мне «мадам» и стал называть Селестой. И, кроме того, иногда задерживал меня для разговора. Или, прогулявшись по террасе и увидев, что я тоже вышла подышать воздухом, делал мне знак подойти к нему, и мы разговаривали, глядя на море. Но так было всего раза два, у меня доставало дел, в том числе и уборка его комнаты, пока он расхаживал по террасе.

Я чувствовала, что он уже больше доверяет мне, и тоже стала спокойнее, разговаривала и держалась с ним не так скованно, хотя каждый из нас оставался все-таки на своем месте.

Наверно, Эрнест с его претензиями много способствовал нашему сближению. Другой пользы от него, пожалуй, и не было, потому что все делала я. Должно быть, он отчаянно скучал, не зная, чем заняться. Г-н Пруст почти совсем к нему не обращался. Он говорил мне:

— Знаете, Селеста, он меня раздражает и наводит смертельную тоску.

Во всяком случае, Эрнест стал одним из главных сюжетов для наших разговоров. Мы о нем только и говорили. Я передразнивала его надутые манеры, г-н Пруст тоже, и это веселило нас.

Непосредственность моей натуры и моих двадцати трех лет брала свое. Я, не задумываясь, отвечала ему и видела по его непринужденному смеху, что это ему приятно. Но и он, наверно, не без удовольствия ощущал мое желание развлечь его и то, как мне нравилось говорить с ним.

Он даже пробовал заинтересовать меня Кабуром с его окрестностями и упрекал за то, что мне совсем не любопытны здешние места и я не люблю ходить на прогулки. Как-то раз он стал расхваливать одно место, где пекли очень вкусные блины,

которое было известно ему еще по прежним временам.

— Почему бы вам не побывать там как-нибудь днем? Возьмите экипаж, я заплачу.

— Сударь, у меня нет ни малейшего желания, мне и здесь хорошо, вместе с вами.

Помню, что мы прохаживались по террасе, на нем было светло-серое пальто. Он остановился и улыбнулся, как солнце.

— Спасибо, Селеста.

Здесь же, в Кабуре, он начал понемногу рассказывать мне о своем прошлом, как бывал тут прежде, еще ребенком, с бабушкой. А потом ездил уже из чувства привязанности к своим воспоминаниям, и еще потому, что его отец и другие доктора рекомендовали при астме перемену воздуха. Ну, и, конечно, здесь поблизости летом жили многие из его парижских друзей. Так я узнала имена, которые мало-помалу стали для меня привычными: банкир Орас Финали, г-жа Строе, жена композитора Бизе, автора «Кармен», и многие другие.

Он рассказывал о том золотом времени, когда часто ездил за город в автомобиле и именно тогда познакомился с моим мужем, потому что Жак Бизе, его однокашник по лицею Кондорсе и сын г-жи Строе и композитора, был директором одной из первых компаний по найму автомобилей; зимой эти машины были в Монте-Карло, а летом он перегонял их в Кабур. Естественно, что при своей привычке все перепроверять г-н Пруст просил у него для своих поездок лучших шоферов. Жак Бизе предложил ему троих, из которых два стали фаворитами: Альфред Агостинелли и мой муж.

Я с восторгом юности упивалась всем этим и входила в тот волшебный мир, который он открывал для меня.

Как-то вечером он сказал мне с видом заговорщика:

— Я покажу вам кое-что, вы такого еще не видели. Но сначала посмотрите, нет ли кого-нибудь в коридоре, а то я не одет, и в таком виде нельзя выходить.

По обыкновению, на нем была рубашка, пиджак и домашние туфли.

Я проверила коридор. Никого не было, и он сказал:

— Пошли со мной, — и, взяв меня за руку, как маленькую девочку, увлек в конец коридора к слуховому окну. Оно было залито заходившим солнцем, а внизу в его лучах сверкало и искрилось море. И пока я смотрела, взволнованная не только открывшимся необычным видом, но и его прикосновением, он сказал:

— Ну, как? Посмотрите на эти отражения! Боже, как красиво! Просто прелесть!

Он произнес это с таким восхищением, что оно передалось и мне, всего лишь несмышленому ребенку. Потом мы еще несколько раз приходили к этому окну, но я уже никогда больше не чувствовала такого волнения, как в первый раз.

Помню еще и другой вечер, уже незадолго до нашего отъезда, как раз в равноденствие. Глядя через стекло закрытого окна, он говорил:

— Селеста, подойдите сюда. Нужно чинить эту дамбу, а то все здесь разнесет вдребезги.

Я уже замечала это и пугалась, но, не зная водной стихии, не представляла море разбушевавшимся, бросающим свои брызги чуть ли не в наши окна. И я ответила, что пока я еще не готова к Страшному Суду.

— Вот увидите, как это красиво! И бояться совсем нечего. А что бы вы сказали в Бретани!

И он рассказал мне, как они вместе с его близким другом Рейнальдо Аном ездили специально во время осеннего равноденствия любоваться большими приливами на мысе Раз.

— Это было просто великолепно, Селеста! Как бы я хотел снова побывать там!

И впервые он сказал мне то, что потом часто упоминалось в наших разговорах:

— Может быть, если мне будет получше... И вас я тоже возьму с собой. Вы непременно должны побывать там.

И в его голосе была почти детская грусть о тех картинах, которые он так хотел увидеть еще раз.

Это была чудесная поездка, но слишком недолгая. Дела на войне ухудшались. Для нас же первым неудобством была реквизиция гостиницы под нужды армии и раненых, которым не хватало мест, — тогда шла битва при Марне и другие тяжелые бои. Г-н Пруст очень беспокоился о своем брате Робере, который, как и мой муж, был мобилизован на второй день, но попал в Верден и работал во фронтовых госпиталях.

Почти все постояльцы разъехались. Те, кто пожелали остаться, переселились во флигель. Однако г-ну Прусту сделали особую любезность — ему было разрешено никуда не переезжать, пока не привезут раненых. Но до нашего отъезда ни один из них так и не появился. Потом говорили совсем другое, будто г-н Пруст навещал привезенных солдат и даже почти разорился на сигареты и лакомства для них, отчего ему и пришлось будто бы уехать. Но это вымысел.

Правда, с деньгами действительно были затруднения, потому что в банках возникли непорядки, — как раз тогда в правительстве началась паника; все сбежали в Бордо и даже

южнее, чуть ли не до Биаррица, также и многие друзья г-на Пруста. Банковские операции почти прекратились из-за отсутствия сообщений. У г-на Пруста было взято из Парижа сколько-то денег, но когда они кончились, то добыть их было уже неоткуда.

— Мои бумаги уехали вместе с банком в Бордо, — сказал он. — Бедная Селеста, я истратил все свои деньги.

Расходы происходили единственно от нашего образа жизни; хоть он и был совсем простым, но все равно требовались траты со всеми этими комнатами и щедрыми чаевыми, которые он по своей привычке раздавал налево и направо.

К концу сентября мы возвратились в Париж. Немцев остановили, и можно было немного передохнуть. Снова пошли поезда.

Никогда не забуду наше возвращение, оказавшееся воистину драматическим.

Наш поезд быстро катился, как вдруг у г-на Пруста началось страшное удушье; мы были около Мезидона, в Кальвадосе, и между двумя приступами он объяснил мне, что это всегда здесь с ним случалось — и всегда только на обратном пути:

— Каждый раз все начинается совершенно внезапно, именно здесь. Несомненно, тут что-то непереносимое для меня в самом воздухе... может быть, из-за сенокоса... и как только подумаешь об этом...

Я просто с ума сходила, не зная, что делать, и к тому же забыла положить в чемодан его аптечку с окуриванием. Все было в багаже, в сундуке на колесиках, под квитанцией.

На первой же станции я выпрыгнула на перрон и побежала в хвост поезда к багажному вагону. Служащий, которому я объяснила дело, по моему виду понял, что это не комедия; он оказал мне любезность, мы нашли мой сундук, я взяла все необходимое для окуривания, и г-н Пруст сразу же надымил в нашем купе.

Не знаю уж, каким образом нам удалось добраться до бульвара Османн. Но здесь нас ждало нечто другое.

Каждый год, уезжая в Кабур, он оставлял квартиру для генеральной чистки большими пылесосами, которые вытягивали всю пыль с полов, ковров, мебели и стен, прежде всего в его комнате с пробковыми панелями. И случилось так, что мы приехали в самый разгар этой чистки.

О, когда он увидел все это!..

— Пусть они уходят, Селеста, пусть уходят... мне нужно лечь.

Я выпроводила всех этих людей, потом отвела его в комнату

и спросила, что нужно сделать.

— Поскорее поставьте мне грелки.

Принесли грелки, я поставила зажженную свечу и рядом положила маленькие бумажки для зажигания порошка. На мой вопрос, что нужно еще, он сказал:

— Оставьте меня и никого не зовите. Мне нужна только постель. И, главное, не входите, пока я не позвоню.

Я ушла, еще раз взглянув на него в последний момент: он задыхался, склонившись в постели над своим порошком. Вне себя от ужаса я ждала на кухне, уже уверенная, что не увижу его живым. Но мало-помалу приступ отошел. Вечером он позвал меня и сказал:

— Милая Селеста, вы сильно испугались. Я понимаю и благодарю вас, ведь вы никогда ничего подобного не видели. Но, знаете, в молодости у меня бывало и похуже.

Потом он стал говорить, как теперь нам устроить жизнь:

— Я не хочу оставлять Эрнеста, и у меня нет ни малейшего желания заниматься поисками, это слишком утомительно. Лучше всего, чтобы все сохранилось, как теперь, по-старому. Вы не против?

И, как будто это было совершенно естественно, я ответила:

— А почему бы и нет, сударь?

У него был довольный вид, он продолжал, чтобы закончить свою мысль:

— Дорогая Селеста, я должен сказать вам одну вещь. Мы съездили в Кабур, но теперь с этим покончено: я уже никуда больше не поеду. Солдаты выполняют свой долг, а раз уж я не могу драться, как они, мое дело писать книгу, заниматься своей работой. У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на что-нибудь другое.

И в тот самый сентябрьский вечер 1914 года, когда он по собственной воле превратил свою жизнь на последние восемь лет в отшельничество, я, еще ничего не умевшая, тоже вошла в эту жизнь, несмотря на все неприличие этого, как он сказал, и, никогда не пожалев, осталась в ней до самого конца.

V
Я ВХОЖУ В ЖИЗНЬ ОТШЕЛЬНИКА

На следующий день после приезда разобрали багаж, расставили книги, тетради и рукописи положили на стол в пробковой комнате; летние пальто возвратились в шкаф, откуда они никогда уже и не вышли. Мало-помалу течение жизни возвратилось к прежнему, не считая каких-то мелких происшествий, которые помогли мне еще лучше понять не только характер и доброту г-на Пруста, но и его отношения с людьми, особенно его нежелание затруднять себя этими отношениями.

К тем, кто прежде служил у него, он был неизменно внимателен. Например, старую кухарку Фелицию он не только никогда не забывал, а время от времени регулярно посылал ей немного денег, и каждый раз она благодарила письмом «дорогого г-на Марселя» (она называла его так же, как и Никола). Как-то она не ответила, и г-н Пруст забеспокоился, хотя его письма и не пришли назад. Чаще всего их писала и отправляла я, и однажды он сказал мне: — Дорогая Селеста, а вы не забыли отправить это письмо?.. Да? Уж не померла ли наша Фелиция?

Но этого не случилось, хотя узнала я об этом слишком поздно и уже не могла успокоить его. Просто она стала лениться отвечать, и только узнав о смерти г-на Пруста, прислала соболезнования.

Селина после своей отставки тоже пользовалась его добротой, особенно когда Никола ушел в армию. Г-н Пруст ни в коем случае не хотел допустить, чтобы она нуждалась, и давал ей деньги, а кроме того, разрешал брать из нашего подвала все необходимое — особенно уголь, которого так не хватало во время войны. Она приходила ко мне за ключом, и мы встречались как ни в чем не бывало. Я жалела ее, зная, что значит быть женой солдата, да к тому же по молодости у меня не было на нее зла.

И все-таки не обошлось без неприятностей. Сначала это были консьержи, особенно муж, Антуан, бретонец. Раньше им обоим покровительствовала г-жа Пруст; Антуана она использовала для всяких дел, в том числе и доверительных, и даже устраивала его на вокзал Сен-Лазар, а поселила их в дворницкой на бульваре Османн, 102, после того как получила этот дом по наследству от своего дяди Луи Вейля.

Антуан хотел напугать и спровоцировать меня, говоря, что мне нельзя оставаться взаперти вместе с больным, особенно по вечерам. Сначала я ничего ему не отвечала, избегая всяческих

сплетен и зная, как их не любит г-н Пруст. Но когда Антуан зашел уж слишком далеко, пришлось поставить его на место, и я рассказала об этом г-ну Прусту, но он только посмеялся:

— Бедная Селеста, теперь я окажусь во всем виноват. Антуан и его жена будут прятаться, завидев меня, вместо того чтобы вынести стул, пока я жду такси.

И на самом деле некоторое время, видя, что я иду вызывать такси, они прятались у себя в каморке. И лишь после того, как г-н Пруст сам зашел к ним, они снова стали выставлять стул, и все пошло по-старому.

Но в тот вечер, когда я говорила ему про Антуана, он рассказал мне и кое-что другое.

— Бедная Селеста, это ведь все интриги Селины. Она все еще надеется на возвращение и каждый раз, приходя сюда, старается объяснить мне, что я излишне доверяю вам. Она-то и подзудила Антуана и его жену, и они объединились для войны против вас. Самое смешное, что, пока Селина была здесь, они постоянно докучали мне сплетнями друг против друга: Селина жаловалась, что Антуан вскрывает ее письма. Они были буквально на ножах.

Потом этот случай с загадочным письмом от неизвестной, которая будто бы хотела прийти к г-ну Прусту и рассказать о таких вещах, которые нельзя доверять бумаге.

Он показал мне это письмо и объяснил:

— Я не сомневаюсь, это все проделки Селины. Она просто сошла с ума и никак не хочет расстаться с надеждой на возвращение. Может быть, какая-то женщина выманивает у нее деньги, обещая помочь в этом деле. Не знаю и не хочу знать, что эта особа намерена рассказать мне.

Тем более и видеть ее мне совсем ни к чему.

Возьмите бумагу и перо, я продиктую ответ для Селины.

Я написала отказ и бросила письмо в почтовый ящик.

На следующий же день является Селина. Я впустила ее, и она стала кричать прямо в лицо г-ну Прусту:

— Я же говорила, что вы не знаете ее, эту интриганку! Вот, сударь, полюбуйтесь! Это письмо, которое она посмела написать мне!

Г-н Пруст ответил ей:

— Замолчите, Селина. Диктовал его я, и вам не удастся меня переубедить. Вы просто с ума сошли, если думаете, что я стану разговаривать с этой женщиной.

Она ушла вне себя от ярости.

Но на этом дело не кончилось. Однажды вечером приходит она с какой-то дамой в такой час, когда могла рассчитывать на

прием, и спрашивает:

— Могу я видеть г-на Пруста?

Я пошла доложить. Перед тем как идти в комнату г-на Пруста, она обернулась и сказала этой женщине:

— Жди меня здесь.

Прошло немного времени, вдруг звонок. Придя, вижу ее в совершенной ярости и очень бледного г-на Пруста, который говорит:

— Селеста, насколько я понимаю, сейчас в кухне кто-то есть, какая-то женщина. Будьте любезны, попросите ее сейчас же выйти, чтобы она подождала Селину на улице... И не забудьте запереть дверь. А потом идите сюда.

При моем возвращении Селина стала уже просто вопить. И вдруг г-н Пруст (это был единственный раз, когда я видела его в таком состоянии) приподнялся на постели и тоже закричал:

— Извольте выйти отсюда! Вы слышите? Я выставляю вас и теперь уже навсегда. Уходите и никогда не возвращайтесь, даже за ключом от подвала. Идите же! По парадной лестнице, так скорее! Хватит уже, кончено!

Его вспышка должна была произвести на Селину впечатление, и она послушно ушла. Мы слышали, как захлопнулась большая дверь, но он хотел все-таки удостовериться, и сказал мне:

— Посмотрите, она действительно ушла?

Успокоившись, г-н Пруст рассказал мне о происшедшем:

— Представляете, Селеста, ей втемяшилось в голову, что вы убеждаете меня уволить консьержей, чтобы больше не пускать ее на порог. Ну, для себя она добилась этого — я не желаю ее больше видеть. Но это еще не все. Знаете, зачем она привела ту женщину? Чтобы вместе с ней побить вас. Едва войдя сюда, она сказала: «Предупреждаю вас, сударь, я пришла еще с одной особой, и мы зададим вашей Селесте хорошую взбучку!» Поэтому я и позвонил, боясь, что она вам что-нибудь сделает. Но будьте спокойны, это уже не повторится.

Я видела, что он потрясен, да и сама была в таком же состоянии, словно свалилась с облака или как несправедливо обиженный ребенок. Ведь я всегда старалась держаться в стороне, никогда никому не сделала какой-нибудь неприятности и не сказала ни одного плохого слова; старалась быть предупредительной и с Селиной тоже, когда она приходила. Всю ночь случившееся не выходило у меня из головы. Я никак не могла понять, почему она так озлобилась, и мне было больно еще и за г-на Пруста. Не успокоившись и на следующий день, я все это высказала ему. Но теперь я уже рассердилась и стала объяснять,

что вчера, наверное, от неожиданности даже не стала бы защищаться, но если это повторится и она снова посмеет прийти с той же целью, то я спущу ее с лестницы, как тюк грязного белья. Помню, что никак не могла остановиться в своем негодовании на подобные трюки:

— Я лучше уйду, чтобы не подвергать вас подобным сценам из-за моей персоны. Я сюда не напрашивалась, у меня даже в мыслях не было вести подобный образ жизни. Вся семья моего мужа при деле, и сам он женился, имея в виду приобрести собственное заведение, как только появится возможность. Здесь мне хорошо, я ни на что не жалуюсь и рада услужить вам. Но теперь для меня никак нельзя оставаться. Вы прекрасно знаете, я и не покушалась на место Никола. А раз дело оборачивается таким образом, берите обратно Селину, так будет лучше.

Он дал мне выговориться, потом очень мягко стал возражать, говоря о своем одиночестве и болезни и все время повторяя, что с Селиной дело уже решенное и он не хочет ничего о ней слышать.

Итак, с четой Коттен было покончено. Мы увидели Никола еще только раз. С фронта он писал г-ну Прусту и даже прислал свою фотографию в солдатской форме. Помню, в одном письме он сообщал: «Мне здесь очень хорошо. Я теперь повар генерала Жоффра. Все офицеры в восторге от моей кухни, так что, сами понимаете, мои дела просто прекрасны».

Но г-н Пруст, прочитав это письмо, сказал:

— Ах, Селеста, он погиб! Ведь ему приходится выпивать портвейн и мадеру от всех соусов. Смотрите, как он растолстел.

Однажды Никола даже приехал в отпуск. Но он был тощий, как кукушка, и желтее лимона — я едва узнала его. Ко мне он тоже переменился — верно, Селина насказала ему всяких небылиц. Он даже не поздоровался со мной, а лишь робко спросил, можно ли видеть «г-на Марселя». Г-н Пруст уже проснулся и сразу же принял его. Потом он рассказал мне, что Никола жаловался на болезнь и просил помочь ему вылечиться. Г-н Пруст направил его к большому специалисту по сердцу, доктору Неттеру, с наилучшими рекомендациями. Доктор Неттер ответил, что осмотрел его, но, к сожалению, мало шансов на спасение. В тот день г-н Пруст сказал мне:

— Что вы хотите, Селеста, этому человеку было здесь хорошо, ведь он нуждался в тихой, спокойной жизни и, как и я, терпеть не мог всяческих неурядиц. Но ведь насильно мил не будешь...

Селину мы тоже увидели только раз, когда Никола был в больнице. Она пришла и просила у г-на Пруста одеяло, потому что муж сильно мерзнет. Он велел мне отдать красное стеганое

одеяло, которым сам уже много лет не пользовался. Оно было подарком от их горничной в родительском доме, очень красивой девушки. Она сшила его собственными руками. Эта Мари была одной из влюбленностей г-на Пруста в молодые годы.

Селина и Никола навсегда ушли с бульвара Османн; почти сразу после возвращения из Кабура ушел Эрнест, и началась жизнь затворника, когда г-н Пруст замкнулся в своем труде и я вместе с ним. За все восемь лет, до самого конца, уже ничто не тревожило эту жизнь.

Рассказывали, будто он несколько раз собирался куда-то переехать — то ли в Ниццу, то ли в Венецию. Но разве я знаю? Говорили даже, когда аэропланы очень сильно бомбили Париж, я уговаривала г-на Пруста вернуться в Кабур или уехать на Лазурный Берег, к старой подруге его матери, госпоже Катюсс. Все это неправда. Иногда у него появлялось желание, даже потребность сделать перерыв или ненадолго отвлечься на что-нибудь другое — видом города, пейзажа, картины, церкви, — как тогда в Кабуре воспоминаниями о больших приливах в Бретани. Но всегда это кончалось одинаково:

— Вот окончу книгу, и мы поедем... увидите тогда, как это прекрасно...

Закончить книгу — это было самое главное, и, начиная с той осени 1914-го, все его существование сосредоточилось вокруг этого.

Он стал разрывать связи. Еще до Нового года решил отказаться от телефона. Он будто бы всем объяснял, что совсем разорился. Но это была лишь отговорка. Ведь он продолжал тратить деньги на свои фантазии. А на самом-то деле просто не хотел, чтобы его беспокоили, и устраивал по собственному усмотрению и свои, и чужие визиты, да и вообще все отношения.

Оставалась только одна забота — спокойно писать, а для этого было нужно одиночество. Именно поэтому он создал и воспитал меня. Так же, как детей учат ходить, он шаг за шагом учил меня служить ему.

Я и сегодня удивляюсь легкости, с которой приспособилась к такому существованию, хотя ничто не располагало меня к этому. Все мое детство прошло на деревенской свободе, я была окружена любовью матери. Мы ложились с курами и вставали с петухами. И вот, на удивление естественно, я стала, как и он, вести ночную жизнь, словно никогда и не жила по-другому. И это было не просто приспособлением. Можно сказать, что двадцать четыре часа из двадцати четырех и семь дней из семи я существовала только для него. Хоть у меня и нет ничего общего с той женщиной из его книг, которую он назвал *Пленницей,* но и я

вполне заслужила это имя.

Помню один случай из самого первого времени, который так расписали, будто в первое воскресенье нашего отшельничества я оделась, как для мессы. *Я* каждый день одевалась для мессы, которая для меня происходила здесь, на бульваре Османн. На самом деле это был обычный день и, конечно, как всегда у г-на Пруста, вечером, а не в церковный час. Может быть, он заговорил о моей семье, моем детстве. Помню только, что я сказала ему:

— Видите ли, сударь, вот в чем дело. У вас я совсем никуда не выхожу, кроме как по вашим поручениям. Однако матушка воспитывала меня так, чтобы я ходила к мессе каждое воскресенье. А здесь я не только не хожу — почти и не вспоминаю.

Я говорила это без упрека, по одной только непосредственности, как ребенок. Он спокойно смотрел на меня с постели и ответил совсем тихо:

— Селеста, ведь вы делаете то, что куда достойнее и благороднее, чем ходить к мессе. Вы жертвуете своим временем ради больного. Это бесконечно возвышеннее.

Он был прав. Впрочем, мне кажется, это был единственный случай, когда могло показаться, будто я жалуюсь.

Вспоминая о начале моей службы, когда я уже осталась наедине с ним, я думаю, что главная разница между мною и кем-нибудь другим, например, Никола, была в самом подходе к делу. Он исполнял его чисто автоматически, но я бегала взад и вперед, занималась если не тем, так этим: кофе, уборка, телефонные звонки — или сходить за чем-нибудь, отнести письмо, разложить по местам газеты и бумаги, пока эти кучи не вытеснили самого г-на Пруста из постели, топить камин, наливать ванну для ног — и все это легко, как пение птицы, которая перепрыгивает с ветки на ветку. Бывало, я замертво валилась от усталости, но то ли не осознавала этого, то ли просто не думала, как не вспоминала о мессе, потому что мне ни единой секунды не было скучно. С одной стороны, все шло как по нотам, но с другой — постоянно возникало что-нибудь неожиданное: приветливый жест, или интересный разговор, или его радость от собственной или чьей-то работы. А может быть, я просто не считала это своей профессией, и мне было легко. За все эти восемь лет ни одного раза не возникло и речи, что я останусь насовсем. Когда Одилон вернулся с войны, он сказал мне: «Ну и ну, кто бы мог подумать, что ты окажешься здесь!»

Я уже говорила, что очень быстро вошла в ритм жизни, то есть в то особенное, неповторимое время, внутри которого не жил никто. Там не считали часы. Все зависело от его работы и того,

что было для нее необходимо, от явившегося вдруг желания, от удовольствия или неудовольствия проведенных в гостях вечером, от какой-нибудь встречи или приходившего визитера, со всеми последствиями для его болезни. Вначале я продолжала по привычке вставать довольно рано, да и он еще не задерживал меня позднее полуночи или часа. Прежде чем уйти, я делала все, как учил Никола: убирала от постели серебряный поднос и ставила вместо него на ночь лаковый с бутылкой воды «Эвиан», маленькую чашечку и сахарницу, если бы ему захотелось сделать себе питье на электрическом кипятильнике, чего, впрочем, никогда не бывало; за восемь лет мне ни разу не случилось унести хоть одну бутылку «Эвиана», из которой он отпил бы даже каплю.

Зато происходило немало неприятностей с кипятильником, который включался электрической грушей, так же как звонок и прикроватная лампа, — всего их было три. Иногда по рассеянности или увлекшись работой, желая позвонить, он нажимал на грушу кипятильника, который без воды начинал гореть с невыносимым запахом, а ведь он вообще не терпел никаких запахов! Я прибегала и каждый раз — тогда я была способна на это — чинила проволочку или относила в мастерскую Морзе.

Наконец, если ничего не случалось, проверив все, что нужно на ночь, я уходила. Однако даже в то время, пожелав мне спокойной ночи, уже через пять минут, а быть может, через полчаса, он иногда звонил. Я уже лежала в постели, приходилось надевать халат и идти в распущенными волосами. Он говорил:

— Бедная Селеста! Вы уже легли? Простите меня, — хотя прекрасно знал, что я уже легла.

— Ничего, сударь, я всегда рада услужить вам.

И говорила это вполне искренне, не как Никола, который ворчал, услышав звонок: «Все, я ухожу! И чего только ему все время от меня надо?» Но мне это не было неприятно. Возможно, что я завоевала его доверие еще и потому, что, входя к нему в комнату, всегда улыбалась.

Иногда он звал меня без особого повода — например, чтобы удостовериться все ли приготовлено на ночь, но бывало, ему что-то приходило в голову, и он предупреждал меня:

— Дорогая Селеста, может быть, я завтра все-таки поеду, если буду чувствовать себя в силах. Мне хотелось бы кое-кого повидать.

И, объяснив, куда и почему ему нужно, отсылал меня:

— Ладно, мы обсудим все это завтра. Я попрошу позвонить туда и узнать, можно ли мне приехать.

Или даже просил позвонить еще до своего пробуждения, а иногда звал меня потому, что решил изменить время для утреннего кофе:

— Дорогая Селеста, быть может, завтра я попрошу у вас кофе чуть раньше обычного.

И почти всегда это его непременное «быть может». А ночью или же утром при пробуждении он мог решить, что не надо звонить, что он никуда не поедет, или вообще не спрашивал свой кофе до шести или восьми вечера. Но я все время была наготове, одетая, и в ожидании варила заново его кофе.

Для развлечения я занималась вязанием кружев. Однажды он спросил меня, как я провожу свободные часы, и, когда я ответила, воскликнул:

— Но, Селеста, ведь нужно же читать!

Помню, он посоветовал «Трех мушкетеров». Я с увлечением прочла их. Несколько раз, вечерами, мы разговаривали об этой книге. С простодушной наивностью я спрашивала:

— Сударь, но как же этой женщине, этой миледи, всегда удавалось всех дурачить?

С каким-то удивлением он посмеивался и говорил:

— Да, это действительно так, Селеста...

Потом он посоветовал мне романы Бальзака:

— Увидите, как это прекрасно, и мы потом поговорим. Но все-таки по-молодости лет мне больше нравилось вязание. Один только Бог знает, как я теперь жалею об этом. Сколько бы мог он рассказать мне и сколькому научить!

Тем более что мы стали чаще и чаще беседовать друг с другом. *Я* совершенно сбилась со счета времени и вставала лишь тогда, когда нужно было готовить кофе, обычно не раньше часу или двух пополудни. Когда мы обсуждали, например, что нужно сделать, я, как ни в чем не бывало, могла сказать:

— Сударь, вчера вечером вы говорили мне...

А это «вчера вечером» часто означало восемь или девять часов утра уже давно начавшегося дня.

Вся жизнь была перевернута с ног на голову даже в самых простых вещах. Например, я могла делать уборку в квартире и в его комнате лишь когда он уходил, а поскольку это лишь редко происходило раньше десяти часов вечера, то практически я всегда убиралась по ночам, а уж окна вообще никогда не открывались для дневного света.

В кухне и в своей комнате я еще видела солнце, но во всю остальную квартиру оно никогда не проникало за закрытые шторы. Пробковая комната г-на Пруста защищалась от него еще и ставнями и двойными голубыми занавесями. Благодаря также

двойным стеклам внутрь не проникал и шум — даже звуки трамвая с бульвара. У нас всегда была или ночь, или электричество.

Теперь я поняла, что все старания г-на Пруста, все эти великие жертвы ради его труда, — все было направлено на то, чтобы, существуя вне времени, вновь обрести его. Вслед за остановившимся временем воцаряется молчание. И это молчание было нужно ему для того, чтоб раздавались только те голоса, которые он хотел слышать, — голоса из его книг. Но в то время я ни о чем таком и не думала. Зато теперь, в одиночестве бессонных ночей, мне представляется, что я вижу его, остававшегося в одиночестве в созданной им ночи, даже если снаружи и был уже давно день, за своими тетрадями. И подумать только, ведь и я была там же, не догадываясь, что он сам хотел этого одиночества и молчания, хотя и знал, что они убивают его. Уже потом профессор Робер Пруст сказал мне: «Мой брат мог бы прожить и дольше, если бы жил так, как все. Но он жертвовал всем ради своего труда, нам остается только склониться перед ним». И я слышу голос г-на Пруста:

— Я очень устал, дорогая Селеста. Но ничего не поделаешь, так надо...

VI
ОН ЗАМЫКАЛСЯ ДАЖЕ В СВОЕЙ БОЛЕЗНИ

И сегодня многие не только думают, но и говорят, что г-н Пруст был если и не сумасшедшим, то, уж во всяком случае, тронувшимся; что ему нравилось преувеличивать свою болезнь, и астма у него была далеко не такая, как ему хотелось показать, и вообще вся его болезнь отчасти придумана ради того, чтобы его жалели. Даже приписывали все это его слишком уж ревнивой любви к матери в детские годы, особенно после рождения младшего брата Робера. Он чуть ли не придумал свою астму, чтобы только на него одного и было обращено ее внимание. А потом ему хотелось благодаря этому сделаться интересным в глазах света.

Но все это просто смешно, если не сказать, живо; именно те, кто так говорили, сами хотели привлечь к себе внимание. Если бы видели его, как я, после возвращения из Кабура, смертельно бледного, задыхавшегося над курильницей, никому и в голову не пришло бы, что он разыгрывает комедию.

Правда, я больше никогда уже не видела у него подобного приступа. Может быть, оттого, что мы потом не выезжали из Парижа, а если бы опять поехали в Кабур, такое же удушье могло бы настигнуть его при проезде Мезидона во время сенокоса.

Возможно, из-за сходства с сенной лихорадкой говорили, будто ему делается хуже при смене времен года. Но в мою бытность я ничего такого не замечала, да и сам он ничего об этом не говорил, хотя несколько раз повторял мне:

— Когда распускаются листья, это для меня плохо.

Но я не припоминаю, чтобы у него были хоть какие-то особенно сильные приступы, например, весной. Своему приятелю Жану Луи Водойе он писал: «Ничто не предвещает мне приближения приступов, совсем ничто».

И, скорее всего, так оно и было на самом деле.

Несомненно, что после того, как с сентября 1914-го он уже не покидал Париж, заперся у себя на бульваре Османн и выходил только для того, чтобы встретиться с друзьями или по каким-нибудь делам, я уже никогда не видела таких смертельных припадков, которые, конечно, бывали у него прежде. Он сам говорил мне:

— Селеста, при моей теперешней жизни затворника у меня

меньше приступов.

Когда я спрашиваю, откуда могла взяться эта болезнь, он отвечал:

— Никто не мог объяснить, даже отец, а ведь он был великий врач. Первый приступ случился со мной еще в детстве, когда я как-то играл в саду Елисейских полей. Тогда тоже ничего не могли сделать.

Рассказывая о том времени, г-н Пруст говорил:

— Теперь-то, можно сказать, вы видите меня почти здоровым. А в то время, даже не представляете себе, родители просто сходили с ума. Случалось, отец и мать всю ночь просиживали у моей постели, думая, что я умираю, как и вам показалось при возвращении из Кабура.

Помню, он рассказывал мне:

— В одну из таких ночей, когда я совсем задыхался, отцу пришлось принести все его большие медицинские книги, чтобы подложить мне под спину, за подушки, и посадить меня как можно прямее. Но это не помогло, и он позвал одного из своих коллег, который не придумал ничего лучше, чем сделать мне укол морфия, от которого приступ только усилился.

Он усмехнулся и, взглянув на меня, добавил:

— Дорогая Селеста, если бы вы знали, как я благодарю Бога за то, что от этого укола не было других последствий! Ведь если бы он принес мне облегчение, впоследствии я, наверное, не удерживался бы каждый раз сам себе делать укол и, кто знает, мог бы стать морфинистом. Только подумать, какой ужас! Свалиться на самое дно, как один из моих приятелей, превратиться в ничтожную развалину!

Хоть он и не назвал тогда этого человека, потом я поняла, что речь шла о его однокашнике по лицею Жаке Бизе, который в конце концов застрелился.

Чтобы понять все это, надо было видеть его, как я, эти восемь лет, когда он хоть и меньше страдал от своей болезни, но каждый день жил под угрозой приступа. И даже без очень сильных припадков все-таки страдания никогда полностью не оставляли его.

Во всех таких случаях он умел замкнуться в своей болезни. Ни единого раза я не услышала от него даже малейшей жалобы. В такие моменты единственным его желанием было остаться одному. Если он и звал меня, то лишь для того, чтобы сказать своим несравненным мягким голосом:

— Селеста, мне нехорошо и трудно говорить. Мне нужен покой. Подвиньте сюда порошок с подсвечником и идите.

И больше ничего.

Если приступ был долгим и тяжелым, он лежал весь мокрый, совсем без сил и в ознобе. Чтобы согреться, просил принести грелки, а ноги укутывал старой шубой. У него была и новая, норковая, с воротником из выдры, очень красивая, которую он надевал в холодное время. А старая шуба всегда оставалась в ногах на постели. И черное пальто с клетчатой подкладкой, чрезвычайно элегантное, сохранялось только для внутреннего употребления, вместо халата. Когда-то его сшила ему матушка, и никакого другого халата, кроме этого пальто, у него не было. Он так и надевал его вместе со шлепанцами, прямо на постельную одежду, когда никого не было или если к нему приходил парикмахер.

Теперь расскажу немного о комнате; это была сцена его театра, да отчасти и моего за все эти годы. Даже когда впоследствии мы переехали, он постарался сохранить от нее все украшения, чтобы его окружала та же мебель и все те вещи, лишиться которых было бы для него чрезвычайно болезненно.

Я уже говорила, что его комната была очень большая и очень высокая, четыре метра до потолка, с двумя окнами, тоже большими, но всегда плотно закупоренными, когда он был дома, ставнями и двойными шторами из голубого атласа. И уже окончательно отгораживали комнату от всего снаружи пробковые панели на стенах и потолке.

Первое, что бросалось в глаза при входе, кроме этих пробковых панелей, был голубой цвет, прежде всего, занавесей. На потолке висела большая люстра в виде чаши, которую зажигали только для посетителей или во время уборки, когда г-н Пруст куда-нибудь уходил. На массивном камине белого мрамора стояли два канделябра с голубыми шарами, а между ними бронзовые часы. Канделябры тоже никогда не зажигались. Свет, как я уже говорила, был только от маленькой лампы у изголовья постели. На ней — плиссированный зеленый абажур с белой подкладкой. Лицо г-на Пруста оставалось всегда в тени, и свет падал только на то, что он писал или читал.

Благодаря своим большим размерам комната вмещала не только ту мебель, которая досталась по наследству от родителей после раздела с братом Робером, но и перешедшую к госпоже Пруст от ее дядюшки Вейля. Хотя большую часть г-н Пруст оставил младшему брату, от мебели все равно везде было очень тесно; она прямо-таки загромождала всю столовую, которая, правда, никогда не использовалась. Только большая и малые гостиные были хоть сколько-нибудь удобно обставлены.

Между окнами стоял застекленный шкаф из палисандра с бронзовой инкрустацией и светильником на передней части;

перед ним рояль, принадлежавший госпоже Пруст. Сам г-н Пруст играл на нем, но редко, и еще его приятель, композитор Рейнальдо Ан. Этот рояль стоял вплотную к шкафу, который никогда не открывался. Только после смерти г-на Пруста я заглянула в него — там лежало немного белья и кое-какие вещицы, принадлежавшие его матери, среди них коробка, где были платки с валансьенскими кружевами и вензелем «Ж. П.», купленные в «Труа Квартье». Лента на коробке так и осталась не развязанной.

Слева от рояля перед окном стояло массивное дубовое бюро, заваленное книгами. По левой стороне напротив окна находился камин с канделябрами и часами. На левой стене двое высоких двустворчатых дверей открывались на большую гостиную. Обычно в комнату входили через те, которые были ближе к окну, но одна створка у них всегда оставалась закрытой. Второй дверью никогда не пользовались, ее загораживали две круглые вертящиеся этажерки, доверху набитые книгами. Слева от входной двери стоял красивый китайский столик и на нем фотографии, в том числе его с братом еще детьми; в ящичках этого столика г-н Пруст хранил деньги и банковские бумаги. Перед тем как выходить из дома, он просил меня достать оттуда нужные ему деньги. За этим маленьким столиком в паре с зеркальным шкафом стоял большой палисандровый комод, над которым висело большое зеркало до самого потолка, а на комоде лежали тридцать две черных клеенчатых тетради — первая редакция его труда, хранившаяся всегда на этом месте. В ящиках комода лежало множество фотографий и всяческих сувениров, копившихся с течением лет.

Наконец, перед вращающимися этажерками находился стол буль[2] с вензелем его матери: «Ж. П.» — Жанна Пруст.

И дальше «его» стена, рядом с большой, всегда запертой дверью, после которой сразу за углом была простая дверь в коридор и туалетную комнату. В принципе эта дверь предназначалась только для него, но мало-помалу и я стала пользоваться ею, но, конечно, только потому, что он так захотел:

— Селеста, входите через эту дверь.

И тогда я стала входить и выходить между столиком его матери и концом кровати.

Его стена с кроватью находилась против окон.

Поражало несоответствие всей этой большой позолоченной мебели с тем, что было в его углу по соседству с камином. Кроме очень красивой кровати, все остальное отличалось простотой и непритязательностью. Прежде всего бронзовая кровать, потемневшая от воскурений; затем три столика на расстоянии

протянутой руки: один бамбуковый, куда он складывал книги, и туда же клали грелки рядом со стопкой платков; второй — старинный палисандровый, где лежали рукописи и его школьная чернильница, перья, часы, несколько пар очков (это уже в последние годы) и стояла лампа; наконец, третий, ореховый, для кофейного подноса, Эвианской воды и липового отвара, ставившегося на ночь. Весь этот его уголок выглядел очень просто по сравнению с остальной обстановкой и громадной комнатой.

И никаких других сидений, кроме табурета у рояля и стула возле постели, обтянутого генуэзским бархатом, еще из кабинета его отца, где он ставился для пациентов.

Что касается пола, то это был дубовый паркет, закрытый у кровати ковриком с восточным узором. Г-ну Прусту достались по наследству несколько красивых ковров, но все они висели в других комнатах: в большой гостиной, в столовой и при входе в квартиру. После того возвращения из Кабура, когда мы застали за работой уборщиков с пылесосами, такая процедура больше ни разу не повторялась. Единственно, я пользовалась его выходами в город, чтобы слегка пройтись механическим полотером, и все. А натирать паркет мне было с самого начала запрещено из боязни опасного запаха. Да я и не умела натирать пол: у родителей его только мыли и подметали рисовой метелкой.

Обостренная чувствительность, связанная с его болезнью, проявлялась буквально во всем.

Княгиня Марта Бибеско в своей книге рассказывает, будто однажды он не велел мне принимать ее, потому что она всегда слишком сильно душилась. Не знаю уж, откуда она взяла эту выдумку. Но действительно г-н Пруст не переносил духи, ни естественные, ни искусственные; от них у него начинался приступ астмы. Он даже не мог нюхать цветы, хотя бы и со слабым запахом или совсем не пахнущие. В те редкие на моей памяти случаи, когда он просил моего мужа отвезти его в долину Шеврез, чтобы полюбоваться яблонями и боярышником, это, как рассказывал Одилон, происходило так: г-н Пруст не выходил из машины и долго рассматривал цветущие деревья и кусты, а потом просил срезать ветку и принести ему. Он смотрел на нее сквозь стекло дверцы, после чего просил положить в багажник и отвезти на бульвар Османн, где ее надо было оставить на площадке черной лестницы, даже не на кухне, на тот случай, если ему снова захочется посмотреть на нее.

Помню, у нас после одной такой поездки был разговор о боярышнике, и когда он сказал, что особенно любит этот цветок, я как-то машинально из вежливости ответила ему:

— Да, сударь, правда, это очень красивый цветок.

— Селеста, а вы действительно хорошо его знаете?

— Думаю, что да, сударь. У моих родителей было поле, обсаженное кустами боярышника. И я, конечно, видела, как они цвели.

— А я так люблю их, что даже написал статью об этих цветах, розовых и белых. Уверен, вы никогда внимательно их не рассматривали. Я попросил Одилона положить цветы на черную лестницу. Сходите, посмотрите, пожалуйста. Вблизи вам понравятся эти маленькие розы, увидите, какое это чудо. Для меня нет ничего красивее.

И мне пришлось идти смотреть, хотя сам он не пошел вместе со мной.

Г-н Пруст всегда восхищался любыми цветами; думаю, часто ему было очень обидно, что нельзя принести их к себе в квартиру, а тем более в комнату. Его друзья знали, что, когда он приходит, не должно быть цветов. Зато сам он во множестве раздаривал их и постоянно посылал меня к «своему» цветочнику, Леметру, на бульваре Османн — и только к нему — со словами:

— И, самое главное, Селеста, они должны быть очень красивы.

Или так:

— Селеста, закажите орхидеи для г-жи Такой-то. Я знаю, это очень дорого, но, что поделаешь, мне нужны только самые красивые.

Похоже, что такими подношениями он как бы возмещал невозможность самому любоваться цветами у себя дома.

А по поводу запахов вспоминаю другой случай. Однажды, еще в самое первое для меня время, он куда-то уходил вечером в парадном костюме, и я приготовила ему очень элегантные белые, как снег, перчатки, только что из чистки. Я подала ему шубу, он был в прекрасном настроении и очень смеялся над каким-то моим замечанием. И вдруг, взяв, как обычно с серебряного подноса перчатки, перестал смеяться и, строго взглянув на меня, сказал:

— Селеста, а ведь перчатки были в чистке.

Почувствовав что-то неладное, я ответила с невинным видом:

— Кажется, нет, сударь.

— Да что вы, Селеста, вы-то прекрасно знаете, ведь сами отдавали их в чистку. Я чувствую запах!

Но я уже знала его немного и перед этим удостоверилась, что они ничем не пахнут, а поэтому и продолжала начатую игру:

— Сударь, уверяю вас, они в совершенном порядке.

— Повторяю, они пахнут. Принесите мне другие. Я опустила нос и пробормотала: «Хорошо, сударь», — но с тех пор уже никогда не грешила.

Но беспокойства были не только от запахов. Как и все астматики, он чихал во время приступа, и ему приходилось безостановочно вытираться. Поэтому заранее на маленьком столике у изголовья клались целые кучи носовых платков. Вытершись — он никогда не сморкался, — г-н Пруст бросал платок на пол. И так один за другим. Первое время я восхищалась тонкостью материи, и он объяснил мне, что его слизистая оболочка очень раздражается и не переносит ничего другого. Одно время (это было как раз после войны 1914 года) по его просьбе мне приходила помогать моя сестра Мари, и как-то раз он попросил купить носовые платки. Я сказала сестре:

— Иди к «Бон Марше» и выбери самые красивые и тонкие.

Она принесла мне очень нарядные, тонкой выделки и с вышитым инициалом, но они сразу же мне показались не такими воздушными, как надо. Г-н Пруст, взглянув на них, сказал:

— Это никуда не годится, Селеста, мне они не нужны. Делайте с ними что хотите.

— Сударь, вот увидите, я их перестираю и отглажу. Тогда они не будут такими новыми.

На это он ничего не ответил, а я все очень тщательно выстирала и выгладила. Увидав их, он позвал меня:

— Селеста, я же сказал вам, что мне такие платки не нужны. Прошу вас, поймите, это не предрассудок и не каприз. Они недостаточно тонки, и от них щекочет в носу. Я чихаю, а для астмы это очень плохо. Пожалуйста, больше не кладите мне их.

Но я хотела попробовать еще раз. Помногу раз выстирав и перегладив новые платки, я переложила их между старыми, и он сначала как будто ничего не заметил. На самом деле просто ждал моего прихода за чем-нибудь другим. И вот, когда я вошла, он взял один из этих платков и маникюрные ножницы, взглянул на меня и тихо сказал:

— Дорогая Селеста, вы, кажется, так ничего и не поняли. Сейчас я вам все объясню и покажу.

С этими словами он начал резать платок на полоски. А когда закончил, то добавил:

— Теперь поняли?.. Запомните раз и навсегда, Селеста, носовые платки, как обувь, приятны только уже поношенные. И поэтому оставим только старые.

Если бы г-н Пруст был, как иногда говорили, мнимым больным или просто хотел сделаться интересным своей болезнью, тогда от его постели не отходили бы доктора и повсюду в доме лежали бы лекарства. Но за все эти восемь лет он не позвал никого другого, кроме доктора Биза, к которому издавна привык и которому доверял.

— Это очень хороший доктор, — говорил он мне. — А то, что прописывает слишком много лекарств, то я и без него знаю, когда их нужно принимать.

Г-н Пруст родился в семье медиков, и у него был пример отца. Несколько раз он рассказывал мне про один случай, который очень смешил его.

— Однажды утром, когда мой отец еще завтракал, докладывают о каком-то г-не, требующем срочно его видеть. Отец сначала отказал, сказав, что хочет спокойно позавтракать, да и потом он занят, и поэтому пусть этот человек приходит в то время, которое ему назначат. Но посетитель настоятельно просит, даже умоляет. С раздражением отец кидает на пол салфетку, идет в приемную и начинает осматривать и расспрашивать его. И вдруг отец кричит: «Спасайтесь, сударь, бегите, горим! Пожар!» И больной сбежал, как заяц, ни о чем больше не спрашивая. Отец сразу же понял, что он не вполне нормален. Понимаете, дорогая Селеста, ведь всегда было одно и то же: садимся за стол — телефонные звонки, вечером непрестанно за ним присылают. Он возвращался и говорил: «Осмотрел такого-то, у него то или это, я ему прописал такое-то лечение». И рассказывал уже в подробностях. Поэтому сын врача становится и сам в некотором роде медиком, когда вокруг говорят только об одних болезнях. *Я* прекрасно знаю, что мне нужно, уж поверьте.

Именно поэтому он предпочитал всем другим доктора Биза — седеющего невысокого человека, очень спокойного, очень серьезного, очень вежливого, который называл г- на Пруста «мэтром». Он был рекомендован братом Робером, ставшим, как и отец, знаменитым профессором, а с доктором Бизом учился вместе в университете. Г-н Пруст обычно никогда не обращался к брату по поводу своих болезней, только уже в самом конце, да и то вызывал его не сам, а мы с доктором Бизом.

Он почти и не слушал его или добродушно над ним подшучивал, как бывало, и сам мне говорил:

— Я сказал ему: «Милейший доктор, сегодня вы прописываете мне лекарство, о котором еще позавчера сказали, что оно отравляет меня. Как это понимать?»

Он так забавлял г-на Пруста, что попал в его книгу «Пленница».

Г-н Пруст принимал только те лекарства, которые хотел. И что бы там ни рассказывали, он ничуть не был рабом таблеток. Правда, у него на столике всегда лежали веронал и кофеин. Но он ни в коем случае не принимал их *постоянно.* Самое главное, чтобы они всегда находились под рукой. Дело еще и в том, что одно неизбежно влекло за собой другое. Если, например, вечером

он чувствовал себя слишком усталым или ему хотелось заняться работой, тогда он принимал кофеин — и, естественно, чтобы потом как-то сгладить его действие и отдохнуть, нужен был веронал. Однако все это только очень малыми дозами и очень осторожно. Ничего другого он никогда не употреблял. Все разговоры об адреналине — не более чем сплошные выдумки.

Правда, он часто вызывал доктора Биза, нередко на этом настаивала и я. Тогда он говорил:

— Хорошо, посмотрим. И назавтра или через пару дней соглашался:

— Ну, ладно! Зовите доктора Биза! Но всегда и все решал только он сам.

Доктора Биза чаще всего приглашали — и он всегда сразу же появлялся — по каким-нибудь пустякам, я долго не могла понять, в чем тут дело. Они сидели вместе значительно дольше, чем было нужно для любой консультации. Он никогда ничего не говорил мне по этому поводу, но, зная его, я думаю, они просто разговаривали, главным образом, о его книге, чтобы г-н Пруст мог получить нужные ему сведения. После этих бесед он бывал очень доволен и улыбался иронической усмешкой, как всегда после хорошо проведенного времени. Да, зная его манеру работать, я уже заранее могла сказать, когда он позовет доктора Биза, чтобы мучить его всяческими неудобными вопросами.

В сущности, главным лекарством против астмы — единственным, к которому он регулярно прибегал, — были окуривания. Помню, как он говорил мне, весь бледный после долгого вдыхания:

— Только это мне и помогает по-настоящему. Я пробовал сигареты Легра с тем же порошком, но их бумага, даже самая тонкая, нехороша для меня. Лучше всего дым в чистом виде.

Этот темно-серый порошок, который он зажигал для окуриваний, заказывали в аптеке Леклерка, на углу улиц Виньон и Сэз. А дома все было приспособлено для этого действа. В коридоре, который вел в туалетную комнату, стоял небольшой столик и на нем два подсвечника, один с постоянно горевшей свечой, другой запасной. Свечи я закупала на улице Сен-Лазар коробками по пять кило. Зажигали их только в кухне, чтобы до его комнаты не доходил ни малейший запах серы или горевшей спички.

Каждое утро, то есть уже после полудня, проснувшись и еще до кофе он «курил». Если я была в комнате, то подавала ему свечу, но порошок он насыпал сам, потом зажигал его на блюдце от свечи маленьким квадратным листком бумаги верже, которую тоже покупали целыми коробками. У изголовья всегда стоял

плотно закрытый ящичек, чтобы бумага не запылилась.

Иногда он зажигал две или три щепотки порошка для короткого окуривания, а если хотел продлить его до получаса или даже до нескольких часов, то постепенно добавлял порошок. Случалось даже открывать новую коробку, и тогда стоял такой дым, что хоть ножом режь, как и в тот мой первый приход. Но иногда он звал меня и говорил, показывая на открытую коробку:

— Унесите ее, Селеста. Я передумал, попробую обойтись без курения.

Редко когда распечатанная коробка с первого раза совсем опустошалась. Но, по его понятиям, она уже больше никуда не годилась, и ее следовало выбросить. Никола собирал эти остатки для знакомого астматика, зная, что г-н Пруст никогда не будет ими пользоваться.

Но после кофе он не окуривался до следующего дня, даже когда возвращался откуда-нибудь очень усталый.

Конечно, от всего этого дыма было множество неудобств и неприятностей, ведь, пока г-н Пруст оставался в комнате, не могло быть и речи о том, чтобы открыть окна. К счастью, в домах на бульваре Османн были очень глубокие камины с прекрасной вытяжкой. Поэтому каждый день даже посреди лета топили — и, конечно, только дровами — ведь запах угля он тоже совершенно не переносил. Благодаря этому дым от порошка Легра моментально улетучивался. Он сам подавал мне сигнал разжечь огонь жестом руки, без слов — после окуривания он никогда не говорил, — или же брал листок бумаги и начинал писать: «Зажгите...» — но я уже сразу догадывалась, и он едва заметным жестом и улыбкой благодарил меня. В очень жаркую погоду было достаточно одной небольшой закладки — только для того, чтобы вышел дым. Зато в холод я топила большими поленьями, и, если он работал ночью и пламя начинало угасать, раздавался звонок, и мне говорилось:

— Селеста, будьте добры, пожалуйста, положите еще поленьев.

Кроме моей плиты, которая урчала в кухне, квартира обогревалась только одним камином. Было, правда, и центральное отопление, но г-н Пруст и его не переносил из-за иссушения воздуха, раздражавшего ему нос и бронхи.

За время, пока мы жили на бульваре Османн, камин в его комнате ни разу не прочищался. Тогда я об этом совсем не думала, но теперь понимаю — нам просто повезло, что не загорелась скопившаяся в нем сажа. Но он все равно не согласился бы чистить ее, как не соглашался натирать полы.

А вообще он всегда очень мерз.

Это происходило и от болезни, и от самоограничения в питании, и от неподвижного лежания в постели.

На кровати у него были всего два покрывала, одно шерстяное и пикейный деревенский плед, расшитый желтыми яблоневыми цветами на красном фоне, который он увидел у Селины еще в бытность супругов Коттен на бульваре Османн и попросил ее продать этот плед. Вышитые цветы очень ему нравились еще и потому, что напоминали о детских годах, проводившихся летом в Ильере, где он видел нечто подобное на постели одной из теток, той самой «тетушки Леони», которую он любил и вывел в своей книге. Была еще дорогая перина, заказанная на бульваре Капуцинов у «Либерти», но ее почти сразу заперли в шкаф, потому что перья раздражали его астму.

Согревался он только грелками и теплыми рубашками.

Только представьте себе, как он лежит в постели, едва приподнявшись, хотя под спиной у него две подушки; в белой пижаме, под которой надета шерстяная рубашка. У него была масса таких очень плотных домашних рубашек с пуговицами. Они лежали стопкой на стуле (если он ждал кого-нибудь, я уносила их в туалетную комнату). Обычно он звал меня и просил:

— Дорогая Селеста, простите за беспокойство, но мне что-то прохладно. Будьте добры, дайте рубашку, я ее накину на плечи.

Иногда я говорила:

— Сударь, позвольте, я поправлю немного наверху.

— Нет, ни в коем случае, ничего не трогайте, вы меня застудите. Накинутые поверх рубашки сползали назад, и в конце концов их накапливалось четыре или пять и получалось нечто вроде сиденья.

То же и с грелками. Начиналось всегда с того, что в его отсутствие грели пижаму и нижнюю рубашку. Перед тем как ложиться, одна грелка шла в ноги, другая под бок. Часто он звонил мне:

— Дорогая Селеста, мне кажется, моя бутылка что-то не очень теплая.

Тогда я наливала ему еще одну или две, которые он клал уже сам после моего ухода. Остывшие грелки не убирали, он так и держал их у себя.

Когда я вспоминаю, сколько перетаскала ему этих «бутылок» за все восемь лет, да прибавить сюда еще и те, которые носила бедному моему мужу с его больными почками, мне представляется, что и родилась-то я только для того, чтобы всю жизнь наливать грелки!

Чудо г-на Пруста заключалось в той воле, которая была

направлена на его книгу, хотя организм был уже истощен непрекращающейся астмой.

— Знаете, Селеста, — говорил он, — у меня бронхи — как пересохшая резина, потерявшая свою эластичность от постоянного напряжения.

Одни только усилия, чтобы дышать, изнашивали сердце. Но, кроме приступов, которые никак нельзя было скрыть, он ничем не выдавал своего состояния.

Да, он говорил об усталости: «Ах, Селеста, я так устал...» Иногда у него срывалась фраза, как та, о пересохших бронхах, но ничего больше. И, конечно же, он неподвижно лежал, вытянувшись, с закрытыми глазами, без единого слова. Но уже через два-три часа мог одеться и уйти из дома. Он был способен шесть или семь часов провести на ногах и, возвратившись в четыре, а то и в пять утра, держал меня своими рассказами еще три или четыре часа, словно ему было двадцать лет!

Я часто спрашивала его, как он мог переносить все это, жертвовать своим молчанием, своим отдыхом и уединенным трудом ради людского шума и суеты, сама атмосфера которых была, по его понятиям, насыщена микробами. На это он всегда отвечал мне одно и то же: «Так надо, Селеста...» Так было нужно его книге, именно это он и имел в виду. Чтобы добыть для нее пищу, г-н Пруст был готов на все.

Я знаю все эти сплетни о множестве болезней, на которые он будто бы жаловался в разговорах и даже в письмах. Говорили о якобы случавшихся у него обмороках. Во-первых, я не верю, чтобы с ним это бывало, когда он уходил из дома, — он бы непременно сказал мне, и тем более у себя, на бульваре Османн, я бы, конечно, первая знала об этом. Правда, в последние месяцы жизни он действительно боялся головокружений, о чем сам и говорил; но обмороков с ним никогда не бывало.

Это вроде той истории с отитом, который он будто бы получил от шариков Квис, употребляя их, чтобы предохраниться от шума, а знаменитый доктор Викар вылечил его. Все это сказки. Я знала про эти шарики, которые посоветовала ему одна из его близких приятельниц, герцогиня де Гиш. Как-то, возвратившись от нее, он со смехом рассказывал:

— Знаете, Селеста? Герцог уезжает к своей милейшей компании, а герцогиня остается с шариками в ушах, чтобы не знать, в каком часу он вернется, и все идет как нельзя лучше.

Некоторое время он ими пользовался, а потом перестал, хотя и держал их у изголовья, они ему просто надоели. Но никакого отита у него никогда не было. А про доктора Викара он как-то упомянул в том смысле, что прежде был с ним знаком, но потом

никогда уже не встречался.

Говорили, что одно время у него были неприятности с уремией, и еще он боялся опухоли в голове, жаловался на затруднения с речью и симптомы паралича лицевого нерва. Уверяю вас, я не только никогда не видела его шатающимся — напротив, он прыгал, как кузнечик, вся эта уремия, опухоль, затруднения речи и паралич — сплошные выдумки. Он никогда не запинался в словах, голос у него был ровный, отчетливый, теплый и в то же время мужественный.

Зато он писал известному доктору Бабинскому, который когда-то лечил его мать, чтобы получить нужные ему для книги сведения о симптомах и течении болезни, — один из его героев умирал от опухоли мозга. А чтобы эту просьбу приняли всерьез, он представлял ее как бы от самого себя. И это меня совсем не удивляет, нет... Он и доктора Биза целыми часами мучил своими вопросами, когда нужно было узнать что-нибудь для книги.

Несомненно, г-н Пруст и собственную болезнь использовал, чтобы отгородиться от внешнего мира и замкнуться в своем уединении и работе. И боялся отнюдь не болезни, а только того, что не успеет закончить книгу. Поэтому он так старался беречь себя и возводил всяческие препятствия вокруг своей персоны.

Если г-н Пруст и показывал себя для других более нездоровым, чем мне, то это было лишь средство иметь больше покоя, выходить из дома только по собственному желанию и всегда с одной лишь целью — в чем-нибудь удостовериться или повидать человека, которого он взял моделью для романа. Он писал своему приятелю Жану Луи Водойе: «Каждый день я окуриваюсь по семь-восемь часов без перерыва. Разве можно принимать кого-нибудь в таких условиях?» Скорее всего, в тот момент он просто не хотел видеть его.

Даже мне, как и приходившим гостям, ему случалось иногда вдруг сказать:

— Прошу прощения, я закрою глаза и помолчу. Мне нужен отдых.

Я-то прекрасно знала, что все это значило. Он ничуть не лгал. Для него, неподвижно лежащего на постели, отдых означал путешествие по своей книге, во вновь обретенном им времени.

VII
ГУРМАН СВОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Самое удивительное заключалось в том, что, невзирая на болезнь, он сопротивлялся и работал, не имея для этого даже тени какого-либо подкрепления. Вернее, его поддерживали только тени прошлого.

Однажды у меня случился приступ синусита, и он настоял на вызове доктора Биза. Осмотрев меня, доктор Биз прошел к г-ну Прусту и, воспользовавшись случаем, сказал мне в его присутствии:

— Кроме того, надо питаться, Селеста. Вы слишком мало едите. Не берите пример с г-на Пруста.

И, повернувшись к нему, добавил:

— Это действительно так, мэтр. Вы работаете как поденщик и при этом морите себя голодом!

Когда он ушел, г-н Пруст сказал мне:

— Слышали, Селеста? «Как поденщик...»

И, широко улыбнувшись, с довольным блеском в глазах:

— Это делает мне честь...

Доктор Биз был прав.

Я все спрашиваю и спрашиваю себя, где он брал силы, чтобы жить такой жизнью, не давая себе ни малейшей передышки. Я так никогда и не узнала, сколько он спал и спал ли вообще. Это была тайна, заключенная в четырех стенах его комнаты. Да, конечно, он отдыхал. Закрывал глаза, умолкал и уходил от всего. В такие моменты его неподвижность просто пугала меня — он едва дышал. Под светом этой зеленой лампы, с руками, вытянутыми поверх белой простыни, его можно было принять за покойника. Он мог уходить в себя и при посторонних, никто не осмеливался тревожить его, словно завороженного принца.

Но если только подумать о другой стороне, как он растрачивал себя в своей работе, и когда выходил из дома, и в те долгие часы разговоров со мной, что уже никак нельзя считать экономией сил, если он полдня оставался в постели. И где же он брал тогда энергию для всего остального?

То, что он ничего не ел, это ничуть не преувеличение. Я никогда в жизни не слышала, чтобы кто-нибудь годами жил, питаясь всего двумя круассанами и двумя чашками кофе. Да и два круассана он съедал далеко не каждый день!

Но даже эта единственная еда (если можно так сказать) стала постепенно уменьшаться. Уже во время войны 1914 года он

отставил круассаны и никогда с тех пор не употреблял их. Взамен я пыталась приохотить его к песочному печенью, тоже очень легкому. Мне посоветовали одного повара из богатого дома, у которого оно получалось просто восхитительным. Я принесла это печенье на подносе, и г-н Пруст, попробовав, спросил, откуда оно, а потом сказал:

— Поблагодарите этого человека за труды, и вас я благодарю за заботу, дорогая Селеста.

Но оно не понравилось ему и было отставлено, как и все прочее.

Почему единственное его питание состояло из кофе? Об этом я никогда у него не спрашивала. Я вообще опасалась задавать лишние вопросы. Надо сказать, он был очень чувствителен к качеству его приготовления. Правда, раз научившись делать все, как он хотел, больше уже не возникало особенных трудностей, и почти не было риска испортить напиток, хоть иногда он и вздыхал жалобно:

— Селеста, как вы это делали? Кофе совсем испорчен. Может быть, он уже старый? Вы уверены, что взяли такой, как надо?

— Не знаю, сударь, это все тот же.

Не могла же я сказать, что, быть может, сегодня у него не тот вкус.

Несомненно, кофе был нужен как стимулирующее средство. Он пил его очень крепким, хотя и разбавлял молоком.

Фактически такое кофейное питание задумывалось как диета, но самым главным было молоко. Он пил его чуть ли не по литру за день. И за все мое пребывание не выпил ни одной чашки черного кофе.

У меня все так и стоит перед глазами: серебряный кофейник с его инициалами, фарфоровый молочник под крышечкой, чтобы сохранять горячее молоко, и большая чашка с золотым ободком и фамильным вензелем; рядом на блюдечке круассан, покупавшийся в булочной на улице Пепиньер.

Для еды он всегда оставался один, делал мне знак рукой, и я уходила. Не могу сказать, например, много ли он сахарил свой кофе. Из двух чашек, входивших в кофейник, он выпивал за первый приблизительно полторы. Потом доливал свою полулитровую чашку кипящим молоком. Если пил вторую, то почти сразу вслед за первой и кофе наливал уже подостывшим, но молоко должно было быть кипящим, и его приходилось менять на новое, которое я приносила вместе со вторым круассаном.

Все было предусмотрено до мелочей. Я никогда не видела, чтобы он выпивал больше двух чашек. Хотя и редко, но случалось,

что перед выходом из дома для подкрепления он выпивал кофе, но со свежим кипящим молоком.

Многие думают, что он пил кофе в больших количествах. Совсем нет, если в чем и были излишества, так это в лишении себя пищи и в перегрузке работой. Но для работы главный стимул находился внутри, в голове.

Естественно, я говорю о том времени, когда жили у него в доме. Возвращение из Кабура и война были крутым поворотом во всем укладе его жизни.

До войны время от времени он еще съедал что-нибудь, просил Никола приготовить ему рыбу или заказать в ресторане какое-нибудь лакомство. И вообще, за редкими исключениями во избежание запахов все приносилось в дом уже готовым из соседнего ресторана «Людовик XVI», тут же на бульваре Османн, даже для Никола и Селины. А сам г-н Пруст прежде часто обедал и ужинал вместе с друзьями в ресторане «Ларю», очень модном, на углу улицы Рояль и площади Мадлен. И, наконец, уже когда шла война недолгое время он бывал в ресторане «Риц».

Если г-н Пруст заказывал что-нибудь Никола, то после кофе, часа в два или три. Никола подвала кушанье ровно в пять или в шесть. Но уже тогда это было редкостью — никак не чаще одного раза в две недели или даже в месяц, иногда ради того, чтобы подкрепиться перед выходом из дома. И он не требовал, чтобы я занималась кухней. Еще при Никола это было сведено к самой малости, тем более, как он сразу понял и сам сказал мне об этом, я ничего не умела, разве что разжечь плиту, чему научила меня сестра мужа, да еще готовить для Одилона диетическую еду.

Но пришел день, когда не стало ресторана «Людовик XVI», — весь квартал этих домов был снесен под строительство Индокитайского банка. И г-н Пруст позволил мне готовить для себя, а иногда и для него или ожидавшегося гостя. Мне это было не слишком трудно — у меня есть наблюдательность и любопытство; как и с приготовлением кофе, я могла поучиться всему еще у Никола. Да и требования г-на Пруста были не слишком велики. Как и во всем другом, здесь он тоже отличался простотой. Но когда-то он был тонким гурманом, и я замечала, что желания у него возникали под наплывом воспоминаний.

Он прошел хорошую школу у своей матушки и кухарки Фелиции. Я уже говорила, как он вспоминал телятину этой Фелиции:

— Ах, Селеста! Больше всего я любил ее холодной, с желе и ломтиками моркови.

При этом глаза его блестели от удовольствия.

Однако все мясное было не для него. В крайнем случае, да и

то лишь изредка, немного цыпленка.

Зато иногда ему хотелось рыбы, и он говорил мне:

— Дорогая Селеста, пожалуй, я охотно поел бы жареного соля. Когда бы это могло быть, если вы не возражаете?

— Да сейчас же, сударь.

— Как вы добры, Селеста!

Совсем рядом, на площади Сент-Опостен, была прекрасная рыбная лавка. Я бежала туда, приносила соля, жарила его и спешила подать на большом фарфоровом блюде с половинками лимона по всем четырем углам, как это делал Никола.

Почти только солей он и ел до самого конца жизни. Для всего остального аппетит пропадал у него, как только перед ним ставилось блюдо. Поковырявшись в тарелке, он звал меня, и я уносила ее, иногда совсем нетронутую.

И если говорить о настоящей еде, то, кроме цыпленка и соля, за все восемь лет я видела только, как один раз он пробовал барабульку, два раза корюшку, несколько раз русский салат, два раза яйца. Но, например, я никогда не видывала, чтобы он взял в рот хотя бы кусочек хлеба.

Русский салат я не рискнула бы и делать, да оно и невозможно: нарезанные овощи, майонез — никак не поспеешь, когда еда нужна сразу, моментально. Поэтому его брали от «Ларю».

Все остальное я готовила сама.

Барабулька покупалась только марсельская и только в одном месте — у Прюнье, возле Мадлен. Как он говорил, нигде во всем Париже она не была столь свежей, крупной и сочной. У него сохранилось в памяти, как отец водил их в ресторан Прюнье.

Что до корюшки, помню, как в первый раз он спросил меня с этой своей хитроватой мягкостью:

— Я поел бы жареной корюшки, Селеста. Но ведь вы, наверно, не умеете?

Это задело меня, и я возразила, что, конечно, умею. Но когда увидела в лавке этих рыбешек, показавшихся мне маленькими змейками, то встала в тупик: чистить ли их и вообще что с ними делать? Пришлось обратиться к соседям на первом этаже — кухарка доктора Гагэ была единственной моей знакомой во всем доме. Она не только превосходно готовила, но всегда старалась еще и всячески услужить мне. У нее-то я и попросила совета и в конце концов заслужила комплименты г-на Пруста. Он ел корюшку и второй раз, а на третий сказал:

— Если не окажется корюшки, возьмите пескарей, но только очень свежих.

Представьте, по свойственному для него волшебству г-н

Пруст угадал: корюшки и вправду не было. Я приготовила пескарей, но он не стал их есть — после корюшки они показались ему слишком большими.

Совсем другая история с яйцами. Как-то раз он говорит мне:

— Селеста, а, может быть, вы умеете делать и взбитую яичницу?

— А почему нет, сударь?

— Тогда я съел бы, из пары яиц.

— Хорошо, сударь, одну минуту. Я иду на кухню, вполне уверенная в себе, готовлю яйца и подаю ему на блюде и подносе, гордая своими талантами.

Он смотрит на яичницу, потом на меня:

— Дорогая Селеста, вот это и есть взбитая яичница?

— Конечно, сударь, — говорю я, уже чувствуя какое-то беспокойство.

— Вы уверены?

Но я вообще ни в чем не была уверена.

— Сударь, мне казалось, это именно то, что вам нужно.

— В этом-то я не сомневаюсь, но, по-моему, то, что вы принесли мне, называется глазуньей. В следующий раз буду говорить яснее.

Только из-за моего удрученного вида он оставил яичницу и чуть-чуть притронулся к ней. Я была совершенно вне себя и кинулась к своей приятельнице-кухарке, которая от души посмеялась надо мной и показала мне все, как надо делать. После этого я объявила г-ну Прусту, что теперь я уже научилась. Он ничего на это не ответил, однако по прошествии времени был уже вполне доволен моей взбитой яичницей.

Наверное, хватило бы десяти пальцев, чтобы сосчитать, когда он ел у меня жареный картофель. Обычно это случалось уже поздно вечером, если он никуда не уходил, или пару раз для какого-нибудь гостя. Картофель я подсушивала, и он ел с большим удовольствием.

Теперь я думаю, что его внезапные желания возникали в те моменты, когда он старался уловить уже исчезнувшее для него время — его потерянный рай. Все это относилось или к молодости, или к той эпохе, когда он жил у родителей, но прежде всего было связано, конечно, с матерью, очень заботившейся и о столе, и вообще о содержании дома.

Иногда ему в голову приходили какие-нибудь капризы. Например, птифуры надо было покупать непременно у Ребатте, потому что матушка считала их самыми лучшими в Париже. Он рассказывал:

— Однажды ко мне пришел мой приятель композитор

Рейнальдо Ан, и, когда мы с матушкой пили чай, он в шутку сказал ей: «Сударыня, держу пари, если я при несу вам птифуры Потан, вы не отличите их от ваших хваленых Ребатте!» Матушка ответила ему: «Хорошо, Рейнальдик, сделай себе удовольствие, а там посмотрим».

Или, например, как-то вечером г-н Пруст вдруг говорит мне:

— Кажется, я охотно съел бы бриошь от Бурбонне... Но вы поняли меня, Селеста? От Бурбонне.

И я отправилась на улицу Ром. Бриошь была подана на блюдце и подносе. Он отщипнул крошку и съел. Остальное поехало обратно.

Бывало и так:

— Селеста, мне хочется чего-нибудь шоколадного.

— Чего именно, сударь?

— Выбирайте сами.

Иногда я выслушивала подобные просьбы в десять, а то и в одиннадцать часов вечера и бежала на улицу Боэти в «Латинвилль», который, к счастью, не закрывался допоздна. Или вдруг ему хотелось варенья, сиропа, мороженого или каких-нибудь фруктов.

Фрукты я брала у Оже, на бульваре Османн, где летом и зимой всегда были самые лучшие. Обычно он просил грушу или виноград. Но с годами у него пропал вкус к свежим фруктам. Он ел иногда слабо подслащенный компот, который я должна была варить в точности столько минут, как он говорил. Чаще всего компот оставался нетронутым, а он говорил мне, словно скрывая свое разочарование:

— Дорогая Селеста, не знаю, что уж вы с ним сделали, но компот испорчен.

Мороженого ему хотелось обычно очень поздно вечером. После войны за ним всегда ездил в «Риц» Одилон, часто посреди ночи, когда г-н Пруст возвращался из гостей.

Один или два раза, не больше, он просил варенья и сироп.

— Покупайте у Танарда, на улице Сэз, за Мадлен. Матушка всегда брала только там.

Отведав чуть-чуть, он уже больше к нему не притрагивался. Как-то ему захотелось смородинного сока. Но стакан так и остался почти непригубленным. Я спросила:

— Вам понравилось, сударь?

Он поднял на меня глаза и сказал, вздохнув, с грустной, какой-то детской улыбкой:

— Не очень. Странное дело, Селеста. Раньше он казался мне вкуснее.

Питье было упрощено до предела. Каждый вечер я приносила

на ночь бутылку эвианской воды. Раз откупоренная, она уже больше не употреблялась. Кроме своего кофе, он ничего не пил, особенно вина, ни капли, но иногда по внезапному капризу — немного пива. Молодой тогда писатель Рамон Фернандес соблазнил его свежайшим пивом в пивной «Липп» на бульваре Сен-Жермен. Во время войны *я* посылала туда на такси мою сестру, помогавшую мне тогда по хозяйству. Когда возвратился Одилон, он ездил за пивом в «Риц» уже с холодным графином. Это почти всегда было посреди ночи, и у Одилона на этот счет была договоренность с Оливье Дабеска, директором ресторана, который ради такого хорошего клиента разрешил Одилону входить на кухню, когда там уже никого не было, и самому брать пиво и лед.

В одной книге рассказывается, будто г-н Пруст за ужином в ресторане «Риц» пил шампанское и «проглотил жаркое из баранины». Это полнейший абсурд. Конечно, я не жила у него, когда он обедал и ужинал в городе, но не сомневаюсь, что и там он притрагивался к кушаньям и питью ничуть не больше, чем у себя дома. Возвратившись, он обычно перечислял мне содержание меню, но без вожделения, скорее как забаву и для удовлетворения своей постоянной потребности в узнавании вещей. И очень часто или сам, или отвечая на мой вопрос, говорил, что ничего не ел. Да и с чего бы ему есть там больше, чем, например, принимая у себя гостей?

А принимал он лишь изредка, да и то по одному человеку. Это меня вполне устраивало, ведь я совсем не сходила с ума по кухне — она скорее надоедала мне.

Когда приходил гость, г-н Пруст так и оставался в постели. Я освобождала маленький столик и раскладывала салфетку с прибором для одного человека. Меню всегда оставалось неизменным — наверное, он приспосабливал его к моим возможностям: рыбное филе и цыпленок в сопровождении мороженого от «Пуар-Бланш». Иногда был только цыпленок и мороженое с фруктами.

Единственная более или менее настоящая трапеза была устроена для его брата Робера по случаю награждения орденом Почетного Легиона. Мне было велено приготовить дыню, цыпленка, сласти и фрукты.

Рассказывают, будто он часто просил меня среди ночи поджарить картофель и подать с сидром для приведенного гостя. Такое действительно случалось раз или два, но сидр бывал редко.

Для этих обедов я покупала хорошие вина, белые и красные, под рыбу и мясо, а в остальном употреблялось шампанское —

только «Вёв Клико» — или портвейн с птифурами от Ребатте.

Я прежде всего хотела, чтобы остался доволен сам г-н Пруст, а гости уже во вторую очередь. Нужно было видеть, как он радовался, когда они хвалили моего цыпленка.

Теперь я понимаю, что, с одной стороны, и здесь им руководило стремление к совершенству, но такому, как его понимали в его прошлом — именно отсюда приверженность к одним и тем же привычным магазинам и фирмам. Это тем более поразительно, если вспомнить, как далеко он видел в своих книгах, где пророчески показал конец и этого мира, и этого общества.

С другой стороны, было стремление к работе, ради которой он жертвовал своим здоровьем. Часто, видя его утомленным, я огорчалась, замечая нетронутое блюдо, и спрашивала:

— Сударь, почему вы не едите? Разве можно выносить такой режим?

— Рассудите сами, Селеста: после хорошего обеда тяжелеешь, и голова уже не свободна, понимаете? А мне нужна ясная голова.

Однажды я рассказала ему:

— Когда моя мать ходила в школу, там была сестра-послушница, которая все время боялась, что дети слишком много едят, и приговаривала: «Хватит, дети, хватит, не ешьте столько, и у вас будет ясная голова и крепкое здоровье». Так и вы, сударь, как и эта послушница!

Он много смеялся моему рассказу, хотя и сам прекрасно знал, что так оно и есть на самом деле.

И, возможно, обе стороны соединялись — требования творчества и вкус к прошлому. Борясь с потоком времени, чтобы завершить свой труд как можно быстрее, он уже предчувствовал конец стольких вещей, некогда любимых, а теперь, когда за ним гналась по пятам смерть, ставших лишь тенями воспоминаний.

VIII
ЕГО ЧРЕЗМЕРНАЯ СТЫДЛИВОСТЬ

То совершенство, к которому он всегда стремился, относилось и к его манере держать себя, в том числе к одежде и другим привычкам. Здесь тоже проявлялась его привязанность к прошлому. В последние годы кое-кто, особенно из узнавших его уже знаменитым, говорили, что он похож на человека из прошлого века. После войны мода сильно переменилась, а он носил платье старого покроя, с этими высокими и твердыми воротничками. Но только глупцы могли называть его смешным, не понимая той естественной элегантности, благодаря которой все ему шло, и все было на своем месте. Я не сомневаюсь, что для большинства знавших его он до конца так и оставался тем настоящим аристократом, каким я увидела его в ту первую встречу.

И прежде всего эта его манера держаться. Как я уже говорила, он был скорее высокого роста, худощав и при этом имел обыкновение как бы откидываться назад, что еще больше удлиняло его. Это вообще свойственно астматикам, они словно бы стараются освободить свое дыхание.

В нем не было ни малейшей скованности. Даже удивительно, что человек, который половину жизни проводил лежа, обладал такой гибкостью и грациозностью движений и жестов. Даже в постели, слегка склонив голову и подперев рукой щеку, он поражал впервые приходивших к нему своим шармом. А для меня это было непрерывное наслаждение, никогда не надоедавшее.

Помню, кажется, в 1919 году, уже после войны, г-н Пруст согласился принять г-на и г-жу Сидней Шифф, его больших почитателей из Англии, и снял для этого отдельный кабинет в «Рице». Потом он рассказывал, что, когда вошел одетый в смокинг, г-жа Шифф едва сдержала возглас восхищения.

— И, знаете, что она сказала мне?.. «Я думала увидеть седого старца, а передо мной стоял молодой человек!»

Тогда ему было уже сорок восемь лет.

Стоит сказать, что еще одной поразительной чертой этого великого больного был цвет его кожи. Конечно, в постели он иногда походил на мертвеца. Но если воодушевлялся, или перед гостями, или придя домой, пусть даже утомленным, у него всегда был великолепный цвет лица, еще более оттенявшийся черными волосами, черными усами и блестящими черными глазами, не говоря уже о зубах невероятной белизны, которую он сохранил,

несмотря на болезнь и почти полное отсутствие питания. Я не помню у него зубной боли и ни одного испорченного зуба. Самое забавное, что прямо над нами, на бульваре Османн, квартировал великолепный дантист, американец г-н Вильяме, у которого лечилась одна из близких приятельниц г-на Пруста, г-жа Строе. Пару раз, выйдя от него, она заходила навестить «дорогого Марселя» и настаивала, чтобы он показался этому американцу: «Пользуйтесь случаем, Марсель, даже если у вас ничего не болит. Он ведь прекрасный дантист! Лучший во всем Париже!» Хоть он и обещал ей, но, конечно, никуда не ходил.

В рассказах о его кокетстве доходили и до париков, и до того, что он подкрашивал себе глаза и лицо. Но темнота под глазами была у него от бессонной работы и болезни, а с кожей он вообще ничего не делал, ее красота и тонкость были совершенно естественны, в точности как на портрете Жака Эмиля Бланша. Для его черных усов и волос не требовалась никакая краска.

Форму усов он менял один раз, когда сбрил бороду, перед тем как я познакомилась с ним. Он носил их довольно длинными, но потом, уже после войны, единственный раз уступив моде (то ли по совету парикмахера, то ли его уговорили друзья из « Рица»), подстриг их под Шарло, но при этом спрашивал у меня:

— Представляете, Селеста? Мне советуют носить усы, как у Шарло, и говорят еще: «Ведь вы так молодо выглядите».

Сделав это, он не переставал сомневаться:

— Дорогая Селеста, вам не кажется, что у меня смешной вид с этой щеткой под носом?

Совсем нет, сударь, напротив, это и вправду молодит вас.

Он радовался, да я и не лгала — такие усы действительно делали его моложе.

Нельзя сказать, чтобы у него было кокетство в костюме, тем более при таком простом и строгом гардеробе. И он почти не обновлял его, во всяком случае на моей памяти. Впрочем, для этого и не было особой надобности: лежа в постели, он ничего не изнашивал. Кроме кабурского вигоневого пальто, оставалось еще только то, которое лежало на постели для внутреннего употребления, да еще норковая шуба и черное пальто. Из костюмов при мне было сшито два или три, вот и все.

Он всегда одевался к венецианскому карнавалу на бульварах, и для этого в квартире делалась примерка. Ему очень нравился один пожилой английский закройщик, которого я прекрасно помню, — два или три раза я должна была сказать ему, когда он приходил, что г-н Пруст никак не может принять его, то ли из-за астмы, то ли ему был нужен отдых после работы. Этот добряк уже привык к такому приему и, ответив со своим английским

акцентом: «Когда г-ну Прусту будет удобно», — уходил.

Кроме фрака и смокинга, имелись еще несколько визиток, которые он носил с брюками в полоску. Иногда он надевал черный пиджак. Все, конечно, сшитое по мерке.

У него была целая коллекция жилетов, дорогих, но однотонных. Помню, что он заказал себе особенно красивый жилет из красного шелка на белой шелковой подкладке. Он примерил его и показал мне, поворачиваясь перед зеркалом. Потом сказал:

— Нет, конечно же, нет. Это хорошо для такого денди, как Вони де Кастеллян. А я не хочу быть посмешищем.

Жилет был отправлен в шкаф, и он никогда его не надевал.

То же самое и с игрой в галстуки. Кроме бабочек (черных для смокинга и белых для фрака), все остальные были строго сдержанные и только один яркий, который надевался очень редко. Одно время он носил банты от «Либерти», но они ему надоели, я видела их только в коробке.

Что касается обуви, то это всегда были ботинки на пуговицах, кроме одной пары — за восемь лет, — которую он поручил мне купить.

Было велено взять такие же, как всегда, — черные лаковые ботинки в магазине «Старая Англия», на углу бульвара Капуцинов и улицы Скриб. Я толком не поняла адрес и зашла в маленький шикарный магазинчик, тоже на бульваре Капуцинов, и купила там лаковые туфли с бежевым верхом. Я взяла их на пробу, потому что они не были совершенно черными. Когда г-н Пруст увидел их, они почему-то понравились ему, и он сказал:

— Посмотрим, надо попробовать.

Найдя эти туфли весьма элегантными, он потом всегда надевал их, но, конечно же, не к черному фраку.

Обувь он изнашивал ничуть не больше, чем одежду, потому что ездил только в такси, а ходил по коврам или по паркету. И, конечно, как человек привычек, во всем ненавидел какие-либо перемены. Ему было хорошо с уже давно носившимися вещами. Кроме того, выбирать, примерять, покупать — все это требовало времени и усилий. Тем более и выходил-то он только в те часы, когда магазины были закрыты, поэтому сам ничего не покупал, а только заказывал.

Заниматься туалетом — это была уже целая история, которая сильно утомляла его, здесь он признавал помощь парикмахера и никого более.

Часто я видела, как он в постели занимался ногтями, и с какой тщательностью! Но зато сам он никогда не брился, а если не выходил из дома и никого не ждал, так и оставался небритым.

Но когда ему нужно было куда-нибудь идти, я быстро бежала к г-ну Франсуа, неподалеку, на бульваре Малерб. Он, наверное, ходил еще к отцу г-на Пруста. Г-н Франсуа сразу же являлся, это было всегда вечером; весь набор его инструментов — ножницы, кисточки, щетки и бритвы, — так и лежал у нас на бульваре Османн. Но все остальное в туалете г-на Пруста оставалось тайной. Когда он лежал в постели, даже не могло быть и речи, чтобы положить ему грелку или, например, поправить рубашку на спине. В интимной сфере он отличался крайней стыдливостью. И, думаю, совсем не потому, что я была женщиной; по моим наблюдениям, точно так же дело обстояло и при Никола.

Никогда, абсолютно никогда, ни один человек не входил в туалетную комнату, когда он был там.

Меня всегда смешило мнение тех людей, которые принимали за реальность то, что г-н Пруст приписывал «Рассказчику» в своей книге, и думали, будто это происходит с ним самим. Он, например, пишет, как служанка Франсуаза входит без предупреждения и застает «Рассказчика» с голой Альбертиной. А раз уж г-н Пруст взял Фелицию, Селину и меня, чтобы вывести эту служанку, они думают, будто и я входила таким же манером и видела всяческие сцены. Здесь можно сказать только одно — они совершенно не знали г-на Пруста. У нас было строжайше запрещено входить в комнату без вызова! А что касается всяческих сцен, то это сама по себе целая история, к ней я еще вернусь в своем месте. И вообще думать, будто его книги списаны с жизни самого г-на Пруста, значит по меньшей мере, принижать его воображение.

Еще до того, как г-н Пруст в конце 1914 года отказался от телефона, я часто звонила по его делам, а поскольку он всегда прислушивался к звонкам, двери и в его комнату, где был аппарат, и в туалетную комнату оставались открытыми. Поэтому иногда мне случалось видеть некоторые подробности его туалета.

Но не более того, что он до бесконечности чистил зубы и никогда не пользовался мылом, а только прикладывал к лицу смоченные салфетки из-за чрезвычайной нежности его кожи, которая не переносила трения. При этом весь остальной туалет был уже почти закончен, брюки и верхняя рубашка надеты, оставалось только лицо.

Он всегда соблюдал скрупулезную чистоту, ведь его отец был не только знаменитым врачом, но еще и специалистом по гигиене. От него г-н Пруст перенял страх перед микробами, что уже само по себе побуждало его к маниакальной чистоте.

Да и не он один отказался от мыла. Мне рассказывали, что таким же был и великий английский писатель Бернард Шоу,

который считал мыло противоестественным и вредным и мылся только чистой холодной водой.

Правда, г-н Пруст не доходил до этого. Ему была нужна горячая вода, даже очень горячая. И если он не пользовался никакими туалетными средствами, ни одеколоном, ни кремами из-за запаха, то зато все время употреблял патентованный дезинфектант, которым полоскал не только рот, но и горло при малейших неприятных ощущениях.

Вспоминаю про один редчайший случай, когда у него на носу появился нарывчик и он протер его своим дезинфектантом, после чего нарыв сильно воспалился, и тут я увидела, как г-н Пруст забеспокоился, что случалось с ним довольно редко.

— Он растет. Придется, пожалуй, вызвать доктора Биза.

Доктор Биз не заставил себя ждать и, выслушав г-на Пруста, разволновался:

— Какая неосторожность! Вы могли внести себе сильную инфекцию. Бывали случаи, когда они распространялись даже на мозг.

Когда все прошло, г-н Пруст много смеялся над этим, передразнивая волнение доброго доктора.

Но все-таки он так и употреблял везде свой дезинфектант — даже в воде для мытья рук, что, впрочем, меня совсем не удивляло.

Конечно же, туалет, как и все прочее, представлял собой раз и навсегда заведенный ритуал. Сначала баня для ног, потом два кувшина горячей воды с кухонной плиты. В то время на бульваре Османн еще не провели водопровод, кроме крана в кухне.

У него был красивый, с золотым узором эмалированный таз для ног, единственное украшение туалетной комнаты, если не считать еще большую щеточницу черного дерева с его серебряным вензелем.

Сначала я просто пугалась горячей воды, которой он мылся, где-то около 50 градусов, но потом убедилась, что это тоже рассчитано, — пока начиналось мытье, вода остывала до нужной температуры.

Что касается нательного белья, то, перед тем как выходить из дома, он полностью менял его. Носил он только шерстяное от фирмы «Расюрель». Однажды я купила ему другое, показавшееся мне хорошим и красивым, но он так и не надевал его.

Рубашки, как и вода, тоже нагревались, и на кухне все время жарко топилась большая печь. Я заранее клала белье в духовку, чтобы оно успело прогреться, а когда он просил его, выкладывала на стул.

Еще до того, как он начинал заниматься своим туалетом, все

должно было быть приготовлено — вода, одежда, салфетки — и разложено по своим местам на столике и стульях. После этого я уходила, а он вставал, одетый в пижаму и шерстяную рубашку; если было холодно, сверху надевалось черное пальто на клетчатой подкладке. На ногах были или шлепанцы или большие суконные туфли с застежками, которые он обычно носил дома.

Следует отдельно сказать о церемонии с салфетками. Всякий раз я готовила целую стопку, штук двадцать; он промокал себя каждой всего по одному разу, а потом таким же манером сушил кожу. Этих тонких нитяных салфеток был громадный запас, и все они отправлялись для стирки в заведение Лавинь, потому что в квартире ничего не стирали.

Впоследствии, уже после его смерти, я служила в отеле на улице Канетт, и там на пятьдесят комнат в стирку шло не больше белья, чем у г-на Пруста. Иногда, глядя на эти кучи, я говорила ему:

— Сударь, только подумать, сколько вы тратите понапрасну денег!

— Каких денег, Селеста?

— Все эти салфетки совершенно чистые, а вы кидаете их!

— Дорогая Селеста, вы просто не понимаете, от слишком мокрых салфеток у меня трескается кожа.

Чистка зубов также обходилась в целое состояние. Он пользовался всегда одним и тем же мельчайшим порошком, приготовленным по рецепту его отца в аптеке Леклерка. Зубы он тер щеткой, беря порошок раз пятьдесят, и в результате все покрывалось им, зеркало, столик и он сам, и уже перед самым выходом, случалось, я говорила ему:

— Сударь, вы замочили воротничок! Это плохо для горла.

Или:

— Сударь, вы запачкали галстук, он весь белый.

— Но я же закрывал его салфеткой!

А если я настаивала, говорил:

— Да нет, оставьте так, дорогая Селеста. Ведь люди встречаются со мной не ради галстуков.

В конце концов он все-таки соглашался, чтобы я смахнула порошок.

Но это, пожалуй, и все, что мне было позволено. Говорили, будто я завязывала ему галстуки. Никогда в жизни! Да я и не умела это делать. Зато с какой скоростью проделывал это он сам, можно было подумать, что он упражнялся Целый день! Единственное, что он просил иногда, так это помочь с пуговицами на манишке.

Только один раз, уже перед самым концом, уже собравшись

выходить, он сидел, усталый до изнеможения, но полностью одетый, и попросил:

Селеста, сделайте милость, дайте мне мои ботинки.

Он надел их, но я вдруг опустилась перед ним на колени и мгновенно застегнула пуговицы; тогда он со страданием в голосе проговорил:

— Пожалуйста, Селеста, не нужно!

— Но, сударь, все уже готово. Почему вы не хотите? Когда я поднялась, у него на глазах были чуть ли не слезы, и он с нежностью сказал мне:

— Ах, Селеста, я вас так люблю!

С ним я чувствовала себя иногда матерью, а иногда ребенком.

IX
ЧЕРНЫЕ НОЧИ ПАРИЖА

Несомненно, война намного упростила наши отношения с г-ном Прустом, точно так же как способствовала и коренной перемене его жизни в сторону уединения, разбросав многих прежних друзей. Если бы не война, хоть он и не забывал бы о деле всей жизни, я думаю, все-таки не смог бы отказаться от искушения бывать в своем круге. Но праздники, приемы и званые обеды закончились. Загородные дома всех светских дам закрылись, а иногда стали военными госпиталями. В самом Париже было уже неприлично принимать в салонах, как прежде, не говоря о возникших затруднениях с прислугой. Поэтому многие вместе со своими юными дочерьми обратились к патриотической деятельности на благо раненых и надели форму сестер милосердия. Что касается мужчин, которые в мирное время вращались вокруг этого светского соцветия, почти все они были в армии. Жизнь утратила свой блеск, оставив лишь тревоги и траур.

Брат г-на Пруста находился в качестве хирурга на передовой в Вердене, где организовал первый фронтовой операционный блок. Однажды снаряд разорвался прямо там, где он оперировал раненых, и за храбрость его произвели в капитаны, чем г-н Пруст очень гордился, хотя сильно боялся, как бы с братом чего не случилось.

Смертельной опасности подвергались теперь все те, с кем он в молодости разделял радости жизни. Больше других г-н Пруст издавна любил композитора Рейнальдо Ана, который благодаря родственникам мог бы остаться в тылу, но сам просился на фронт; он писал, что сочинил среди разрывов и свиста пуль песню для своего пехотного полка, и солдаты охотно поют ее. Г-н Пруст очень беспокоился за него, как и за всех других.

— Вот видите, Селеста, — говорил он мне, показывая их письма, — на них сыплются пули, а я сижу здесь.

Во второе лето войны погиб один из его кузенов, а еще до этого двое близких друзей, которые послужили ему как бы зеркалами для героя его романа, кавалера де Сен-Лупа. Первым погиб в конце 1914 года граф Бертран де Фенелон. Сначала г-н Пруст надеялся, что он попал в плен, и напряженно следил за всеми поисками; только в марте 1915-го по найденным документам и фотографиям удостоверились в его смерти. Он узнал об этом из газет и очень горевал.

Другой его близкий приятель, Гастон де Кэллаве, погиб не от пули — в могилу его свела несчастная любовь, но не в этом дело. Среди потока похоронных извещений для г-на Пруста это было еще одним ударом, обрекшим его на тягостные воспоминания.

Но хотя в Париже и прекратились светские приемы, тем не менее оставалось еще немало людей, с которыми при желании можно было видеться, например, в светских ресторанах. Тем более что уже много говорили о его вышедшей книге, и появились новые знакомства, а когда г-н Пруст хотел куда-нибудь пойти, его не останавливало ни позднее время, ни какие другие обстоятельства.

Я понимаю, как будут восприняты мои слова о том, что для этого требовалась некоторая смелость. Кажется, что было такого особенного по сравнению с опасностями для солдат на фронте? И все же я вспоминаю один случай из того времени, когда немцы начали бомбить Париж и по ночам город погружался в абсолютную темноту.

Однажды г-н Пруст собрался к поэту Франсису Жамму, который одним из первых похвалил его книгу «В сторону Свана»[3]. Жамм жил довольно далеко, у площади Инвалидов. Поскольку мой муж был на фронте, г-н Пруст уже не располагал «своим» такси, и я пошла найти для него машину; в темное время сделать это оказалось не так-то легко, а пока я занималась поисками, он еще и нервничал, ожидая меня в квартире. Но еще до его возвращения началась вдруг стрельба по воздуху, то ли против цеппелинов, то ли против аэропланов. Я сильно испугалась и страшно за него беспокоилась, как он сможет возвратиться домой.

Спустившись в подвал — второй и последний раз — я вдруг услышала звонок у парадной двери и сразу же побежала по черной лестнице в квартиру, чтобы успеть встретить его. Он вышел из лифта спокойный, улыбающийся и очень довольный.

— Ну, что, Селеста, вы меня ждете? Но все-таки вам лучше сейчас же спуститься в подвал. Будьте добры.

Я стала возражать, что мне это совершенно ни к чему, тем более и он не спустится из-за дурного воздуха и пыли. Но он настаивал, и пришлось идти в подвал. Там уже были консьерж Антуан и его жена, дрожавшие от страха, и я подумала: «Если уж в нас попадет, то все равно где, и лучше задыхаться наверху, чем внизу». Когда я поднялась в квартиру и высказала ему это, он только рассмеялся, а я стала убирать снятую им одежду — шубу, перчатки... но, дойдя до шляпы, невольно вскрикнула: на ее полях было полно маленьких железных кусочков, упавших с неба от стрельбы по воздуху. Я сказала ему:

— Сударь, посмотрите, сколько набралось железа! Значит, вы не ехали на такси? Неужели вам не страшно?

— Нет. А чего бояться, Селеста? Да и само зрелище было очень красиво.

И он стал описывать свет прожекторов и разрывы снарядов, отражавшиеся в Сене. Потом рассказал, что провел приятный вечер у Франсиса Жамма. Потом встретил Тристана Бернара, который немало его позабавил, а под конец, рассудив, что в такую ночь все равно не найти такси, отправился домой пешком.

Это было настолько не похоже на него, что я спросила:

— Как же вы решились, сударь, и как вам удалось отыскать дорогу?

Он улыбнулся.

— Вашими молитвами Господь послал мне ангела-хранителя как раз на площади Согласия.

И рассказал, что площадь была совершенно пустынна и совершено темная, но к нему подошел какой-то человек.

— Может быть, он уже шел за мной и заметил мою неуверенность, потому что путь освещался только разрывами снарядов. И он сказал мне: «Похоже, вы сбились с пути? Хотите, я провожу вас? Вам куда?» Я назвал бульвар Османн, и мы отправились, продолжая разговаривать. Он спросил, что я делаю посреди ночи, и я объяснил, что был в гостях у приятеля. Мы прошли по улице Буасси д'Англа до отеля «Крийон» и бульвара Малерб. Там он помог мне перейти на другую сторону и распрощался.

Здесь г-н Пруст прервал свой рассказ и, внимательно посмотрев на меня своим острым взглядом, продолжал:

— И, знаете, Селеста, если уж все рассказывать... похоже, это был просто бандит. Я сразу понял, но не показывал вида до того самого момента, когда мы сталирасставаться. Поблагодарив его, я сказал: «Позвольте спросить вас, а почему вы на меня не напали?» Вот буквально его слова: «Что вы, сударь! На такого человека...»

Он был очень горд этим.

В его отношении ко мне тогда было какое-то странное противоречие. С одной стороны, заботливость, когда он настаивал, чтобы я пряталась в подвал во время налетов. Он говорил:

— Я вам велю, идите туда, Селеста, ведь, случись что, это будет на моей совести перед вашим мужем, которому я обещал беречь вас. Неужели вам не приходило в голову, если мы загоримся от бомбы, то сгорим с этой пробкой, как факел?

А когда я возражала, что не хочу спускаться в эту дыру и уж

лучше поджарюсь вместе с ним, он мягко отвечал:

— Ну, я тут не в счет, я совсем болен, да и все мои труды будут уничтожены. А вы еще молоды.

И в то же время у него не было чувства опасности, и ему казалось вполне естественным посылать меня среди ночи на затемненные улицы, не думая, что я все-таки женщина.

Но и саму меня это не удивляло. С ним я была настолько спокойна, что ни о чем не задумывалась. Да и потом, разве я знала жизнь? Уехав из своей деревни, я сначала почти и носа никуда не высовывала, а потом все мое существование проходило в квартире на бульваре Османн. Да и там я лишь начинала набираться опыта. Один только г-н Пруст и учил меня пониманию жизни, и моя наивность очень забавляла его. К примеру, когда он ночью посылал меня за чем-нибудь, я почти каждый раз встречала на улице Тронше толстую негритянку, которая прохаживалась взад-вперед с ручной сумочкой. И как-то раз я спросила у г-на Пруста:

— Подумайте, сударь, и что она делает в этой темнотище? При ней нет даже маленькой собачонки.

— Ну, Селеста, вы же знаете... Эта женщина из тех, кто зарабатывает на жизнь такими прогулками.

Редко случалось, чтобы он так смеялся. Но у него была совсем не обидная манера, и я стала тоже смеяться вместе с ним.

Так и продолжалась моя беготня по улицам посреди глубокой ночи, и это казалось мне совершенно естественным. Я даже не помню, чтобы уж очень боялась, — только однажды, у отеля «Терминус Сен-Лазар», за мной увязался какой-то мужчина и шел до конца улицы Пепиньер; вокруг не было даже кошки, и я, как заяц, юркнула в улицу Анжу. Когда я рассказывала об этом г-ну Прусту, у меня еще стучало сердце. Но он лишь заметил на это:

— Ну, у вас хватит силы постоять за себя.

Чаще всего я носила письма, поскольку он хотел быть уверен, что они дойдут уже утром. В зависимости от времени я опускала их на бульваре Малерб, или на большой почте около вокзала Сен-Лазар, или же у Биржи, где было открыто всю ночь, но туда я ездила на такси.

Иногда нужно было найти среди домашних книжных завалов какой-нибудь том, но, поскольку маленькая лампа почти не освещала комнату, а другого света не зажигали из опасения обеспокоить, мне никак не удавалось отыскать его, и тогда он хоть и нетерпеливо, но тихо говорил:

— Ладно, оставим это. Идите лучше в книжный магазин.

И я шла туда, на улицу Лаборд, между церковью Сен-Опостен и бульваром Османн. Хозяин, г-н Фонтен, старик в неизменной

ермолке и белой блузе, обожал свое дело, Даже во время войны он не закрывал магазин до часу, а то и двух ночи. Я приходила и передавала ему заказ г-на Пруста. Чаще всего он отвечал:

— У меня есть вот это и вот это, но, к несчастью, нет нужной ему книги. Хотя именно эти, мне кажется, устроят его. Если нет, приносите их назад.

Иногда я уходила с несколькими книгами и передавала г-ну Прусту слова хозяина. Но все мои хождения оканчивались, как и во всем другом, одним и тем же:

— С ними я только потеряю время. Уберите их, Селеста.

Он даже не смотрел на эти книги, но они и не возвращались в магазин. В этом доме все оставляли у себя.

Или я ходила среди глубокой ночи передавать письмо в собственные руки, и при этом многих мне приходилось поднимать с постели. Никогда не забуду один случай, который сильно насмешил г-на Пруста. Он восхищался квартетом молодых музыкантов «Пуле», услышанным в театре «Одеон», где за фортепиано был композитор Габриель Форе; но особенно поразил его виолончелист, по имени Массис. Возвратившись с концерта, он сказал мне:

— Я провел волшебный вечер, снова повидал Габриеля Форе, он чудесно сыграл одну свою вещицу. Но там было еще четверо молодых артистов, столь вы дающихся, что я попросил познакомить меня с ними.

Через некоторое время он написал молодому Массису, чтобы выразить свое восхищение, и пригласил его побывать на бульваре Османн. Естественно, Массис должен был получить это письмо без малейшего промедления, и я отправилась в путь.

Он жил очень далеко, на другом берегу Сены, где-то за Пантеоном. Я доехала туда на такси, но совершенно не понимала, куда попала; у меня не было ни фонарика, ни даже спичек, я совершенно не представляла себе, сколько времени — полночь или уже два часа. К счастью, в этой кромешной тьме я наткнулась на полицейского и попросила его:

— Пожалуйста, г-н полицейский, я в большом затруднении, мне нужен такой-то номер на такой-то улице, но, похоже, я заблудилась. Покажите мне дорогу. Может быть, вы даже проводите меня?

Он очень любезно довел меня до самой двери, и чтобы отблагодарить его, я вынула из кошелька пятифранковую монету и отдала ему. Разбудив консьержку, я узнала нужный мне этаж и поднялась по горбатой лестнице. Самого музыканта тоже пришлось поднимать с постели, но меня это нимало не смущало — ведь так велел сам г-н Пруст. Да и Массис тоже как будто не

очень удивился.

Возвратившись на бульвар Османн, я рассказала г-ну Прусту, как удачно мне встретился полицейский, и как я его отблагодарила. Он громко расхохотался и все никак не мог остановиться. Впоследствии, уже через много лет, он чуть ли не всегда напутствовал меня, если я отправлялась «курьером»:

— И не забудьте, Селеста, пять франков для полицейского.

Война почти не переменила ритм и обыденное течение нашей жизни; для меня прибавилось только беспокойство о муже.

За пять лет Одилон приезжал в отпуск четыре или пять раз, известия от него приходили очень редко. Первый отпуск был в 1915 году, почти через год после ухода. Незадолго до этого я получила из-под Амьена почтовую карточку, где он был снят с бородой, что совсем не показалось мне красивым. И вдруг — прошло всего несколько недель — он является самолично с этой самой бородой. *Я* и сейчас еще вижу его! На нем были большие солдатские ботинки со шнурками, и когда я открыла ему дверь на кухню, он, увидев чистый пол, не решался войти. А меня просто гипнотизировала его борода. Радостная, я побежала к г-ну Прусту, но не придумала ничего лучшего, как сказать:

— Сударь, если б вы видели Одилона!.. Он с бородой... какой ужас! Г-н Пруст посмеялся, по своему обыкновению, но был очень доволен:

— Ну, так пусть он сейчас же идет ко мне.

Они поговорили, г-н Пруст спрашивал его о здоровье и о войне, а потом, внимательно рассмотрев, осведомился, откуда взялась борода. Одилон объяснил, что было очень холодно, и от бритья трескалась кожа.

— И все-таки Селеста, пожалуй, права. Борода не очень-то красит вас.

Тогда мой муж решился сбрить это почетное украшение солдата-фронтовика.

Из остальных отпусков я лучше всего помню еще два. Один, кажется, в апреле 1917 года, когда у него был приступ альбуминурии, так и оставшейся до конца жизни. А другой, последний, 17 октября 1918-го, на десять дней. Он уже говорил, что у них ходят слухи о мире, и добавил: «Если бы так!..»

Но только после демобилизации проявилось все внимательное отношение к нему г-на Пруста. Муж вернулся больным и три месяца пролежал в военном госпитале, однако и потом у него случались прямо на улице ужасные головокружения, и ему буквально приходилось держаться за стены и фонари. К тому же на него страшно подействовала смерть любимого брата Жана, самого младшего, который собственным горбом сумел

открыть свое дело — лавочку на углу улиц Виктуар и Лаффит. Когда он пропал на фронте, сам г-н Пруст просил Рейнальдо Ана навести о нем справки, но, увы, они лишь подтвердили его смерть. При объявлении войны Жан со слезами просил Одилона: «Пойдем вместе в пехоту и никогда не будем расставаться». Но у Одилона было уже свое назначение. И вот Жан убит на той самой роковой Шеман-де-Дам. Одилон так никогда и не смог примириться с этой потерей.

Сразу после демобилизации г-н Пруст чуть ли не за руку отвел его к своему брату Роберу и другим врачам. Больше того, он специально вызвал доктора Биза. Помню, как он сказал мне после его визита:

— Доктор Биз предписывает очень строгий режим. Мы обсудили с ним это.

Одилону нужно много молока и свежих овощей без соли. Однако наш милейший доктор предупредил меня: «Но он никогда не пойдет на это. Такие люди не слушают врачей и не соблюдают режим». Я ему ответила: «Ладно, посмотрим. Я возьмусь за Одилона, и он поверит мне».

Одилон пообещал и, начиная с того же дня, выдержал драконовский режим. Г-н Пруст следил за ним и требовал от него подробного отчета. А когда муж снова стал работать по ночам, он жаловался ему, что в позднее время не всегда удается найти пюре.

— Мне очень приятно ваше серьезное отношение. И не беспокойтесь, я попрошу Селесту, чтобы для меня всегда было готовое пюре, и, когда вы будете возвращаться, вам не придется нарушать режим.

Так что по-своему он тоже был привязан к моему мужу. С годами Одилон стал для него доверенным человеком, а это совсем не мало, ведь прежде, чем сблизиться с кем-нибудь, г-н Пруст все перепроверял до последних мелочей. Он в конце концов полюбил Одилона за его преданность и мог вызвать его, так же как и меня, в любое время, и Одилон без слова приезжал на своем такси. Когда мы жили еще на Леваллуа, случалось, что муж спал, как глыба, очень усталый после поездок с другими клиентами, но все-таки вставал посреди ночи, если ему звонил г-н Пруст. Однажды, возвратившись через несколько часов после такого вызова, он рассказывал, что ехал буквально как лунатик.

Но, кроме преданности, у него было много других качеств, которые покорили сердце г-на Пруста, да и мое тоже.

Во-первых чрезвычайная деликатность и не меньшая сдержанность. Хотя мы были мужем и женой, он никогда не распространялся о г-не Прусте. Говорил только, что возил его

туда-то и ждал столько-то часов и еще, быть может, о погоде. Но не больше. А ведь г-н Пруст сам рассказывал мне о своих поездках, и поэтому Одилон молчал со мной, конечно, не по его желанию.

К тому же мой муж был щепетильно честный и чистосердечный. Однажды я рассердилась, когда он потребовал навестить его родных, а мне совсем не хотелось никуда выходить (тем более я еще и не любила бывать среди торговцев). На мои жалобы г-н Пруст ответил так:

— Послушайте, Селеста, здесь не о чем даже говорить, а вернее, все это только к чести Одилона. Главное, помните одно: он превосходный человек и замечательный муж. У него есть такое качество, которое я ценю выше всего, — он никогда не солгал мне и, уверен, вам тоже.

А в другой раз, когда я опять пожаловалась ему, повторил:

— Но, милая Селеста, вы сами не понимаете своего счастья, вам достался лучший из мужей.

— Вы так думаете, сударь?

— Так ли я думаю? Даже более того, иногда даже удивляюсь, как он может переносить вас.

Я была уязвлена:

— Сударь, значит, вы слишком снисходительны ко мне! Но я очень хотела бы знать, а что же все-таки ему приходится переносить, ведь все делается, как он хочет!

— На что же тогда жаловаться? Значит, вы его действительно любите.

Он объяснил мне, как Одилон в одиночку пробивал себе дорогу в жизни. Оставшись четырнадцати лет от роду без родителей, он начал с мытья посуды в парижском бистро, но не выдержал, узнав, что его там кормят объедками. Потом, как и один из его братьев, был кучером фиакра, но, благодаря своей сообразительности понял, какую революцию принесет с собой автомобиль. Очень быстро он получил шоферскую лицензию с блестящей аттестацией и стал работать на такси то в Монако или Кабуре, то в самом Париже, в зависимости от сезона. Он служил в компании «Таксиметр Юн и к», созданной Ротшильдом под управлением Жака Бизе, однокашника г-на Пруста по лицею Кондорсе. Мать Жака Бизе, овдовев, вышла за г-на Строса, дальнего родственника Ротшильдов. Именно в Кабуре он и познакомился с г-ном Прустом.

Как рассказывал мне сам г-н Пруст, Жак Бизе рекомендовал ему трех или четырех шоферов, и хотя в Кабуре он чаще ездил с Агостинелли, но благодаря своей проницательности почти сразу приметил Одилона. Как-то г-н Пруст спросил у него, что он

делает после возвращения с юга и Нормандского побережья.

— Работаю шофером в Париже.

— А не согласитесь ли вы подвозить и меня?

— С удовольствием.

Одилон дал ему телефон своей сестры, на углу улиц Фейдо и Монмартр. Так оно и началось, а вскоре их отношения стали по-настоящему доверительными и прервались только на время войны, но и то после мобилизации Одилона г-н Пруст взял себе в шоферы его старшего брата Эдмона, который был немного глуховат.

В том, что связано с Одилоном, г-на Пруста более всего трогали обстоятельства смерти его матери, когда он еще ходил в школу. Однажды вместе с ней он возвращался домой, и у него на куртке была оторвана пуговица; она сказала ему: «Положи ее в кухне, я потом пришью, сейчас у меня что-то побаливает сердце». Утром он взял куртку с пришитой пуговицей, но в доме была какая-то необычная тишина. Он подумал, что матери надо выспаться, и стал собираться в школу, стараясь не шуметь. Потом ему пришло в голову, что она будет беспокоиться, если он уйдет, так и не сказав ни слова. Но она была уже остывшая на постели... Г-н Пруст всегда очень волновался, рассказывая об этом; он каждый раз вспоминал и о своей матери.

Когда кончилась война и Одилон нашел меня на бульваре Османн, то, не задумываясь, согласился поселиться там. Мы никогда не говорили о том, сколько мы здесь пробудем, и он уже не вспоминал о своем желании завести собственное дело. Теперь ему хотелось только сменить машину, да и то скорее из-за тщеславия ради г-на Пруста.

Стоит упомянуть, что в первые годы шоферам, как и кучерам, приходилось сидеть снаружи при любой погоде — под дождем, на солнцепеке и морозе. Со временем, когда машины сделались более комфортабельными, муж стал немного стесняться своего старого «Рено». Наконец, он сказал г-ну Прусту о своем намерении приобрести новую машину, более подходящую для того, чтобы останавливаться у отеля «Риц» или роскошных особняков.

— Нет, нет, Одилон, — ответил ему г-н Пруст. — Зачем это вам менять свою старую машину? Мне очень нравится ваше такси, оно такое удобное, и я уже давно привык к нему. Мне вовсе не нужно обращать на себя внимание.

Муж и не настаивал — он слишком любил г-на Пруста, чтобы огорчать его. И только уже в самом конце, когда старый «Рено» сделался такой древностью, что в нем-то г-н Пруст и привлекал внимание, Одилон решил все-таки приобрести как неожиданный

сюрприз новую машину и заранее ничего не говорил даже мне. Но г-н Пруст не дожил до этого, а муж так и не попользовался своим новым прекрасным автомобилем. Мы еще не съехали с квартиры г-на Пруста, когда муж продал его с убытком для себя. Помню, что заплатил не то двадцать две, не то двадцать четыре тысячи, а уступил всего за восемнадцать, даже не задумываясь:

— Теперь, после него, — сказал он, — дело кончено. Ведь только он помогал мне терпеть других клиентов.

X
ВАША МАТЬ УМЕРЛА

Именно эти военные ночи с 1914-го до 1918-го помогли нашему сближению в те вечера, если только можно назвать вечерами время далеко за полночь.

Сначала г-н Пруст говорил немного, потому что я, как полагается, находилась на испытании; он же, по свойственной ему наблюдательности, хотел разузнать про человека буквально все.

Именно тогда он стал меня расспрашивать обо мне самой и нашем семействе, но больше всего это касалось детских лет:

— Ведь именно тогда все закладывается, и рай, и ад.

Как-то раз, рассказывая ему свои истории, я спросила:

— Сударь, я никак не пойму, зачем вам все это. Ведь очень скучно слушать о моем детстве и о нашей деревне.

— Совсем нет, Селеста, и признаюсь вам: я хочу написать о вас целую книгу. Но не вздумайте только возгордиться.

— Да чем же мне гордиться, сударь? Вы, что, смеетесь надо мной?

— Нет, нисколько; и здесь нет ничего обидного. Ведь если я пишу книгу, из нее можно многое узнать. И то, что присуще вам, это ведь не только ваше. А самое главное — откуда оно берется? У вас прекрасная душа, но кому вы ею обязаны? Отцу, матери, бабушке или еще дальше? Вот это мне и хотелось бы знать.

Он буквально завораживал меня своей манерой слушать, подперев рукой щеку, и этими глазами, то мягкими, то блестящими, но всегда полными внимания, как будто уже записывал то, что говорилось. И я говорила, говорила...

Прежде всего он хотел буквально вытянуть из меня все черты характера и образа жизни. Я должна была ему рассказывать все четыреста случаев из моего детства: как я лазала по деревьям (каким именно?); как зимой, вместо того чтобы идти завтракать, мы катались по льду в своих деревянных галошах, чуть ли не ломая себе руки и ноги; про мои три передника (вместо одного у сестры), которыми я ухитрялась везде зацепляться. Он приходил в восторг:

— Селеста, вам надо было родиться мальчишкой!

Я рассказывала ему о временах года, цветах и фруктах, о нашем большом доме, Ледяном и продувавшемся со всех сторон, так что в холода матушка согревала постели грелками; а

школа совсем не отапливалась, и она клала нам с собой по утрам горячие уголья в ножную грелку.

Его очень интересовали все четверо моих братьев, сообразительных и наделенных каждый своими особенными способностями. Старший учился у иезуитов в Родезе и каждый год получал почетную награду. Он умел делать все что угодно, но не любил сельскую жизнь и уехал — это была настоящая катастрофа для отца, хотя он всегда приезжал на отпуск помогать в работах. Он умер двадцати семи лет из-за несчастного случая на велосипеде. Второй брат был полной противоположностью — ни за какие блага он не согласился бы жить в городе. Когда я вышла за Одилона, он сказал: «Ну и поезжай в этот Париж! Будешь есть там гнилое мясо и вонючих кур. У нас по крайней мере все здоровое». Он доходил до того, что сам молол себе муку и пек свой хлеб, считая, что продававшаяся мука испорчена примесями, которые вредны для его желудка. Правда, после перенесенной скарлатины у него было слабое здоровье. Но это он возмещал своей изобретательностью. Придумал, например, такую молотилку, где вместо быков работала сила воды, и очень ею гордился: «Другие просят помощи, а потом им нужно тратиться на угощение. Зато мне никто не нужен». У него был плохой сон, и, ворочаясь по ночам, он придумывал всякие приспособления для хозяйства.

Г-н Пруст заочно полюбил его. Брат еще до моего замужества женился на племяннице архиепископа Турского, монсеньера Нэгра, и когда я рассказала об этом г-ну Прусту, он так восхитился и чуть ли не возгордился этим, как если бы его внучатая племянница вышла за сына Франсуа Мориака. Не помню уже, не то на другой день, не то по прошествии некоторого времени, он прочел мне стихотворение, в котором поддразнивал меня по этому поводу:

Grande, fine, belle, un peu maigre,
Tantot lasse, tantot allegre,
Charmant les princes et les pegre,
Lancant a Marcel un mot aigre.
Rendant le miel pour le vinaigre,
Spirituelle, agile, integre,
C'est la presque niece de Negre.

Он был страшно доволен и смеялся, как ребенок. Потом спросил меня:

— А что вы скажете, Селеста? Неплохо, а? Мне нравится, возьмите его.

Я тоже посмеялась, такой у него был непривычный вид:

— Ах, сударь, ну вы меня и изобразили!

— Да, «красива», «чарующая принцев», «остроумная»! Мы вставим все это в мою книгу.

Он даже потер руки от удовольствия — и сдержал слово: написал в книге.

Интересовала его и история самого младшего моего брата — может быть, по причине некоторого сходства. Именно в связи с этим он впервые стал упоминать о своем детстве. Мой младший брат был очень чувствителен и даже нежен. Мы очень любили друг друга. Когда я делала глупости, он говорил матушке: «Если ты будешь ругать Селесту, я заплачу». Он умер в девять лет от ревматизма суставов. Отец любил его больше других и так никогда и не утешился, как и мать, потерявшая уже седьмого ребенка после пожара, который уничтожил все наши владения. Беременная, она пыталась затушить загоревшийся сарай с соломой, но, когда поднималась с ведром воды, на ней вспыхнула юбка. Через неделю родился ребенок, вскоре умерший. Отец тоже чуть не погиб в пламени внутри нашего дома, спасая документы; его вытащил через окно, почти задохнувшегося, мой старший брат.

Несмотря на рассказы об этой трагедии, я позабавила г-на Пруста тем, что потерявший все отец был вынужден позаимствовать у соседа шляпу, чтобы идти к мессе; но шляпа оказалась слишком мала для него.

Однако больше всего он расспрашивал про мою мать:

— Я вижу, что ваш отец был добрым человеком, но даже у самых лучших мужчин всегда остается некий налет грубоватости. Мужчина не может быть воплощением добра, как, судя по всему, ваша матушка.

И правда, моя мать была бесконечно справедлива, мудра и терпелива. Глубокая вера помогала ей со смирением переносить все беды. В ее семье было четверо детей: три дочери и сын, все они умерли, кроме нее. Мать говорила ей: «Дочь моя, дай тебе Господь не увидеть уход твоих детей». И вот двое моих братьев тоже ушли, не считая не выжившего младенца. Но от этого ее доброта и сострадание к другим только возрастали. Наше семейство все-таки пережило все несчастья и оправилось. В школе нам с сестрой Мари говорили: «Там, на вашей мельнице, все есть, не как у нас». И на самом деле, были такие семьи с четырьмя или пятью детьми, которые прямо-таки голодали и в своих жалких домишках жили без света и тепла. Часто мать отправляла меня с корзиной сыра и хлеба, сказав: «Если тебя спросят по дороге, ничего не говори. Твое дело прийти, отдать и вернуться домой».

Это происходило всегда в сумерки, чтобы никто не увидел унизительной для людей милостыни. Так же она продавала и кур, которых мы держали чуть ли не целую сотню. Отец жаловался: «Не понимаю, ты отдаешь за восемнадцать су, а они везде стоят два с половиной или три франка!»

У нас было много фруктов, мать звала женщин собирать их, потом сажала за общий стол, где бывало по двенадцать, а то и по пятнадцать человек. Вечером эти женщины шли домой с полными корзинами.

Она была абсолютно не способна на какую-либо нечестность или ложь и говорила нам: «Если кто-нибудь сделал дурно или оступился, то, признавшись, уже может считать себя прощенным».

Посмотрев на наши фотографии, г-н Пруст находил, что по внешности я очень на нее похожа. И добавлял:

— Но и нрав у вас такой же, то же простодушие, которое, несомненно, идет от нее. Я вижу, и со мной, и с вашим мужем вы не умеете притворяться.

— Сударь, потому что вы для меня как мать.

Этим я хотела сказать: то же внимание, та же теплота и доброта.

К одиннадцати годам я уже вполне развилась — совсем выросла, но была очень анемична, и матушка боялась, как бы у меня не началась чахотка.

— Ах, дорогая Селеста, она, должно быть, так волновалась за вас! Как и моя матушка за меня...

Я рассказывала ему, что в четырнадцать-пятнадцать лет совсем переменилась, и тогда пропали мои мальчишеские замашки. Мне не хотелось никуда ходить, а когда моя старшая сестра Мари шла на прогулку, я оставалась дома вязать и заниматься делами. И даже замужем, в Париже, мне больше всего хотелось быть у себя. Он смотрел на меня со своей теплой обволакивающей улыбкой:

К счастью, ваш характер не переменился. Как и ваша матушка, вы созданы для преданности, и даже не ощущаете этого. Иначе вас бы здесь и не было.

В довершение всех несчастий моей матери в сентябре 1913 года умер отец. Он уже четыре года был парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи. Если кто-нибудь из нас брал его за руку, он требовал: «Пусть придет мать». Они очень любили друг друга. Когда он умер, я была уже замужем, но сразу же приехала. Видя, как устала матушка, я предложила ей:

— Мама, когда вы придете в себя, вам надо приехать на несколько дней в Париж, отдохнуть.

— Нет, доченька, с отцом умерла половина меня, а другая

должна оставаться здесь. Я никогда не поеду в Париж. Главное, увидимся ли мы теперь?

Г-н Пруст со слезами на глазах слушал мой рассказ о том, как я простилась с ней. От нашего огороженного имения брат отвез меня на лошадях к станции за пять километров. Матушка смотрела мне вслед, пока я совсем не скрылась из вида.

А в один прекрасный день 1915 года вдруг стучат в дверь черного хода на бульваре Османн. Я открываю и вижу одну из сестер мужа, которая говорит мне:

— Селеста, пришла телеграмма от твоего брата. Тебе нужно поехать туда, твоя мать очень больна.

— Как же это так? Я еще два дня назад получила письмо от Мари, где она пишет, что матушка чувствует себя очень хорошо.

Но она настаивала, и я пошла к г-ну Прусту.

Он сказал:

— Откуда же она узнала?

— Из телеграммы.

— А вы видели эту телеграмму?

— Нет.

— Принесите ее. Сама я даже боялась читать телеграмму. Как сейчас, помню г-на Пруста, бледного, с голубым листком на одеяле.

— Бедная Селеста, ваша мать умерла. Здесь написано: «Осторожно предупредите Селесту, подробности письмом»,

Он тихо заплакал вместе со мной. Потом велел сразу же ехать:

— Дорогая Селеста, я понимаю вашу боль, ведь у меня это уже было. Но вы должны повидаться с матерью, даже умершей. Хотя это очень тяжело.

— Сударь, но я не хочу оставлять вас совсем одного.

— Ничего, все как-нибудь устроится, не думайте об этом и поезжайте.

И он поцеловал меня.

Но мы все-таки сделали так, что одна из сестер мужа приходила к нему вовремя моего отсутствия.

Шла война, и средства передвижения были затруднены; в ожидании поезда мне пришлось ночевать в Сен-Флуре. Я выехала торопясь, даже не переоделась для дороги. Мои городские туфли увязали в снегу. А в Оксилаке брат и сестра решили, что я не приеду, и матушку уже похоронили (она скоропостижно умерла от кровоизлияния). Я так и не увидела ее, как хотел г-н Пруст.

Мое отсутствие продолжалось не более трех дней, несмотря на все те же трудности обратного пути. Когда я рассказала г-ну Прусту, как все было, он снова прослезился и, взяв меня за руку,

сказал:

— Я все время думал о вас.

Кроме того, именно тогда пропал без вести старший брат Одилона Жан; г-н Пруст попросил своего друга Рейнальдо Ана разузнать о нем через своих знакомы в Генеральном Штабе. Перед моим отъездом в Оксилак он сказал:

— Не беспокойтесь о брате мужа, Селеста. Если у меня будут известия, я пришлю телеграмму.

И он действительно телеграфировал, что пока еще нет никаких новостей.

За время моего краткого отсутствия сестра мужа Леонтина делала все, что могла. Но мне-то было понятно, насколько этого недостаточно. Как сказал г-н Пруст, время тянулось для него бесконечно долго, а Леонтина еще и не удержалась от того, чтобы не поговорить с кем-то в доме, а потом обо всем доложить ему, чего он совершенно не терпел. Он уже слишком привык ко мне, чтобы его устроил кто-то другой.

Я почти уверена, за мое отсутствие г-н Пруст практически не вставал. Он сказал мне, скорее шутя, чем в виде упрека:

— Ваша Леонтина путалась в квартире и даже не умела застелить мою постель.

Очевидно, даже мое недолгое отсутствие доставило ему немалые неудобства, тем более что за все эти годы я болела всего один раз. Кажется, это было в 1917-м, когда свирепствовал испанский грипп, унесший столько жизней. Помню, меня лихорадило, я вся плавала в поту и еле держалась на ногах, а когда вошла в его комнату, он, никогда ничего не упускавший, спросил:

— Что случилось, Селеста? Вам плохо? И, кажется, есть какой-то запах?

— Нет, сударь, нет, уверяю вас. У меня все хорошо.

Но вечером г-жа Шевалье, кухарка с первого этажа и единственная моя приятельница, посоветовала мне поберечься. У нее самой уже был испанский грипп. В этот вечер г-н Пруст уходил из дома. Я все приготовила, как ни в чем не бывало. Потом, разложив всю кучу бумаг и газет у него на столе, после его возвращения легла, приняв аспирин и приготовив на стуле сменную рубашку. Через несколько часов я проснулась в луже пота, дрожа от озноба. У меня не было сил даже для того, чтобы поднять руку. Я едва смогла переменить на себе рубашку и снова заснула. К полудню я, как обычно, встала, чтобы заниматься делами и в четыре часа подала ему кофе. Ноги у меня были ватные, но я ничего не сказала г-ну Прусту. Он тоже промолчал, хотя, быть может, и заметил мое состояние, что было с его

стороны еще одним свидетельством теплого ко мне отношения.

Ведь он не раз говорил мне:

— Селеста, вам не следует видеться с такой-то. Боюсь, вы подхватите от нее микробов, а это для нас с вами очень плохо.

Однако самым неприятным была усталость. Пока г-н Пруст спал или отдыхал в постели, я бегала по хозяйству. Но как только он просыпался, тут все и начиналось. Именно поэтому сестра Мари и стала помогать мне.

Она была на три года старше, мы до сих пор живем вместе и обожаем друг друга — может быть, потому, что такие разные: у меня есть энергия для дел, но потом я валюсь с ног; она же, наоборот, всегда отступает перед трудностями. Сразу после смерти матери она слегла и не хотела вставать. Приехав в Оксилак, я нашла ее в постели, желтую, как лимон. Она только и повторяла: «Я не могу жить без нее». Потом мы постоянно переписывались. Я настаивала на том, что ей нужно встряхнуться и приехать в Париж, переменить жизнь, а не чахнуть в деревне. Но в первый свой приезд она не решилась остаться.

В конце концов я сказала г-ну Прусту, что не могу одновременно бежать налево и направо и быть сразу во всех местах. Я заверяла его в не меньшей, чем у меня обязательном характере моей сестры. Он согласился, и Мари приехала, теперь уже насовсем. Поскольку г-н Пруст не предложил для нее комнату бонны, находившуюся наверху, я из гордости не стала просить его и поселила Мари у сестры мужа на улице Лаффит. Она являлась к завтраку и уходила вечером.

Сначала — кажется, в начале октября 1918-го, незадолго до перемирия, — г-н Пруст несколько опасался ее. Надо сказать, что если я чувствовала себя с ним совершенно свободно, то сестра всегда была очень скованной. В самое первое время он как-то сказал мне:

Вот видите, мне приходится все делать по вашему желанию, вы захотели привезти сестру, и теперь она здесь.

Потом он увидел, насколько Мари все понимает, и что она полюбила его не меньше, чем я. Однажды, когда меня не было дома, он рассказал ей о своем отце, профессоре Адриене Прусте, и, вернувшись, я застала его очень довольным:

— Селеста, я говорил вашей сестре о своем отце, и знаете, что она мне сказала?.. «Такие жизни, как у вашего отца, это *ниспосланные* жизни». Как прекрасно! Теперь это будет в моей книге.

Он так и сделал.

Но все-таки г-н Пруст не очень-то общался с Мари. Если меня не было в доме, он звал ее и говорил:

— Что, Селеста еще не вернулась? Когда она придет, пришлите ее ко мне.

Мари ходила за покупками и очень помогала убираться, когда его не было дома. Но обычно он имел с ней дело в моем присутствии.

В его книге есть знаменитая сцена, где мы обе около него, когда он пьет свой кофе, и это будто бы происходит в Кабуре. Там изображены те дни, когда, просыпаясь, он был весел, как птичка, то ли потому, что потрудился ночью или, быть может, его не мучила астма.

В этой сцене я говорю у него: *«Ахты, черный чертенок, смоляные волосы! Ах ты, хитрая бестия! И о чем только думала твоя мать, зачиная тебя, ведь ты просто птица, да и только. Посмотри, Мари, как он выглаживает свои перышки и какая верткая у него шея...»* И правда, мне приходилось говорить ему нечто подобное, сравнивая его со встряхивающейся от сна птицей.

И еще слова, которые я говорю на той же странице: *«Бедный растрепушка!»* Именно так однажды я назвала его, и он спросил, откуда взялось такое слово.

— От моей матери. Когда я была маленькая, она подзывала меня: «Иди сюда, моя растрепушка, я тебя причешу». А у вас, сударь, вполне подходящая прическа.

Ему это очень понравилось, и он сказал:

— Давайте тогда говорить, как мы в молодости с моим приятелем Рейнальдо

Аном. Он звал меня «Бюнч», а я его — «Бюнибюль». Вы будете «Плуплу», я — «Миссу».

И потом он иногда действительно говорил мне:

— Ну, как дела, Плуплу?

Но я так и не осмеливалась назвать его «Миссу». И совсем уже не помню, чтобы когда-нибудь, как Селеста из книги, я сказала: *«Такого глупого и неловкого я еще не видывала!»* Хотя в шутливой пикировке все могло быть, ведь говорю я все в том же романе: *«Ах вы, мот этакий!»* Да и на самом деле мне случалось замечать ему:

— Повезло же вам, сударь, родиться богатым, а то как бы вы зарабатывали на жизнь без этого наследства?

Он напускал на себя вид провинившегося ребенка, который оправдывается:

— Ну какой же я богатый, Селеста?

— Сударь, вы можете все делать по своему желанию.

Однажды он сказал:

— Нет, Селеста, я не богач. И к счастью, ведь для богатого человека...

Он не кончил, но по выражению его глаз я поняла, что он

думает о тех обязанностях, с которыми связано в его представлении богатство, — ведь все-таки он был человеком долга.

Возвращаясь к страницам его книги, стоит еще сказать, что г-н Пруст, наверно, видел в нас некую природную свежесть по сравнению с тем миром, где ему приходилось бывать. И в большей степени у меня, чем у Мари, которую подчас шокировали мои вольности с ним. *Я* даже убеждена, он нарочно доводил разговор чуть ли до непристойностей, чтобы сконфузить мою сестру. Это развлекало его. Такие выходки он называл «кувырканьем».

Несомненно, он чувствовал себя с нами совершенно свободно. И когда после войны Одилон тоже поселился на бульваре Османн, мне кажется, г-н Пруст был вполне доволен — его маленький круг, наконец, замкнулся.

XI
ОН РАССКАЗЫВАЛ МНЕ О ЗВАНЫХ ВЕЧЕРАХ

В каком-то смысле оба мы были сиротами: у него родители умерли, друзья разбросаны — я вдали от семьи, муж на войне, а потом и мой отец с матерью тоже умерли. И между нами возникла своего рода близость, но для него она связывалась с работой, а я видела вокруг себя лишь некое зачарованное пространство.

Наши долгие бдения, превращавшие ночь в день, редко начинались раньше двух или трех часов, и только после его возвращения из гостей или когда он заканчивал работу, если был дома. И чем дальше, тем продолжительнее они становились. Сначала он отпускал меня часов в пять-шесть утра, может быть, в семь; потом у него появилась привычка звать меня еще раз, и доходило уже до восьми и девяти часов. Но меня это не беспокоило — я сразу же бежала по звонку, с распущенными волосами, улыбающаяся и готовая слушать его, если даже он прерывал мой первый сон. Он говорил мне:

— А, вот и Джоконда!.. Дорогая Селеста, вы так и не отдохнули, но раз уж пришли, я хочу попросить вас кое о чем.

«Кое о чем» означало, например, телефонный звонок к тому, кого он захотел вдруг повидать или пригласить на прогулку. И часто он добавлял:

— А что вы скажете? Ведь я могу делать только то, что позволяет мне здоровье. Стоит выходить сегодня вечером?

— Ах, сударь, вам самому виднее лучше всего.

Он внимательно смотрел на меня, потом решался, наконец, и я спускалась к телефону, или же он отменял свое решение. Но почти всегда после такого разговора я некоторое время оставалась у него, и мы разговаривали еще чуть ли не целый час.

В этих беседах проявлялась не только его потребность в общении. Ему нужен был повод для воспоминаний; он как бы сортировал свои мысли. Я уверена, г-н Пруст проверял на мне то, что написал, да и рассказывая, он воодушевлялся, я подталкивала его на остроты и сама тоже шутила, а он любил, когда я возвращала ему поданный мяч.

Для выхода из дома тоже был свой распорядок — во всяком случае, в мою бытность. Он никогда не уходил два вечера подряд, но зато неизменно приносил пищу по меньшей мере для одной-

двух наших ночей, а иногда возвращался к уже рассказанному и через несколько дней, если ему приходили по этому поводу какие-то новые мысли. Случалось, он просто сиял от удовольствия:

— Селеста, помните, что я рассказывал вам вчера о госпоже такой-то? Будто бы она любовница г-на Х.? Так вот, сегодня я убедился в этом.

И объяснял. Или:

— Знаете, Селеста, я обдумал это дело, и теперь мне кажется, оно вот в чем...

И он рассуждал дальше, чтобы услышать мое мнение. Тогда я совсем ни о чем не задумывалась и только после его смерти поняла все эти уловки, да и то лишь благодаря тому, что хорошо знавший его писатель Жак де Лакретель уже потом несколько раз повторял мне: «Помните, Селеста, как ему всегда нужно было ваше мнение?» Это же говорили мне и другие. Впоследствии я немало думала и все-таки уверена, что ему было интересно не столько мое мнение, как мои эмоциональный отклик. Мне вообще свойственна насмешливость, но я простодушно раскрывала перед ним свою душу и сердце — именно это и было ему нужно.

Помню, как-то раз он читал мне стихи не то Поля Валери, не то Сен-Жон Перса, и, когда кончил, я сказала: Сударь, разве это стихи? Это какие-то загадки.

Он стал смеяться, как сумасшедший. А потом говорил мне, что всем рассказывал о моем ответе.

Когда он собирался выходить из дома, его перчатки и платки уже лежали на комоде в прихожей на маленьком серебряном подносе. Тут же были приготовлены шуба или пальто, трость и соответствующая одежде шляпа — шапокляк, котелок или просто фетровая. Я помогала ему с шубой и подавала шляпу. Надо было видеть, как он надевал ее, брал перчатки и трость с завораживающей элегантностью и мягкостью движений. Я отворяла дверь и вызывала лифт. Уже на площадке он обычно с улыбкой оборачивался ко мне и говорил:

— До свидания, Селеста. Спасибо. Я что-то устал, будем надеяться, это пройдет. Не знаю, задержусь ли допоздна. Не забудьте позвонить кому я сказал, и привести в порядок мои бумажки.

Как только г-н Пруст уходил, я набрасывалась на его комнату. Он никогда ничего не клал на место и не подбирал, и надо было очистить постель от газет, бумаг, ручек, платков, разбросанных или валявшихся на полу... Я убирала комнату, проветривала, складывала рубашки на стул — может быть, он возвратится замерзшим или просто захочет переодеться. Часы

летели быстро.

Все сделав, оставалось ждать его возвращения. Поскольку в любом случае оно было очень поздним, никто из жильцов дома уже не мог приходить, и я лишь прислушивалась к тишине вокруг. Как только раздавался шум лифта, я выбегала на площадку и успевала открыть ему дверь. У него никогда не было с собой ключа, он об этом просто не думал.

Г-н Пруст возвращался, всегда улыбаясь, и, войдя в квартиру, прежде всего с той же элегантностью снимал шляпу. Но еще когда он выходил из лифта, я всегда замечала, доволен ли он проведенным вечером, только по одному тому, как надета шляпа. При хорошем настроении она была слегка приподнята спереди и под ней ярко блестели глаза. В противном случае шляпа надвигалась на лоб, а улыбка выдавала усталость. Он знал, что я все замечаю, и у нас установился некий ритуал. Еще на площадке он спрашивал:

— Ну, и как оно?

— Ну, так вы уже дома, сударь. В прихожей, сняв шляпу и шубу, он ждал, если вечер не удался, моего вопроса:

— Сударь, вы недовольны?

— Ах, дорогая Селеста, зачем я только поехал! Меня занудили там до смерти!.. И это когда так не хватает времени для работы!

Самое удивительное, как бы ни был плох вечер, он держал свое недовольство при себе. Но если вечер удавался — это было великолепно, просто какой-то фейерверк. Он весь светился изнутри неподдельным удовольствием.

— У меня все готово, Селеста?

— Да, сударь.

— Прекрасно, пошли, мне надо многое вам рассказать. Мы направлялись в его комнату, он садился на постель — и начиналось.

И сегодня мне вспоминаются те долгие часы, когда, как полицейский на посту,

я выстаивала перед ним, даже не ощущая усталости. Мы были слишком заняты. А то, что он никогда не предложил мне сесть, — я уверена, просто ему это и в голову не приходило, так же как и мне самой, хотя стул для посетителей стоял в двух шагах от меня. Но и он тоже забывал об усталости. Приподнявшийся на постели, он походил на юного принца, возвратившегося с праздника жизни. Это было тем более невероятно, если вспомнить, что еще днем, выплывая из своего дымного облака, болезненно бледный и скованный, он едва мог говорить и только жестами просил не нарушать молчания.

Но теперь из него фонтаном била молодость. Он выкладывал мне все — увиденные глупость или остроумие: как смешон такой-то, или как прекрасно держалась весь вечер такая-то, и с каким вкусом она была одета. Когда он описывал чье-нибудь платье, я представляла себе все подробности, словно глядя на модную картинку.

Уже после его смерти ко мне пришла г-жа Ланвен, ставшая княгиней Полиньяк; я сказала, что знаю ее по описанию одного из ее платьев, которое восхитило г-на Пруста. Тогда она была еще замужем за внуком Клемансо, как он объяснил мне, и заметил при этом:

— Глядя на сизые отвороты ее платья, я размечтался о Венеции.

И по моему описанию она сразу же вспомнила этот свой наряд.

Каждый раз, видя, как он начинает вспоминать впечатления проведенного вечера, я говорила:

— Что ж, сударь, кажется, сегодня вы займетесь подробным разбором!

— Может быть, Селеста, может быть...

И только посмеивался. Некоторые считали его недоброжелательным к людям.

Но я думаю, он прежде всего был моралистом. Во всем, будь то добро или зло, он старался найти неприкрытую истину.

Вспоминаю, как, рассказывая о другом платье с восхитительными тканью и покроем — из серебряной парчи, — он возмущался ответом этой дамы на комплимент.

— Представляете, Селеста, что она сказала мне? «Это остатки последних денег Франции!» А знаете, кто она? Жена министра финансов! В конце концов, я решил, что при такой низменной душе даже самое прекрасное платье делается без вкусным и самого дурного тона, как и эти ее слова.

Больше всего он старался проникнуть в глубины душ; и если видел внутри черноту, не раздумывая, срывал притворную маску. Его ирония или насмешка всегда были совершенно естественны, особенно когда человек притворялся тем, чем не был на самом деле.

Один его старый знакомый, Константен Юльманн, иногда появлялся в свете в смокинге с иголочки; про него говорили, что г-н Пруст хочет предложить ему место своего секретаря. Но однажды в разговоре о нем он спросил мое мнение.

— Ах, сударь, очень уж он бледен, да еще так нехорош собой. Г-н Пруст вздохнул.

— Но он-то считает себя красавцем!

И, немного помолчав, сказал:

— Да, Селеста, должно быть, у него бывают неприятные минуты перед зеркалом, если вспомнить его вызывающий вид. Вот из-за этого люди часто так злы. Они не прощают другим своей некрасивости.

Но, похоже, ему было жаль беднягу, потому что он не любил видеть несчастных людей.

Однажды он послал меня с запиской к герцогине де Клермон-Тоннер, и, возвратившись, я рассказала ему, что застала эту даму в большой компании женщин. Улыбнувшись, он объяснил, что любит герцогиню за ее ум, тонкость, деликатность.

— Но вы не знаете одного, Селеста: у бедняжки совсем нет причин сохнуть по мужчинам. Ее муж был просто зверь и устроил для нее настоящий ад. Он не спускал ей даже самой малости. И при всем этом всегда видишь ее прекрасной и великолепной, подобно счастливейшей из женщин. Я так и вижу ее в гостиной держащей перед огнем Руку, с которой по прозрачности во всем мире могла сравниться лишь вторая ее рука.

Но это не мешало ему смеяться над ее отцом, старым герцогом Ажено де Грамоном.

— На деньги своей второй жены, урожденной Ротшильд — только представьте себе все эти богатства! — он построил огромный замок Вальер возле Санлиса. Потом Ротшильдша умерла, и он женился на итальянской принцессе. Хотите верьте, хотите нет, но эта женитьба излечила его от страсти к графине де Греффюль, потому что у принцессы в загородном доме было сорок пять слуг. До чего только не доходит людское тщеславие!

Он не простил и графу Пьеру де Полиньяку его женитьбы на герцогине де Валентинуа, незаконной дочери князя Людовика Монакского, который в конце концов официально признал ее. Г-н Пруст оскорбился тем, что граф променял свой титул на титул жены и стал герцогом де Валентинуа.

— Жениться на прачке ради того, чтобы отказаться от имени Полиньяк! Ведь всем известно, что в Монако ее мать полоскала белье. Граф Пьер для меня больше не существует.

И он не только уже никогда не увиделся с ним, но даже отказал ему в просьбе о дарственной надписи на своей книжке.

— Нет, нет. У меня рука не поднимается написать это имя. Если посыльный еще здесь, отдайте книгу. Или возвратите потом почтой.

С такими вещами г-н Пруст не шутил. Однажды ночью он возвратился особенно довольный собой из-за, как сам объяснил, одного доброго дела. Ему удалось уговорить некоего женатого человека (он не сказал, кого именно) разорвать недостойную

связь. Показывая запечатанный конверт, он сказал:

— Вот его письмо, написанное под его диктовку. Для большей верности я настоял, что сам займусь отправкой. А вы, Селеста, сегодня же отнесете его и отдадите в собственные руки.

Я доставила письмо и, как мне было велено, дождалась, пока эта дама прочтет его. Она заплакала прямо у меня на глазах. Когда я рассказала об этом г-ну Прусту, он ответил:

— Я знаю, Селеста, но так нужно.

Не любил он и экстравагантностей. Однажды, возвратившись от «Ларю», он рассказывал мне:

— Представьте себе, там был и Жан Кокто со всей этой компанией. Как только я вошел, он стал вдруг прыгать, а потом бегал по столикам с криками: «Это Марсель! Это Марсель!» Ему хотелось непременно сесть рядом со мной и, конечно же, наплести всяких небылиц. Мне нравятся его остроумие и чудачества, но слишком уж он со своим враньем выворачивается наизнанку, лишь бы показаться интересным. Я уже давно не чувствовал себя так неловко после всех его выходок.

И каждый раз все это почти в точности повторялось, когда г-н Пруст возвращался с вечера, где был Кокто, — два или три раза он даже позволил ему отвести себя к «Быку на крыше», модное тогда артистическое кабаре.

— Хоть это и фешенебельное мясо, — говорил он, — но оно не стоит телятины нашей Фелиции. Там я совсем не на своем месте.

Помню еще его слова после вечера у княгини Мюрат, вышедшей за посла в Италии, графа Шанбрена.

— Это одна из самых умных и тонких женщин, и отнюдь не потому, что она хвалит мои книги. Но ее первый муж был русским, и она почему-то считает необходимым во всем подражать славянам, от душевных переживаний и до высоких ботинок на шнуровке.

Была еще и г-жа Шейкевич, с ней он очень любил разговаривать о русской литературе, особенно о Достоевском, которого только что стал читать. Это было в Кабуре, еще в первые годы века. Он говорил:

Вот странная женщина. Прожигает свою жизнь ради Удовольствия устраивать приемы, на которые у нее совсем нет денег. И что за необычная судьба! Когда-то ее мужем был сын художника Каролюса-Дюрана. От этого брака она чуть не покончила с собой, но сначала пошла за советом к нашей общей близкой приятельнице госпоже Арман де Кэллаве, которая была последней утехой Анатоля Франса и притом страшно ревнивой. Как раз перед тем она тоже хотела свести счеты с жизнью, потому

что во время путешествия по Америке Анатоль Франс изменял ей с какой-то балеринкой. Она была настолько подозрительна, что Франса выслеживал ее дворецкий, который приносил ей чуть ли не письменные отчеты. Обезумев от ревности, она выстрелила в себя, но револьвер осекся. Так что сами понимаете... Бедная Мари Шейкевич просила у нее совета, каким образом лучше всего промахнуться!..

Рассказывал он мне и еще об одном вечере с ней в ресторане на улице Дону:

— У нее на шее была белая лиса, и она весь вечер гладила мое лицо ее хвостом, приговаривая: «Ах, Марсель, как я вас люблю!»

Он смеялся, потом вдруг погрустнел:

— Это просто ужасно, Селеста! Бедняжка сделалась совершенной развалиной. И тем хуже для нее, что прежде она считала себя красавицей с идеальной фигурой. Например, она могла во всеуслышание сказать: «У меня все натуральное. Видите мои зубы? Они мои собственные!»

В другой раз он пригласил ее вместе с другими знакомыми в «Риц».

— Представляете, Селеста? Она вдруг распустила волосы, да еще уселась на пол, чтобы всем было удобнее ею любоваться! Я просто не знал, что мне делать.

Но подобные ситуации, в сущности, забавляли его, он всегда хоть что-нибудь извлекал из них для себя. Когда я сказала ему о госпоже Шейкевич: «Сударь, да ведь она просто артистка», — он возразил:

— Вы так думаете, Селеста? А мне кажется, наоборот, она персонаж пьесы.

При этом глаза его блеснули, как и в ту ночь, когда он возвратился от графа Этьена де Бомона, к которому его приглашали на гипнотизера. Всех собравшихся подвергали его опытам, включая самого графа, который заснул; потом стали подталкивать и г-на Пруста. Но тут отказался сам гипнотизер, и г-н Пруст очень этим гордился, как и случаем с тем бродягой во время бомбежки:

— Он сразу почувствовал: со мной это не пройдет, не то что с графом или всеми другими. Понимаете, Селеста, я очень люблю г-на де Бомона, и как человек он меня интересует и забавляет. Но он из тех людей, которые даже свой небольшой ум заимствуют от окружающих. Поэтому гипнотизеру было нетрудно вложить в него кое-что свое.

Но больше всего г-н Пруст бывал доволен и многословен, если встречал такого человека, у которого преобладали приятные

качества. Кроме того, мне кажется, он всегда различал тех, кого любил и наблюдал для своей книги, и тех, кого любил за то, какими они были в жизни. В этом отношении г-н Пруст больше всех других восхищался аббатом Мюнье.

Аббат Мюнье был священником церкви Св. Клотильды в аристократическом квартале Сен-Жермен. Но у него возникли неприятности из-за отношений с одним расстриженным священником, которому он хотел помочь, и его сместили на должность капеллана при монахинях Св. Франциска Сальского. Г-н Пруст познакомился с ним на обеде у своей приятельницы княгини Сузо, о которой у меня еще будет случай упомянуть. И он сразу влюбился в ум и манеру держать себя этого человека.

— Он некрасив, даже безобразен со всеми этими бородавками на лице. Но когда я вижу его среди светских людей в жалкой потертой сутане — ведь он беден, подобно настоящему святому: как он крутит свою седую прядь, глядя на вас по-детски голубыми глазами — надо быть самим дьяволом, чтобы не полюбить этого человека.

А какая беседа!..

Каждый раз после их встречи г-н Пруст возвращался переполненным его словечками. При первом знакомстве, чтобы немножко поддразнить аббата, он спросил, читал ли тот «Цветы зла» Бодлера.

— Никогда не угадаете, что он мне ответил, Селеста. «Но, дорогой мой, я вообще с ним не расстаюсь. Без запаха серы разве ощутишь аромат добродетели?» А после обеда, когда мы вместе спускались по лестнице, он сказал: «Дорогой друг, будь на то моя воля, наша беседа никогда не прекращалась бы; но я должен возвращаться, меня ждут мои мистические курочки».

Г-н Пруст так восхитился этим выражением, что повторил еще раз:

— «Мои мистические курочки»! Селеста, разве можно сказать лучше этого?

В другой раз дело было на страстную пятницу, когда подавали мясо или рыбу по желанию гостей, и аббат Мюнье выбрал для себя мясо.

— Вдруг его соседка наклонилась к нему и сказала: «А я думала, г-н аббат, что вы не едите мяса, особенно в страстную пятницу». Он оттолкнул тарелку со словами: «Ах, Боже мой, что это? У меня и в мыслях не было, сударыня».

Скорее всего, г-н Пруст не вставил этот диалог в свою книгу только из уважения к аббату. Сколько раз он повторял мне:

— Я хотел бы познакомить вас с ним, Селеста. Когда-нибудь я приглашу его.

А однажды, как сейчас помню, он сказал:

— Конечно же, вы познакомитесь с ним, дорогая Селеста. Обещайте мне, когда я умру, позвать его читать молитвы. Вот увидите, он непременно придет, я нисколечко не сомневаюсь.

Я хотела исполнить это желание, и по моему настоянию профессор Робер Пруст телеграммой вызвал его, чтобы сделать все по воле брата. Увы! Он лежал в постели с воспалением носа, которое причиняло ему ужасные страдания. Зато на ежегодных поминальных мессах у Св. Петра в Шайо всегда служил только он.

Вспоминая эти ночи, я и сейчас вижу г-на Пруста, сидящего на краешке постели в приглушенном свете лампы, и то как он рассказывает мне, передразнивая кого-нибудь своим то довольным, то печальным голосом. И это был самый прекрасный для меня театр, тем более что и сам он не только получал истинное удовольствие, но еще и словно хотел удержать время за волосы, чтобы оно не похитило персонажей его книги.

Из них большинство так и осталось для меня неизвестными. Но те, кого мне случилось увидеть или узнать даже после его смерти, сразу казались мне уже знакомыми, как это бывает сегодня с людьми из телевизора, от ежедневных встреч с которыми на экране уже кажется, будто и знаешь их совсем близко.

Еще не видя Жана Кокто — потом он приходил к нам несколько раз во время войны, — я хорошо представляла его по рассказам г-на Пруста и даже как-то в разговоре сама сказала: «Да это же настоящий полишинель!» — хотя сразу же и прикусила язык. Это вырвалось у меня совсем непроизвольно, оттого, что я вспомнила, как он скакал по столикам у «Ларю».

— Когда меня уже не будет здесь, Селеста, увидите, чего для вас больше всего недостает... маленького Марселя, который все это рассказывал вам.

В другой раз он говорил, как мне должно быть грустно проводить с ним столько времени по ночам:

— Все-таки я должен стараться веселить вас.

Но мне это было совсем не нужно. Я нисколько не тяготилась ночной жизнью.

Когда он приходил домой, для меня словно занимался радостный светлый день.

Случалось, что он говорил вдруг:

Боже мой, как я устал, Селеста, и сколько всего наговорил! Странно, что мне так нравится болтать с вами, хотя это очень утомительно!

— Хорошо, сударь, я ухожу.

— Нет, нет, простите меня, дорогая Селеста, ведь вы

задержались только по моему желанию.

Но бывали моменты, когда, не переставая говорить, он вдруг оказывался где-то далеко, я видела по его глазам. Это была очень странная способность, подобно дару исчезновения, хотя губы и продолжали произносить слова. Столь же внезапно взгляд возвращался, и он смотрел, словно удивляясь вашему неожиданному появлению, и смолкал на мгновение, как бы стараясь понять, в чем дело:

— Ах, да, мы говорили...

Рассказ продолжался на прерванном месте, но оставалась какая-то неуверенность, словно одна половина его существа продолжала говорить, а другая куда-то отлетала, и после возвращения нужно было несколько мгновений, чтобы они вновь соединились.

Для кого бы он ни играл в этот театр, я воспринимала его, совершенно ни о чем не задумываясь. Зато он вполне осознавал, что дает мне.

Однажды ночью — дело было в конце войны, и я находилась при нем уже три или четыре года — он сказал:

— Дорогая Селеста, я все думаю, что же вы ждете и не начинаете писать дневник?

Я рассмеялась.

— Вы все шутите со мной, сударь!

— Да нет, совершенно серьезно. Ведь никто по-настоящему и не знает меня, кроме вас, тем более — всего, что я вам говорю. После моей смерти у вашего дневника будет куда больший успех, чем у моих книг. Он пойдет, как горячие пирожки, и вы заработаете кучу денег. Больше того — я даже могу сделать к нему примечания.

— Ну вот, сударь! Вы постоянно жалуетесь, что вам не хватает времени для работы, а теперь еще хотите и моим дневником заняться! Это все ваши шуточки!

Вздохнув, он ответил:

— Совсем не так, Селеста, и вы еще пожалеете. Вам и не представить, сколько людей будет приходить и присылать письма, когда я умру, а вы тогда не захотите отвечать им.

К сожалению, все так и случилось. После его смерти ко мне стали ходить целые толпы. Я продолжаю получать письма, но не отвечаю на них. И больше всего жалею, что не вела дневник: ведь если бы он сделал к нему примечания, у меня было бы еще одно, кроме моей памяти, оружие против вольной или невольной лжи о его книгах и о нем самом.

XII
ЛЮБОВЬ К МАТЕРИ

Восемь лет, день за днем без единого перерыва, — это значительно больше, чем тысяча и одна ночь. И когда в безмолвии старости я вспоминаю всех персонажей, прошедших в его рассказах, стоит мне только закрыть глаза, как у меня кружится голова.

Иногда его описания шли по частям. Он приставлял их одно к другому наподобие кроссворда, хотя ему случалось показывать мне и широкую картину общества. Но всегда чувствовалось, что по-настоящему его интересуют только глубинные отношения между людьми.

Думаю, это было у него от семьи — я имею в виду не только наследственность, но и пример всего домашнего круга в детстве и юности.

Он много рассказывал мне о своих родителях, каждый раз подчеркивая гармонию и близость связей, которые смогла разорвать только смерть.

Помню, как-то ночью разговор вновь зашел об этом, и он вдруг умолк на минуту, потом прочел стихотворение из «Ночей» Мюссе — их он часто вспоминал при мне, и я в конце концов тоже полюбила этого поэта. Потом вспомнил один тогдашний романс, который напел ему Одилон, а он записал слова. Кажется, романс назывался «Время лилий». После упоминания о том, что в этом мире все люди «оплакивают своих друзей и свою любовь», там говорится: «но все-таки мне снятся неразлучные пары».

Это привело меня в восторг, и я воскликнула:

— Сударь, как это прекрасно, пожалуйста, прочтите еще раз!

Ему так понравилась моя увлеченность, что, повторив слова, он отдал мне листок, на котором они были записаны — и до сих пор он сохранился у меня. Потом с блеском в глазах сказал:

— Если подумать, как это верно! Жизнь берет свое, на смену любви приходят всякие дела и хлопоты. И все-таки есть браки, в которых не прерывается ни уважение, ни потребность быть вместе, ни то великое чувство понимания друг друга. И, что бы ни случилось, такие связи нерасторжимы, запомните это, дорогая Селеста.

Глубину понимания, мягкость и доброту, но вместе с тем стальную волю то ужасающее упорство в работе, — все это г-н Пруст, несомненно, унаследовал от тех различных характеров,

которыми обладали его отец и мать.

Он говорил мне:

— В нашей семье все были великими тружениками. Отец просто не знал усталости. Он шел от конкурса к конкурсу, и всегда был недоволен своей научной работой, стремясь достичь во всем еще лучшего. На всех экзаменах он занимал первые места или, в крайнем случае, вторые и третьи. Он был отважен и предан своему делу. Ведь отец родился в Босе, а на работе все босероны настоящие звери. Кроме того, нельзя забывать, что сначала он хотел стать священником, это говорит о многом. Ведь священник и врач оба служат делам милосердия.

И с нежной улыбкой г-н Пруст добавил:

— Во всяком случае, в нем изначально было то, чтобы стать тем, кем он стал — человеком выдающимся.

Профессор Адриен Пруст достиг самой вершины — поста Генерального инспектора всех санитарных служб Франции и заморских территорий. И когда г-н Пруст говорил мне, что его отец написал немало выдающихся работ по своей специальности, глаза его блестели от гордости.

— Вы, конечно, не знаете, Селеста, но ведь именно он одолел холеру в Марселе, когда там гибли сотни людей. Отец не только собственными руками осматривал больных и сам при этом заразился, но еще и установил, что возбудителя холеры переносили корабельные крысы. Он даже вызвал дипломатический конфликт с англичанами, заставив их суда отстаиваться в карантине. Это наносило такой вред коммерции, что они от злости готовы были повесить его.

Упоминал он и о другом примере отваги отца.

— Ему приходилось совершать длительные инспекционные поездки в такие места, где был непереносимый климат. Особенно он вспоминал Красное море, где так страдал от жары и морской болезни, что один раз даже умолял выбросить его за борт. Эти поездки настолько беспокоили матушку, что она все-таки настояла на том, чтобы он брал ее с собой. Я это хорошо помню. Она вся была переполнена рассказами о поездках на верблюдах. Но, несмотря ни на что, отец никогда не променял бы возложенную им на себя миссию даже ради всех благ мира. К тому же он еще и не знал, что такое отдых.

Часто г-н Пруст говорил мне:

— Ах, Селеста, если бы я был уверен, что сделал своими книгами столько же, сколько папа для несчастных больных!

Совсем другой была его мать. Обладая таким же преданным характером, она проявляла его совсем по-иному. Как говорил г-н Пруст, величайшее согласие между его родителями во многом

основывалось на том, что всеми делами занималась мать, старавшаяся избавить мужа от всего, что не касалось его работы. И в то же время тонкости и дипломатии у нее хватало на них обоих. Если она чувствовала, что профессору Адриену Прусту нужна поддержка, то, не колеблясь, сопровождала его на лекцию в «Отель Дьё». При этом у нее еще был и талант устраивать приемы.

— Она всегда твердо знала, что нужно делать, и была чем-то вроде дипломатического агента в карьере папа.

Смеясь, он говорил:

— Представляете, Селеста, в моей молодости было время, когда мы регулярно, раз в неделю, бывали на завтраках в Елисейском дворце у президента Республики, и какого президента!.. Самого Феликса Фора. Матушка была издавна, лет уже десять или двенадцать, в приятельских отношениях с госпожой Фор, еще с тех пор, когда ее муж подвизался в качестве простого депутата. С их дочерьми, старшей Люси и младшей Антуанеттой, я играл на аллеях Елисейских Полей... Люси была уже почти девушка, а мы с Антуанеттой все еще несозревшие прыщички. Однако Антуанетта со своими серыми глазами вертела мною ничуть не хуже, чем нашими маленькими осликами, которые катали нас. И вот, когда муж г-жи Фор вознесся до Елисейского дворца, матушка почти каждый день прогуливалась по Булонскому лесу вместе с его женой. Их отношения из близких стали совсем доверительными. Г-жа Фор рассказывала матушке о всех своих немалочисленных бедах из-за подруг г-на президента, а это уже говорит о многом. Но они еще и обсуждали всякие планы. Например, чтобы женить меня на сероглазой Антуанетте. И вдруг все это рухнуло после отчаянных криков в апартаментах дворца прелестной г-жи Стейнхель, когда президент испустил дух в ее объятиях. Но я ничуть не жалею об этом.

Кроме того, г-жа Пруст была несравненной хозяйкой дома, что весьма немаловажно, поскольку на улице Малерб и на улице Курсель, куда семья переехала в 1900 году, приходилось содержать открытый дом, неизбежный при стольких светских связях.

— Она успевала следить за всем, от погреба до чердака. Все должно было блестеть и сверкать, находиться на своем месте и в полном порядке. Кроме того, она вела и все денежные дела.

Никола, когда еще служил на бульваре Османн, рассказывал мне про нее в связи с дотошностью самого «г-на Марселя». Проведя у Прустов много лет, он хорошо знал г-жу Пруст. По его рассказам, она была очень требовательна во всех мелочах

домашнего хозяйства. «Все должно было быть идеально», — говорил Никола. Мне запомнился один из рассказанных им случаев, который показывает и ее тонкость, и заботу обо всем. Она самолично следила за чистотой и вообще за всеми делами на кухне, особенно за тем, что готовилось на огне. Как-то раз кухарка Фелиция, хитро взглянув на Никола, сняла с крышки горячей кастрюли на плите тряпочку и сказала: «Придет мадам и, конечно, захочет посмотреть, что в кастрюле», иначе говоря, она хотела сказать, что хозяйка обожжется. Приходит г-жа Пруст и, едва взглянув, говорит ей: «Будьте добры, откройте эту кастрюлю». Никола и через много лет смеялся над Фелицией: «Она была вся красная, и не потому, что от плиты шел жар!»

Если и для мужа, и для нее самой все должно было быть совершенным, то для детей еще более того, особенно для ее Марсельчика, — из-за его болезни.

— Вы не представляете себе, Селеста, как она нас баловала и как заботилась .*Я* бы даже сказал, что она портила Детей. Не существовало таких вещей, которые были бы слишком хороши для Робера и для меня.

Однажды ночью он показал мне старую фотографию:

— Что вы скажете об этом ребенке, Селеста?

— Так это же настоящий маленький принц, сударь. Боже, какой хорошенький, да еще с этой тросточкой. Не будь он весь беленький, я бы сказала, что это вы и есть.

Он улыбнулся.

— Ребенком я был совсем светлым, только потом все почернело.

Но ему явно польстил «маленький принц». Он рассказывал, что мать была очень щепетильна в отношении одежды и они никогда не выходили из дома без предварительного осмотра.

— Она ни о чем не забывала. Зимой, отправляя нас на прогулку по Елисейским Полям, она всегда приказывала Фелиции сварить картофель в мундире. А знаете зачем? Чтобы положить в меховые муфты греть руки.

И еще он говорил:

— Я очень любил папа. Но когда умерла матушка, она взяла с собой и своего Марсельчика.

Только в одном отношении профессор Адриен Пруст и его жена сильно расходились — это касалось искусства и литературы. Профессор слишком много времени отдавал своей службе и науке, чтобы вникать еще во что-то другое. Зато г-жа Пруст обожала все искусства — она много читала и была очень музыкальна. Незаметно, исподволь она сообщала мужу о всех новинках, чтобы на светских вечерах он хотя бы понимал, о чем

идет речь. Случалось, даже читала ему вслух,

— ...Как и мне, когда я болел, — вспоминал г-н Пруст и продолжал с нежной улыбкой:

— Бедный папа! Бывали дни, когда это уж совсем его никак не интересовало.

Г-жа Пруст, несомненно, унаследовала свои увлечения от матери, которая тоже была незаурядной личностью. В разговоре они обе, например, на память перекидывались цитатами из мадам де Севинье.

Бабушку г-н Пруст тоже обожал. Он вспоминал ее как в высшей степени умную и образованную женщину.

— Она очень походила на матушку, только говорила всегда так, словно читала по книге. Отношения у них были очень странные, и они все время с увлечением обсуждали только что прочитанные книги. Когда бабушка приходила к нам, а это случалось очень часто, они часами просиживали в гостиной за разговорами. Потом матушка провожала ее, и первая остановка у них была возле дверей для продолжения беседы. Затем, не переставая говорить, они спускались по лестнице. Внизу обе садились на скамеечку — случалось, и на полчаса. Внезапно бабушка вскрикивала: «Боже! Да сколько же это времени! Я поднимусь к тебе еще на минутку и сразу убегаю!» Обе возвращались, и все начиналось снова. Они никак не могли расстаться!

Его мать и бабушка были буквально созданы друг для друга, не говоря уже о приверженности обеих к мадам де Севинье, и когда г-жа Пруст хотела в чем-то упрекнуть своего Марсельчика, она цитировала ему назидания добрейшей маркизы своим шаловливым детям.

Вполне естественно, что бабушка г-на Пруста платила ему взаимным обожанием. Он чуть не плакал, когда говорил мне:

— Еще при ее жизни я иногда задумывался о том, что и она тоже исчезнет, и мне казалось совершенно невозможным перенести это. И что же? Было очень тяжело, но все- таки не так, как я думал.

Он улыбнулся такой очень грустной улыбкой, и я поняла: слезы у него были именно оттого, что хоть мы и не исцеляемся от самых тяжелых наших горестей, но все-таки продолжаем жить.

Такая же ясность взгляда, выражаемая с бесконечной Деликатностью, была у него во всем. Упоминая о потере Родителей, особенно матери, он нередко говорил мне такие вещи:

— Они меня вконец испортили своим наследством, благодаря которому я получил возможность наслаждаться жизнью и ни от кого не зависеть. Но никакая свобода не могла заменить

мне их самих. И все-таки, дорогая Селеста, все-таки... Не будучи свободным, я не мог бы делать свое дело. И только одному Богу известно, как матушка исхитрялась во всем ради моей независимости!

Это правда, г-жа Пруст непрестанно старалась делать его жизнь как можно удобнее. Она заботилась не только о его здоровье, но и о его мыслях. Когда он был еще юношей, она поощряла все его привычки к ночным уходам из дома и к ночной работе. На улице Курсель его жизнь была почти такой же, как потом на бульваре Османн, — получив полную свободу, он лишь довел ее до полного соответствия своим вкусам.

Г-жа Пруст строго запрещала прислуге заниматься какими-либо делами по дому, пока он спал или отдыхал. Да и сама она ни за что на свете никогда не решилась бы побеспокоить его. Только подумать, что из-за таких привычек г-на Пруста и расхождения во времени их существований мать и сын вынуждены были общаться в одной и той же квартире при помощи записок!

Притворяясь иногда, будто бранит сына, на самом деле она всегда исполняла любые его желания. Однажды ему взбрело на ум устроить дома большой званый обед, да еще сделать так, чтобы стол представлял собой оранжерею из электрических цветов, по одному перед каждым гостем.

— Но ведь тогда в домах еще не было электричества, Селеста. И представьте себе, матушка ухитрилась устроить целую систему с аккумуляторами и генератором во дворе дома. Если бы вы видели... Восхитительное зрелище!

Особой заботой матери были улаживания его отношений с профессором Адриеном Прустом — ведь, несмотря на всю любовь отца к сыну, между ними возникали серьезные трудности.

Когда г-н Пруст был еще ребенком, и у него только-только открылась астма, он злоупотреблял заботливостью окружающих и не желал спать, пока мать не придет поцеловать его в постели.

— Папа просто выходил из себя, но матушка не поддавалась ему. В таких случаях у нее была почти пугающая нежность.

Отец упрекал сына и за его траты, которые по большей части происходили от душевной щедрости. По этому поводу г-н Пруст рассказывал мне два случая, немало забавлявшие и его самого.

Однажды, еще в молодости, он отправился в фиакре вместе с родителями к брату г-жи Пруст на бульвар Малерб.

— По приезде на место, как воспитанный мальчик, я сошел первым и подал руку родителям, чтобы помочь им выйти из экипажа, а потом, поскольку у меня были деньги — мне

регулярно выдавали кругленькую сумму, — заплатил кучеру. Папа следил за моей рукой и спросил, сколько я дал ему на чай. «Пять франков». Как он рассердился!.. «Помяни мое слово, Марсель, с такими замашками ты умрешь на соломе!» Он часто повторял мне это. Бедный папа! Как уже потом говорила матушка, его очень заботило наследство для меня, чтобы осталось побольше денег на безбедную жизнь.

Г-жу Пруст также беспокоили траты сына, и она часто бранила его, но никогда не делала этого при отце. Даже цитировала мадам де Севинье из ее писем к дочери с упреками за слишком роскошную жизнь. Это началось, когда ему было не больше пяти или шести лет. Однажды их с братом отправили на полдник к одной родственнице, госпоже Натан.

Перед тем как отпустить нас, матушка сказала: «Вот вам по пять франков. Когда бонна Мари откроет дверь, сначала пожелайте ей счастливого года, а потом отдайте свои монетки».

По дороге на площади Мадлен я увидел чистильщика сапог, который от холода хлопал руками и стучал ногами.

Я подбежал к нему, и он вычистил мои и так уже сверкавшие ботинки, за что получил от меня эти пять франков. По возвращении матушка спросила: «Ну как, ты хорошо вел себя? Не забыл про пять франков для Мари?» Я рассказал ей о чистильщике, и она очень огорчилась: «Как это пришло тебе в голову?» — «Я увидел, что он ждет на холоде клиента, и подставил свои ботинки». В конце концов матушка расцеловала меня.

Но больше всего отца мучило будущее сына, и здесь г-жа Пруст также сыграла решающую роль. Профессор Адриен Пруст непременно требовал, чтобы он посвятил себя какой-то службе и этим обеспечил свое благополучие. В этом его поддерживали все родственники со стороны жены, особенно отец г-жи Пруст.

— Он волновался больше всех: «Из этого малыша у вас ничего не получится, вы слишком его испортили! Если не одумаетесь, это будет просто бездельник и ничего больше! Не имея в руках профессии, он пропадет!» Папа оборачивался к матушке и говорил: «Слышишь, сколько я тебе твержу, что его нельзя обрекать на светскую жизнь!» Однако матушка всегда пережидала натиск; я и сейчас слышу ее мягкий голос: «Терпение, милый доктор, терпение. Все устроится».

Кажется, лет в двадцать, чтобы угодить отцу, г-н Пруст поступил на службу в библиотеку Мазарини помощником библиотекаря и одновременно занимался еще и изучением права. Хоть ему и не платили жалованья, отец все равно остался доволен — самое главное, что сын теперь при деле.

— Правда, я все время был в отпуске, — смеясь, говорил мне г-н Пруст.

Нечего и говорить, продолжалось это совсем недолго. Он ушел из библиотеки и тогда же написал длинное письмо отцу, в котором объяснял, что это было лишь «потерянное время», так как он чувствует себя созданным только для литературы.

По словам г-на Пруста, между отцом и матерью произошло окончательное объяснение, после которого профессор Адриен Пруст заявил: «Хорошо, пусть будет так, я не буду заниматься им. Делай как хочешь».

— И мой милый папочка сдержал слово. Больше того, я знаю, что незадолго до смерти он говорил друзьям: «Вот увидите, Марсель еще будет в Академии!»

Уже много позднее я как-то спросила г-на Пруста, была ли уже у него в голове книга с ее названием, когда он писал отцу о «потерянном времени». Он улыбнулся, но ничего мне не ответил.

После этого понятно, каким ударом была для него потеря обоих родителей — самого профессора в 1903 году и матери через два года. Оба умирали тяжело, а отец — в жестоких страданиях.

Г-ну Прусту было тридцать два года, когда скончался профессор Адриен Пруст. Младший брат уже стал врачом и женился, его жена ждала тогда ребенка. Смерть профессора и рождение племянницы г-на Пруста почти совпали. У меня до сих пор звучит в ушах его рассказ.

Профессор читал лекции на факультете и однажды сказал госпоже Пруст: «Я пойду сегодня пораньше, чтобы зайти к Роберу: может быть, там есть какие-то новости». Он застал сына и невестку, собравшихся после завтрака на прогулку.

— Робер был так поражен усталым и очень плохим видом папа, что, отведя жену в сторону, сказал ей: «Марта, я беспокоюсь за отца. Сделай милость, зайди к своей матери и погуляй с ней. А я провожу его, ему совсем нехорошо». Придя на факультет вместе с Робером, папа начал читать лекцию, но уже через минуту по просил у студентов извинения за недолгую отлучку. Видя, что он не возвращается, Робер побежал искать его... Это было ужасно. Я даже не Могу говорить об этом. Пришлось взламывать дверь, он лежал на полу. Робер отвез его домой на улицу Курсель. Матушка рыдала: «Я должна была поехать с ним!» Но она сразу же взяла себя в руки и потом великолепно держалась. Робер позвонил жене: «Папа заболел, я отвез его домой и не могу оставить. Пожалуйста, побудь у своей матери, пока я не приеду за тобой».

Дальше было еще ужаснее, ночью жена брата родила маленькую Сюзи, но сама висела между жизнью и смертью из-за

родильной горячки. Естественно, от нее скрывали смерть папа: «Ему уже лучше, еще несколько дней, не волнуйся». Самое драматичное произошло в день похорон. У папа были торжественные похороны, и кортеж проезжал под окнами тещи моего брата на авеню де Мессин, где находилась тогда Марта. Теща очень хотела присутствовать на церемонии и солгала дочери: «Я немного пройдусь, а ты побудь пока с горничными, совсем недолго». Но похороны сопровождались таким обилием музыки, что Марта не могла не услышать ее, и спросила горничную: «Что это за музыка?» — «Не знаю, сударыня, может быть, идут войска». — «Да нет же, это похоронный марш. Наверное, умер кто-то очень важный?» — Не знаю, сударыня, я ничего не слышала» . От нее еще долго скрывали правду. Когда матушка приходила навестить ее, то брала с собой светлое платье, чтоб не показываться перед ней, выздоравливающей, в трауре.

О смерти матери г-н Пруст говорил не так охотно — рана была значительно глубже. Он рассказывал мне только, что после кончины отца все так же жил с ней на улице Курсель. Квартира была очень большая, и часть комнат они просто заперли. И, конечно, прекратились все приемы.

— После смерти папа матушка потеряла вкус к жизни, но никак не выдавала этого. Держалась она прекрасно.

Он рассказал мне еще и такую подробность: при прощании с профессором Адриеном Прустом г-жа Пруст вошла как раз в тот момент, когда какая-то незнакомая женщина ничуть не скрывая своего горя, положила умершему букет пармских фиалок.

— В некоторых случаях у матушки был неподражаемый дар не замечать то, чего она не хотела видеть. Помню, как у Робера еще в молодости произошел несчастный случай на мотоцикле, когда с ним была девушка. Матушка поспешила к его постели, а там уже сидела эта амазонка, но она не только не посмотрела в сторону молодой особы — она просто ее не видела, понимаете, Селеста? И, клянусь вам, в день похорон матушка тоже не видела ни эту женщину, ни этих фиалок.

После долгой болезни г-жу Пруст пришлось оперировать, но ничего не помогло, и она тихо угасала.

— Вы не представляете себе, какая это была замечательная женщина!.. Она скрывала в себе и болезнь, и свою боль от утраты.

Однако что за болезнь и какая операция — кое-кто упоминал об опухоли — он никогда ничего не говорил, и мне всегда казалось, что ему не понравились бы мои вопросы. По некоторым его намекам можно было заключить о смертельном приступе уремии.

Даже и через пятнадцать лет воспоминание об этой смерти слишком волновало г-на Пруста, чтобы затрагивать столь болезненную тему.

Рассказывали всякие истории, будто в годовщину ее ухода он задыхался от астмы и у него были видения черной женщины, похожей на его мать и являвшейся к нему в минуты раскаяния. Это все дурацкий вздор, как и сам он говорил мне о таких разговорах.

К тому же г-н Пруст вообще никогда не обращал внимания на годовщины. Он просто не вспоминал о них. Я ни Разу не видела, чтобы в какую-нибудь из таких дат он был как-то особенно печален или именно в эти дни рассказывал мне о своих родителях. По его словам, прежде он каждый год приносил камень к склепу предков с материнской стороны — они были евреями, и таков обычный ритуал их религии. Это делалось для соблюдения традиции и, как я сильно подозреваю, в угоду матери. По поводу цветов на могилу отцовских предков в день Всех Святых он говорил:

— Цветы — это знак дружбы и любви к живым; мертвым они не нужны. Но таков обычай, и я соблюдаю его; однако у меня нет благоговения к кладбищам, и не там я нахожу своих ушедших. Они всегда в моей памяти.

О матери г-н Пруст вспоминал всегда с просветленной улыбкой нежности:

— Матушка часто повторяла: «Что же будет с тобой, Марсельчик, когда я умру?» или: «Ах ты, мой бедный волчонок...» Знаете, какими были ее последние слова?.. «Бедное мое солнышко, как только ты будешь без меня? Но, главное, оставайся католиком».

Всю его боль я могла почувствовать только в те минуты, когда г-н Пруст просил достать из комода фотографию матери. Если он что-то и говорил, то лишь объяснял мне подробности ее туалета. Однажды попросил поставить фотографию на камин, чтобы видеть ее с постели. Так она простояла два или три дня. Потом он позвал меня.

— Дорогая Селеста, уберите мамино фото. Видите ли, когда привыкаешь, чувства притупляются.

Как-то ночью я сказала ему:

— Сударь, я так к вам привязана, что мне часто представляется, как на Страшном Суде все мы окажемся в долине Иосафата[4]. Для меня будет огромным счастьем вновь встретиться с вами! Вы верите во все это?

— Не знаю, Селеста, но мне хотелось бы. И если бы я был уверен в том, что встречу там матушку, то хотел бы умереть

прямо сейчас.

XIII
ВРЕМЯ КАМЕЛИИ

Только после того, как г-н Пруст стал говорить мне о мире своего детства и юности, я начала понимать, что по-настоящему он живет лишь в сновидениях своей памяти. От этих двух эпох у него сохранились нежные и ослепительные образы, но он не испытывал ни сожалений, ни тоски по прошедшему, потому что, вспоминая их, весь переносился в тот навсегда исчезнувший мир.

Если судить по словам самого г-на Пруста, уже тогда он был таким, как я узнала его — очень вдумчивым, очень сосредоточенным в самом себе, но при этом с величайшим желанием познавать внешней мир и быть им признанным, в чем ему немало помогал его врожденный шарм. Стремясь не столько привлечь к себе внимание или дружбу, сколько самому постичь людей и внутренне обогатиться от них, он, словно пчела, безошибочно садился только на хорошие цветы.

Все ему легко удавалось. Он рассказывал, что у него не было никаких затруднений в школе, кроме алгебры, из-за которой ему приходилось иногда просить помощи у младшего брата, Робера.

— Робер говорил мне: «Делай как я — работай, и тогда все поймешь». Но я не любил алгебру, мне это было неинтересно. Может быть, если заняться ею сегодня... И я никогда не преодолевал трудности. То и дело слышишь, как люди надувают щеки: «Я лиценциат, я доктор...» — как будто они проглотили целые Гималаи. О, мне все это просто смешно. И к экзаменам я никогда не готовился.

В нем ощущалось это наивное и как бы удивленное удовлетворение оттого, что ему не приходилось делать усилий.

Такая же легкость была у него и в отношениях с товарищами, за исключением только одного недостатка, доставлявшего ему страдания, — физической неполноценности, почти недуга из-за астмы. Но многие другие его качества заставляли забывать об этом.

Сам г-н Пруст говорил, что ему очень повезло с однокашниками по лицею Кондорсе:

— Все-таки у нас собралась весьма недурная компания, Селеста.

И он с гордостью перечислял имена людей не только известных, но даже знаменитостей: Леон Блюм, лидер социалистов, и его брат Рене Блюм, блестящий адвокат; писатели Анри Барбюс, Фернан Грег, Робер де Флер, Пьер де Лассаль; Леон

Бруншвиг, ставший впоследствии профессором философии; будущий министр Поль Беназе и будущий посол Морис Эрбетт, не говоря уже о Жаке Бизе, «сыне Кармен», как тогда говорили.

Все они каждый день собирались после классов, а по четвергам — для игр на Елисейских полях, среди кустов и осликов, катавших детей. Бывало, что к ним присоединялись и девочки, подобно барышням Фор вместе с г-ном Прустом

— Это были очень буржуазные игры, — рассказывал он. — Сегодня мы показались бы неповоротливыми и скованными.

Кроме того, в Ильере у отца было имение, куда г-н Пруст ездил на каникулы. В его книге оно названо Комбрэ. Чувствовалось, что от этого места у него остались воспоминания, как о безоблачном небе, истинном рае, где когда-то все и начиналось.

— Мне кажется, Селеста, именно тогда я научился наблюдать.

Он был похож на ослепшего человека, который любовно хранит и лелеет в своей памяти все когда-то виденное и может воспроизвести это лучше любого зрячего. Г-н Пруст описывал мне не только парк возле родового дома с ручьем и перекинутым через него красивым мостиком, но и все деревья, растения, даже тропинку среди боярышника, который на Пасху превращался в один сплошной цветник; а еще и сам городок с его крестьянами, церковью и всеми цветами и запахами.

— Ехали туда через Шартр по широкой долине, там, где собор[5] как бы обозначал центр циферблата без стрелок, совершенно бесполезных для пребывания в вечности.

Но больше всего он любил две вещи: ездить на прогулки в тильбюри[6] с братом отца и уединяться в маленьком павильоне среди парка, чтобы писать и читать там. Именно здесь начиналась его первая книга «Утехи и дни», которую он опубликовал почти через пятнадцать лет, в 1896 году, когда ему было уже двадцать пять лет.

Но профессор Пруст решил, что климат Ильера нехорош для астмы и нужна резкая смена воздуха (это было в двенадцать-тринадцать лет). С тех пор для каникул предназначались Дьепп и Кабур, вместе с той самой бабушкой, которая разговаривала, как по книге.

Однажды я спросила его, бывал ли он потом в Ильере.

— Нет, никогда.

— Но почему, сударь?

— Потому что потерянный рай можно обрести только в самом себе, Селеста.

Кажется, он впервые начал рассказывать мне о своей

молодости в связи с началом войны и как бы в шутку рассказывал про военную службу. Я тоже смеялась вместе с ним:

— Да как же они могли забрать вас? Разве вы сколько-нибудь похожи на вояку?

Меня никуда не забирали, Селеста. Я пошел сам, волонтером, еще до срока, поэтому должен был служить всего один год. Но потом депутаты приняли закон, отменявший волонтерство, и мне полагалось пробыть все три.

Он не скрывал, что пользовался протекцией родственников отца. Дело было в 1889 году, когда ему уже исполнилось восемнадцать лет. Его отправили в Орлеан, в пехоту.

— В общем, все прошло не так уж плохо. Должен сказать, что военная жизнь была у меня какая-то странная. Я на удивление хорошо себя чувствовал и неплохо переносил учения — правда, от самых тяжелых и утомительных получал освобождение, но зато занимался верховой ездой. Вопреки правилам, спал я не в казарме, а на частной квартире. Меня даже приглашали в гости к префекту. Помню, как-то раз я обедал у одного капитана, и он предложил мне переночевать в его доме. Но постель оказалась неприготовленной, мне только дали простыни и одеяла, и меня это сильно обескуражило — я никогда сам не расстилал постели и в конце концов заснул на голом матрасе.

После возвращения из полка мать аккуратно уложила его форму в коробку, и однажды г-н Пруст велел мне вынуть его мундир из шкафа, чтобы я полюбовалась им. Сшитый по мерке, он был просто великолепен.

— Сударь, в этой форме вы выглядели, наверно, как будто прямо из Сен-Сира[7]!

От моей похвалы он пришел в совершенный восторг.

Но еще задолго до военной службы у него началась та светская жизнь, которой был так недоволен профессор Пруст и которой он еще больше увлекался после армии. Это время г-н Пруст называл эпохой камелии в петлице.

Как он сам говорил, ему хотелось проникнуть в совсем иной мир, не только интеллектуальный, но в то же время элегантный и рафинированный. И не только из-за стремления очаровывать и завязывать дружеские связи, но также ради того, чтобы наблюдать людей.

— Круг моих родителей — это одно, там все было связано с положением отца, выдающегося и высокопоставленного врача имевшего богатых клиентов и таких же, как и он, преуспевающих знакомых. Мне хотелось узнать светских людей, сливки того, что принято называть предместьем Сен-Жермен.

В этом ему помогли приятели по лицею, среди которых были

аристократы и дети из семей крупной буржуазии. Несомненно, они-то и привили ему вкус к светской жизни.

— Самое главное — чтобы тебя представили, а потом знакомства уже растут, как снежный ком.

Еще совсем молодым он попал в салон Альфонса Доде, где сблизился с его женой и двумя сыновьями, Леоном и Люсьеном, которые просто обожали его, и потом их дружеские отношения уже не прекращались. Он считал г-жу Доде очень тонкой и образованной женщиной.

— Как и моя мать, она была вроде представительницы своего мужа, но, самое главное, великолепной сиделкой, поскольку он страдал болезнью спинного мозга. Сам Альфонс Доде ворчал себе в бороду: «Моя дорогая, наши сыновья уж слишком поддаются этому вашему маленькому Марселю, как и все другие». Но этим он не хотел сказать ничего плохого. Просто, по его мнению, Леон и Люсьен слишком уж мной восхищались, что, конечно, было для меня очень лестно. Рассказывали, будто он говорил про меня: «У этого чёртова Марселя всегда на все свое мнение».

Г-н Пруст очень гордился тем, что попал в светские салоны и добился там успеха совершенно самостоятельно.

— Даже матушка не смогла бы ввести меня в этот круг.

Он очень хорошо сознавал свою привлекательность и сам говорил, что благодаря глазам и нежной коже был похож на юного и галантного пажа Керубино, покорявшего сердца дам. Г-н Пруст и не скрывал, что был слегка влюблен сразу во всех женщин. И не только из-за своего возраста, Думаю, он удовлетворял этим свою потребность очаровывать.

Я слушала все это как легенды о какой-то феерии. Только впоследствии, когда г-н Пруст посвятил меня в скрытую жизнь своих персонажей, мне стало понятно, сколько он мог, будучи еще почти ребенком, а потом юношей, приобрести за все эти годы. Ведь у него было предчувствие того, что именно оттуда зародятся все его книги.

Сначала я не видела этой связи. Но потом он сам дал мне путеводную нить, и мы еще вернемся к этому. А тогда я только слушала.

Об этом времени он рассказывал мне то в своей комнате, то в малой гостиной. И там, и там у него хранились сувениры: в комнате — всяческие предметы и фотографии, в гостиной — книги.

Иногда, придя из гостей, он говорил:

— Пойдем в малую гостиную, Селеста. Совсем ненадолго, всего на несколько минуток.

Но, конечно, разговор затягивался на часы.

В гостиной стоял большой черный шкаф для книг, оставшийся еще от его родителей, куда он втискивал все дорогие ему книги, такие, как сочинения английского писателя Рёскина и мадам де Севинье, а также все те, которые подносили ему с дарственными надписями. На стене висел его портрет работы Жака Эмиля Бланша, написанный как раз в эпоху камелии в петлице — кстати, камелия была избрана потому, что это цветок без запаха, иначе он не смог бы его переносить.

Г-н Пруст испытывал какое-то странное влечение к этому портрету и часто во время разговора поглядывал на него, как в зеркало. Показывая мне его в первый раз, он спросил:

— Вам не кажется, что в нем есть что-то необычное?

— Не знаю, сударь, я вижу в нем только перламутровую кожу и эту осанку юного восточного принца.

— Вот именно. Помните, я представлял вам Марселя Пруста, непричесанного и без бороды? А этот опять непричесанный, но еще и без ног.

И он с улыбкой рассказал, что сначала был изображен во весь рост, потом Жак Эмиль Бланш одолжил у него портрет для выставки, а когда отдавал обратно, на нем уже не было ног:

— Ему, наверно, показалось, что так у меня более умный вид!

Когда мы приходили в малую гостиную, я уже не оставалась стоять, как это бывало у него в комнате. Он устраивался на стуле возле книжного шкафа, поближе к книгам, я садилась на другой стул, чуть поодаль. Г-н Пруст брал какой-нибудь том и читал мне из него, перелистывая все страницы до самого конца и останавливаясь на нужном месте. Я видела, что он хорошо знал содержание — прочтя мне, потом уже своими словами пересказывал дальнейшее. Во всяком случае, это всегда соответствовало его понятию о последовательности или желанию возвратиться к прошлому. А я служила лишь предлогом для чтения или разговора и еще способом проверить себя. Например, он вынул однажды книги Ренана, автора «Жизни Иисуса». Поглаживая переплеты, вздохнул и покачал головой:

— И все-таки, Селеста, когда думаешь... тогда я был почти ребенком... и с чего это я решил, взяв «Жизнь Иисуса», «Апостолов» и «Происхождение христианства», пойти к старому священнику, чтобы он надписал мне эти книги?

Он изобразил, как несет их, откинув назад голову и с глазами, полными огня. Потом раскрыл книги, чтобы показать мне надписи.

— Это его почерк, что о нем можно сказать, Селеста?

— Похоже на большие буквы, выведенные ребенком, сударь.

Совершенно верно, именно таким он и был. И встретил меня приветливо, радуясь моей молодости, этот старый бретонец в своей сутане!.. А знаете, почему он снял с себя сан? Потому что лишился веры в то, что должен был проповедовать, и стал задаваться вопросами: кто же такой Христос и существовал ли он вообще? Он поехал в Святую Землю вместе с сестрой, которая была предана ему, как мать, но она умерла там от какой-то местной болезни. Может быть, отчасти из-за этого после возвращения он стал говорить, что не верит во все увиденное. И про смерть говорил так: «Научи меня лучше понять ее, чтобы меньше страшиться». Это была его молитва. Как красиво, не правда ли? Я хотел бы написать так в какой-нибудь из своих книг. Наверно, из-за всего этого я и пошел к этому старому вольнодумцу.

Рассказывая о людях, г-н Пруст всегда описывал все окружающее их, а потом уже добавлял свои рассуждения.

Вспоминаю его портрет г-жи Лемер, хозяйки очень фешенебельного салона, которую он отчасти взял для г-жи Вердюрен в своей книге. Она жила на улице Монсё, в том же квартале, что и Прусты; к ней стремились все знатнейшие аристократические фамилии, потому что тогда было модно встречаться с художниками и артистами, которых она неизменно приглашала, да к тому же и сама хозяйка занималась живописью.

— Селеста, ее надо было видеть! Эта женщина соединяла в себе импозантность и очарование. Она писала розы с такой быстротой и в таком количестве, что граф Монтескье говорил о ней: «Только один Бог создал еще больше роз». Притом она всегда ходила в неглиже, едва причесанная.

К «маленькому Марселю» г-жа Лемер относилась почти по-матерински, как к брату своей дочери Сюзетты, очень красивой и милой, которой своим тиранством она все время портила жизнь. У нее был великолепный замок Ревейлон в департаменте Сены и Марны, куда тоже приезжали гости. Г-н Пруст провел там целых три месяца, одни из лучших в своей жизни, в обществе Рейнальдо Ана, Сюзетты и тех, кого приглашали на приемы.

Она очень любила командовать и, когда давала концерты у себя в мастерской среди пальм и цветов, чуть ли не вскакивала на стул, чтобы выкрикивать: «Тише!» Она не терпела при исполнении ни малейшего шума. Г-жа Лемер была женщина решительная. Помню, как-то раз, уже перед самым концом войны 1914 года, г-н Пруст попросил меня заехать за ней, чтобы проверить какие-то нужные ему подробности. Когда я возразила,

что уже слишком поздно, он ответил:

— Не беспокойтесь, Селеста, она сразу же приедет. Вы застанете ее, по обыкновению, в неглиже, но она так в нем и выскочит. И при всем том сами увидите, какая это знатная дама!..

Именно так все и получилось. Они с Сюзеттой сидели в полутьме перед камином, и, едва я сказала, в чем дело, она тут же была на ногах: «Сейчас же едем!» В порядок она приводила себя, сидя в машине.

Сначала он бывал, кроме салона Доде, еще на авеню Гош, у г-жи Арман де Кэллаве, этой ревнивой Эгерии[8] Анатоля Франса. У нее на приемах муж говорил так, чтобы все слышали: «Я не Анатоль Франс, а всего лишь хозяин дома!» Г-н Пруст не очень хорошо отзывался о Франсе и был к нему не столь снисходителен, как муж г-жи де Кэллаве.

— Это эгоист и зубоскал. Он столько читал, что оставил сердце в чужих книгах. Однажды я спросил его, как он ухитрился узнать про все и вся. «Очень просто, я не был красавчиком вроде вас, чтобы бывать в свете, а поэтому не пренебрегал занятиями и многому научился».

Однако, как мне кажется, наибольшее значение имела для него вдова Жоржа Бизе г-жа Строе. Он вывел ее как герцогиню Германт, впрочем, не только ее одну. Г-жа Лемер и г-жа Кэллаве попали туда, но уже в круг буржуазных героинь.

С госпожой Строе его связывали до самого конца жизни близкие дружеские отношения и даже большее — глубокое чувство нежности, хотя он из деликатности никогда ничего определенного не говорил мне об этом. Но я-то все видела, хотя бы потому, как часто он просил достать из комода ее портрет, где она была еще в трауре, до второго замужества. И подолгу смотрел на эту фотографию.

— Ах, Селеста, как она хороша под этой черной вуалью!

Она была много старше г-на Пруста, ее сын, Жак Бизе, учился вместе с ним в одном классе. Но он испытывал к ней безграничную преданность и восхищение; можно представить себе те чувства, которые обуревали его в томительные годы отрочества, и, конечно же, они сохранились и впоследствии. С какой грустью он говорил:

— Боже, как она изменилась!

По его словам, и у нее были к нему такие же глубокие чувства уважения и восхищения, хотя и с пониманием разности их лет.

Он бывал на ее обедах и приемах ради нее самой и собиравшегося общества писателей, художников, музыкантов и всяческих знаменитостей. Там можно было увидеть Поля Бурже, Шарля Гуно, Жюля Ренара, рисовальщика Форена и Дега, но в то

же время и графиню Греффюль, и графа Шевинье, которые вдохновили его на Германтов, а также Шарля Хааса, отчасти выведенного в Сване.

— Ах этот Шарль Хаас!.. Он был сыном биржевого маклера и единственным евреем, кроме Ротшильда, принятым в жокей-клуб за героическое поведение во время войны семидесятого года. Казалось, он тратит все, буквально все: деньги, время, свой ум — единственно ради того, чтобы покорять женщин. И, естественно, они сходили от него с ума. Какая блестящая репутация! Это был настоящий денди!

Кроме обедов и приемов, г-н Пруст часто бывал у г-жи Строе и запросто, чтобы провести вечер у камина. Обычно тут же сидел и ее муж, что-то мурлыкавший себе под нос. Он очень раздражался, когда жена упоминала о Жорже Бизе, которого она очень любила, тем более что эта любовь встретилась с немалыми препятствиями: ее отец сделал все, чтобы воспротивиться замужеству дочери. Еще больше раздражал мужа г-н Пруст, и по тону рассказа я понимала, что это было взаимно.

— Вы бы видели его, когда мы сидели у камина. Он выходил из себя, если жена называла меня «мой дорогой Марсельчик», а в письмах она всегда писала: «Мой милый, дорогой Марсельчик». Он просто не мог усидеть на стуле — вставал, ходил взад-вперед, потом снова садился, хватал щипцы и, поворошив уголья, с грохотом кидал их на пол. Г-жа Строе пыталась урезонить его: «Эмиль, прошу вас...» Он брюзжал: «Моя дорогая, вы слишком утомляетесь такими поздними разговорами». Тогда я делал вид, что хочу уйти: «Сударыня, простите меня, я злоупотребляю вашей добротой, но всему виной прелесть вашего общества. Я удаляюсь». Она живо возражала: «Прошу вас, милый Марсельчик, не обращайте внимания на Эмиля, не уходите!» И г-ну Стросу не оставалось ничего другого, как стучать каминными щипцами.

Если я не ошибаюсь, он стал значительно реже бывать у них после моего появления, но они часто обменивались длинными письмами. Некоторые из них приходилось носить и мне.

— Не упустите повидать ее, Селеста, если она сама выйдет, чтобы вы могли рассказать мне о ней.

В мою бытность она несколько раз заходила на бульвар Османн после визитов к американскому дантисту Вильямсу. Позвонив, спрашивала меня о г-не Прусте, но никогда не шла дальше дверей. У нее все еще сохранялась великолепная осанка, хотя лицо погрузнело и постарело и к тому же было испорчено тиком. Я почти уверена, что они перестали видеться лишь по той причине, о которой г-н Пруст упомянул в разговоре со мной:

«Боже, как она изменилась!»

К нему ревновал не только г-н Строе. Тот, кого тогда везде называли «маленьким Прустом» и даже «Марсельчиком», был великим поклонником графини Греффюль.

Однако между ним и графиней никогда не возникало такой близости, как с госпожой Строе. Все ограничивалось лишь светскими встречами и наслаждением для одних только глаз. Урожденная Караман-Шиме, она вышла за огромное состояние графа только ради того, чтобы поправить дела своего полуразорившегося семейства. В ее доме встречались сливки Жокей-клуба, предместья Сен-Жермен и дипломатического корпуса. Когда г-н Пруст говорил о ее приемах, всегда следовало перечисление князей и княгинь, герцогов и герцогинь. После войны 1914 года никто больше не устраивал таких праздников и приемов; конечно, их никогда уже и не будет — даже в то время все это уходило в прошлое, и теперь исчезло окончательно.

Он рассказывал о неслыханной роскоши, толпах слуг, цветах, картинах, люстрах, туалетах и драгоценностях; о загромождавших весь квартал каретах при съезде гостей.

— Просто невероятная роскошь, Селеста, да еще со всеми этими чудачествами!..

Он предавался мечтам о том времени, хотя многое и не одобрял в нем.

— Представьте себе, как-то раз на обед к госпоже Строе пожаловал некий г-н с обезьяной, наряженной во фрак и манишку. Кроме того, что я не люблю зверей, это было до крайности неприлично. А у г-жи Греффюль я видел на маскараде двух львят, запряженных в маленькие тележки. Их вели четверо из ее сорока пяти слуг и, конечно же, в парадных ливреях. Это тоже показалось мне несколько помпезным. И, хотя львята были ручными, на другой день они все-таки покусали консьержа.

Впрочем, нет никакого сомнения, что он очень увлекался госпожой Греффюль.

— Видите ли, Селеста, сегодня я могу признаться, она с первого же взгляда совершенно покорила меня. В ней была порода, походка, как она держала голову!.. А какая прическа!.. Неподражаемая женщина. И все это врожденное, никто не мог сравниться с нею. Даже не сосчитать, сколько раз я ходил в Оперу только ради того, чтобы посмотреть, как она поднимается по лестнице. Я буквально подстерегал ее. Видеть ее было для меня истинным счастьем.

Но он редко видел графиню, кроме приемов у нее или других встреч в большом свете, главным образом из-за ревности графа, который не стеснял себя в выражениях и открыто говорил, что

ему не нравится ни его общество, ни знакомство с ним самой графини.

Однако г-ну Прусту удалось взять реванш, весьма его позабавивший.

Случилось так, что граф увлекся графиней де ла Бородьер, которая, в свою очередь, была неравнодушна к г-ну Прусту; она всячески изощрялась ради того, чтобы вызвать его интерес. Правда, все это происходило много позднее, после моего появления на бульваре Османн. И, конечно, блюдо уже остыло.

Нужно было слышать, как, возвратившись с одного из вечеров, г-н Пруст с ироническим блеском в глазах говорил мне:

— Слушайте, что я вам расскажу. Мне удалось разгадать тайну графа Греффюля. Остается лишь удивляться — обладая такой королевой, как графиня, возможно ли бегать к какой-то госпоже де ла Бородьер, в которой нет ни тонкости, ни благородства, ни культуры, ни даже красоты. Но именно так оно и есть. Разве не смешно?

Зная г-на Пруста, я не сомневалась, что он не преминет воспользоваться сделанным открытием. И вот он вдруг воспылал влечением к госпоже де ла Бородьер. Если прежде он старался целыми годами держать ее на расстоянии, то теперь у него вдруг возникла потребность ближе познакомиться с ней. Он просил меня справиться по телефону, может ли она принять его, что и произошло. В один из вечеров он возвратился домой чрезвычайно довольным.

— Дорогая Селеста, идите скорее... Как вы знаете, я был у графини де ла Бородьер. И только представьте себе, кого я там встретил... графа Греффюля! Посмотрели бы вы, как он ерзал от злости на стуле, видя меня!..

Г-н Пруст несколько раз позволил себе такую роскошь. Это длилось два или три месяца. Он смеялся и беспрестанно вспоминал о любезности г-жи де ла Бородьер. Наконец, его мстительность насытилась, и все было кончено — больше он уже не ездил к ней.

Как ни странно, видя г-на Пруста почти затворником, я без труда представляла его во времена камелии — ведь он с таким удовольствием рассказывал мне о той эпохе. Например, вспоминал кружок, собиравшийся в ныне исчезнувшем кафе Вебер на улице Ройяль, где встречались все тогдашние денди. Но когда мне приходилось открывать дверь, я видела перед собой уже не тех блестящих и беззаботных Юношей, о которых он говорил, а какого-нибудь стареющего и седеющего герцога де Гиша. Ведь, кроме самого г-на Пруста, все они сильно постарели. Помню, он рассказывал о случившей у него дуэли с писателем

Жаном Лорреном из-за злой статьи о нем, и я невольно вскрикнула:

— Сударь, но это же просто невозможно! Я не могу даже представить вас с револьвером. И с чего это вам вздумалось стреляться?!

— Почему бы и нет?

— Да у вас даже и вид какой-то робкий и застенчивый!

— Но я не мог отступить, Селеста. Таков уж сам жанр подобных дел.

— Это что, как цветы в день Всех Святых?

Он рассмеялся, но я не унималась:

— Вы ведь не любите неприятностей — достаточно видеть вас даже прималейшем упоминании о них. А тут пистолет или шпага! И не говорите мне, что все это случилось на самом деле!

— Конечно, случилось.

— И ваша мать знала об этом?

— Да, знала.

— Несчастная!

— Вы правы, Селеста. Бедная матушка! Она не хотела этого, да и многие дамы тоже. Но он оскорбил меня, и я, сам без чьих-либо советов решился на дуэль. Этот Лоррен завидовал предисловию Анатоля Франса к моим «Утехам и дням». Он говорил, будто это лишь светская любезность салонному юнцу, который не в ладах с литературой. Мы обменялись выстрелами на рассвете в Медонском лесу. Впрочем, это было серьезным только по намерениям. Весь свет говорил, что я просто «сорвиголова»... но по неосторожности за несколько часов перед тем я написал в одном письме, что плакал, хотя и добавил: «...все-таки я не трус».

К этому времени, когда я узнала его, у г-на Пруста чувствовалась некоторая ностальгия по тем временам.

— Ах, Селеста, — говорил он мне иногда со вздохом, — все это как-то рассыпается в прах. Вроде коллекции вееров прошлого века, развешанных на стене. Ими восхищаются, но уже ничья рука не оживляет их. Под стеклом не бывает праздников.

Часто к концу разговора печаль заглушала в нем сладость воспоминаний. Например, когда он рассказывал мне один случай, происшедший с писателем Порто-Ришем, который часто бывал у г-жи Строе.

— Этот человек безумно увлекался галантными приключениями. Он до такой степени тщеславился своей любовной связью с одной молодой балериной, что делал педикюр, а потом оповещал всех знакомых: «Боже, как ей понравились сегодня мои ножки!» Кроме этой балерины, у него были еще и другие женщины, и г-жа Порто-Риш говорила: «Если

мне не досталась его молодость, по крайней мере он будет мой в старости». Тогда я смеялся, как и все. Но теперь... признаюсь, мне грустно, и я говорю себе: «Бедная женщина, она так никогда и не заполучила своего мужа, ни молодым, ни в старости...»

XIV
СЕМЬЯ

В сущности, если за все те десять последних лет моего с ним знакомства он не так и стремился возвратиться в большой свет, то лишь потому, что это был уже такой же потерянный рай, как и детские годы в Ильере, а обрести его вновь можно было лишь внутри самого себя.

То же самое можно сказать и об его отношении к семье. Вся нежность принадлежала прошлому, хотя в Ильере оставались еще кузены — кажется, трое, которые изредка присылали брату Роберу фрукты из сада у того самого дома, где он проводил когда-то каникулы. С этими кузенами г-н Пруст никогда не встречался, и мне даже случалось упрекать его:

— Как же так, сударь? Там вся родня вашего отца, и вы их всех любите. А если у вас в Ильере и была астма, так ведь не привезут же они ее сюда вместе с собой.

— Это невозможно, Селеста. Я болен, и жизнь у меня слишком сложная. Сами знаете, я никого не вижу.

— Ну, сударь, это уж вы преувеличиваете!

— Может быть, но почему именно они? Конечно, это очень милые люди, и Робер иногда видится с ними. Совсем недавно он говорил мне, что кто-то приезжал к нему пожелать доброго утра. Но у меня нет для этого ни сил, ни времени.

Я поняла, что эта тема совсем ему не по вкусу. И уже потом, мало-помалу, мне стало ясно, насколько две ветви семейства отделились друг от друга, хотя не было ни ссоры, ни разрыва, ни даже выяснения отношений. Просто они разошлись, чтобы избежать столкновений, а случившиеся смерти лишь увеличивали их отдаление. Хорошо помню, как однажды он говорил о полном взаимопонимании между его родителями.

— Папа обожал Ильер, и, конечно, матушка не могла лишить его этого удовольствия. Она ездила вместе с ним, потому что слишком любила отца, чтобы хоть самой малостью показать ему, как это для нее тягостно. А отец, в свою очередь, любил ее не меньше, чтобы не догадаться об этом. Именно тогда Ильер стал вдруг вреден для моей астмы, понимаете? Так решил папа, и мы никогда уже туда не возвращались.

Из других его откровенных замечаний я поняла, что между двумя семействами была очень большая разница, отчего и произошло их отдаление друг от друга.

На первый взгляд могло показаться, что все дело в разности

религий. Родители профессора, так же как и его сестра Элизабет — тетушка Леони в книге г-на Пруста, — были набожными католиками. Сам профессор Пруст, как я уже говорила, намеревался стать священником. Но г-жа Пруст, урожденная Вейль, происходила из еврейской семьи. Однако суть дела заключалась все-таки не в этом. Прусты не страдали нетерпимостью и отнюдь не возражали против этой женитьбы сына. Как и во многих подобных случаях, было договорено, что дети получат католическое воспитание. Г-н Пруст учился катехизису у аббата. Он часто не без удовольствия рассказывал мне об этом:

Матушка сама водила меня к нему и сидела на уроках. Иногда ей казалось, что аббат уж слишком настаивает на строгом исполнении заповедей, и она говорила: «Мне кажется, г-н аббат, и так уже достаточно; не забывайте, ведь он еще ребенок».

Г-н Пруст ходил к первому причастию и его брат тоже, говоря об этом, он сделал какой-то неопределенный жест. Вопреки своему обыкновению всегда упоминать о костюмах, в этом случае он ни словом не обмолвился, как был одет сам или его брат, собрались ли по этому поводу гости и пекла ли Фелиция что-нибудь особенно вкусное. Вообще, если не считать светских обязанностей, он не ходил в церковь, хотя Робер, напротив, был очень привержен к этому. Однажды г-н Пруст сказал с каким-то выражением удивления:

— Робер недавно говорит мне: «В прошлое воскресенье у Сен-Филипп-дю-Руль...» Представьте, он все так же исправно ходит к мессе. Странное дело, Селеста...

— Вы так думаете, сударь?

— Да уж и сам не знаю. Есть очень набожные и суеверные люди, которые способны на такое, чего вы никогда не сделаете. Самое главное, возвышенность души, совесть, доброжелательность и, наконец, прекраснейшая из добродетелей — милосердие!..

Отнюдь не религия разделяла оба семейства. Все объяснялось общественным положением. Родители г-на Пруста держали в Ильере бакалейную лавку. Они выжимали из себя последнюю каплю крови ради того, чтобы дать сыну образование; его мать была привязана к нему ничуть не меньше, чем впоследствии г-жа Пруст к своему сыну. Когда он получил стипендию в Шартре, она поехала вместе с ним, чтобы заботиться там о нем. Отец умер очень рано, не дожив до его успехов, как впоследствии и сам профессор Пруст, так и не увидевший известности сына. Когда он стал доктором, мать продала бакалейную лавку и удалилась на покой все в том же Ильере. Ее дочь Элизабет — «тетушка Леони»,

— чтобы тоже не уезжать из Ильера, вышла за богатого торговца местными винами, Жюля Амио. У него-то и проводило свои каникулы все семейство профессора Пруста. Жюль Амио был очень богат и владел многими землями в окрестностях Ильера. Но его состояние было ничтожно по сравнению с Вейлями, семейством г-жи Пруст. И потом Амио — это Ильер, провинция, а Вейли — Париж, и Париж богатый, который стал также и городом профессора Пруста со всеми связями, званными обедами, театрами и большим светом.

Короче говоря, ильерцам было как-то неуютно со своими парижскими родственниками. До такой степени, что, как говорил мне г-н Пруст, его бабка так и не приехала на свадьбу своего сына Адриена с девицей Жанной Вейль. И, насколько я поняла, это отнюдь не было знаком неодобрения — просто она чувствовала себя не на месте среди всего этого блестящего общества. Также и все Амио и все другие со стороны Прустов. Существование этих богатых провинциалов не имело ничего общего с повседневной жизнью профессора, подобно тому, как и их ильерский дом не шел ни в малейшее сравнение с роскошной квартирой на улице Малерб или на улице Курсель, ни тем более с виллой в Отейле, которая принадлежала дяде г-жи Пруст.

У г-жи Пруст чувство семьи было, несомненно, развито куда сильнее, чем у ее мужа. И совсем не потому, что профессору Прусту недоставало сыновней любви — напротив, когда его мать удалилась на покой, именно он нашел для нее две комнаты в Ильере рядом с церковью, чтобы ей не приходилось так далеко ходить к мессе. И он очень любил свою сестру Элизабет.

Ведь совсем не случайно г-н Пруст вывел ее в романе как тетушку Леони. Для него она была очень важна. Недаром «Поиски утраченного времени» начинаются с воспоминания о том, как она размачивала мадленки[9] в липовом отваре, и уже после этого начинают возникать сохранившиеся в памяти картины.

Когда он говорил мне о ней, сразу было видно, что это уже готовый персонаж для книги. По его рассказам, она очень рано вышла замуж, но, несмотря на рождение троих детей, он всегда видел ее только лежащей:

— ...Даже больше моего; она и шагу не делала по своей комнате.

Тетушка легла в постель много лет назад и уже не вставала. Все думали, будто это одно притворство, но, когда дело дошло до операции, выяснилось, что она ничуть не преувеличивала. Так она и умерла от самой настоящей болезни. Впрочем, г-н Пруст не любил рассказывать о семейных недугах. Может быть, причиной ее недомогания было неприятие ничтожной ильерской жизни, но

он никогда ничего не говорил об этом.

Поди теперь узнай, то ли ее пример, то ли наследственность, или, может быть, все вместе, но, несомненно, между племянником и теткой было большое сходство. Они очень любили друг друга, и, больше того, он даже признавался мне в своем влечении к ней:

— Она была очень красива, но с одним ужасным свойством... Какой-то тиранической потребностью следить за всем со своей постели. По воскресеньям, когда все собирались к мессе, надо было являться перед ней, и она смотрела, кто как одет. При ней всегда лежали четки и молитвенник, а в комнате стоял небольшой алтарь с образом Пречистой Девы. Она была до крайности набожна и весьма требовательна в этом отношении ко всем другим, как, впрочем, и во всем остальном. Жизнь ее полностью проходила только внутри комнаты, вплоть до визитов кюре. Надо было видеть ее недовольство, если он вдруг не приходил к назначенному часу, однако ее раздражали и его рассуждения. Она питалась только лекарствами и водой Виши, которую всегда держала у изголовья постели; в полдень она размачивала мадленки в липовом отваре, и я тоже допускался к этому священнодействию. Видели бы вы ее в постели...

Прямо-таки настоящая принцесса!

— А я, сударь, зато знаю одного принца, тоже правящего всем из своей постели!

Он смеялся и возражал:

— Но ведь я же не молюсь по четкам.

В Ильере у него была соседняя с ней комната, и он проводил у нее долгие часы.

— Она очень заботилась обо мне. Покупала для меня книжки, и мы вместе рассматривали их. К ней приносили волшебный фонарь, и нам показывали всякие картины. По таким дням закрывались ставни, задергивались занавеси, и мне казалось, будто это волшебный дворец из волшебных сказок. Часто я оставался даже, когда к ней приходили с визитами, и слушал. У нее была какая-то особенная, величественная манера жаловаться.

Однажды, вспоминая о ней, он сказал:

— Если говорить о моей матушке, тетке Элизабет и бабушке Вейль, надо признать, что женщины нашего семейства сыграли в моей жизни очень большую роль. Все они любили меня, и во многом благодаря им я стал таким, каков есть, и по уму, и по привычкам.

— Со стороны Вейлей все было совсем по-другому. Маменькино семейство отличалось какой-то особенной

сплоченностью. Когда в 1890 году умерла ее мать, она в течение шести лет после этого ухаживала за моим дедом, Натаном Вейлем, до самой его смерти. Она постоянно навещала деда, и если он не обедал у своего брата Луи, то приходил к нам. Все они были так тесно связаны друг с другом, что, когда Луи умер в 1896 году, мой дед сразу последовал за ним, где-то между 10 мая и 30 июня. А смерти самой матушки в 1905-м не перенес ее брат Жорж — он скончался почти сразу после нее, ведь у него был настоящий культ сестры. Он всегда обсуждал с ней все свои дела, в том числе и семейные. Жорж буквально поглощал книги и приносил к нам все, что читал сам. В тот день, когда ему стало известно, что она безнадежна, случилась странная вещь — он исчез, никого не предупредив, что уезжает, и появился только после похорон. При его любви к матушке было нетрудно понять, что ему не перенести эту потерю.

Как-то г-н Пруст спросил меня, что я об этом думаю и способна ли сама на нечто подобное.

— Не знаю, сударь, но это так романтично.

— Пожалуй, но все равно как-то странно, правда? Он промучился еще с год. Да, что ни говори, но все они ушли именно так, не могли вынести даже мысли о том, чтобы жить друг без друга.

Про своего деда Натана, который был биржевым маклером и жил на бульваре Пуассоньер, г-н Пруст говорил мало, кроме того, что это тоже была неординарная личность, человек авторитарный, но очень добрый, несмотря на свое тираническое желание видеть внука при надежном деле. Он бывал сам не свой, когда маленький Марсель чем-то огорчался.

Но самым главным лицом в семье со стороны Вейлей был, конечно, Луи, который в коммерции ничуть не уступал успехам своего брата на бирже. Он тоже заработал огромное состояние, с той лишь разницей, что не жалел денег на радости жизни, в то время как Натан старался сохранять все при себе.

Помню, что он впервые упомянул о нем, когда я похвалила его запонки.

— Это от двоюродного деда Луи. Их сделали на одной из его фабрик — знаете, у него были представительства по всему миру.

«Дядюшка Луи» имел дом в Отейле, тогда еще пригороде Парижа. При этом импозантном жилище был к тому же большой сад. А сам дом он приобрел вместе со всей обстановкой у какого-то художника.

— Там все было очень богато, но довольно безвкусно, — говорил г-н Пруст.

Дядюшка Луи любил показной блеск и роскошь. Искусства никогда не волновали его душу, главное заключалось в том, чтобы произвести впечатление, и как-то, говоря о нем, г-н Пруст заметил:

— Это отчасти свойственно всем евреям. У него был совершенно необыкновенный кучер Огюст, который служил ему одновременно еще и камердинером, и метрдотелем. Он требовал от него безупречной выправки: когда коляска подавалась к подъезду, Огюст должен был сидеть в ней неподвижно, как скала. А что касается сервировки, вы даже не представляете себе эти скатерти и сервизы! Настоящий Гранд Отель. Но и Огюст в свою очередь тиранил дядюшку Луи. Его жена служила кастеляншей, и у них еще была дочка. Все трое держались друг друга и старались и близко не подпускать кого-нибудь другого, хотя для кухни нужен был еще один человек.

Всякий раз, когда дядюшка нанимал кухарку, с неделю все было прекрасно. Дядюшка, сидя за столом, подмигивал Огюсту: «Ну, кажется, на этот раз у нас то, что надо!», и Огюст вторил ему: «Да, сударь, вроде бы так». Но потом дело портилось: то пересолено, то переперчено, а то и вовсе жаркое подавалось холодным, с застывшим соусом. Дядюшка Луи сердился: «Огюст, я выставлю ее, это просто невыносимо!» — «Конечно, сударь, вы совершенно правы, невыносимо». Матушка, при ее проницательности, в конце концов поняла, в чем дело: Огюст или нарочно подавал блюда уже остывшими, или пользовался своим карманным набором специй и приправ, чтобы незаметно подсыпать их.

У г-на Пруста была даже какая-то нежность в голосе к этому «дядюшке Луи», который его так баловал.

В Отейле он держал открытый дом. Сначала, судя по рассказам г-на Пруста, я и не подозревала, что Луи был женат. Но однажды, убирая большую столовую, которая никогда не использовалась и куда ставили и клали все что попало, среди книг по музыке г-жи Пруст и стоявших у стен фотографий в рамках мне попался портрет какой-то незнакомой для меня особы, и я спросила:

— Сударь, простите мою нескромность, но кто эта важная дама?

— Жена моего дяди Луи. И он рассказал, что она была немецкого происхождения, очень богата и умерла молодой, оставив ему все свое состояние. А женился он на ней в Гамбурге.

Если бы не этот случай, я так и считала бы его старым холостяком — ведь, по другим рассказам, он вел весьма фривольную, если не сказать развратную жизнь. Его обеды в

Отейле славились нестрогими и модными тогда красавицами.

Прусты часто ездили туда, и «дядюшка Луи» принимал их с распростертыми объятиями; ум г-жи Пруст, мягкость и вежливость «маленького Марселя» восхищали его не меньше, чем известность самого профессора Пруста. Со своей стороны, г-жа Пруст была так привязана к нему, что закрывала глаза на некоторые вещи и ни за какие блага не согласилась бы отказаться от этих визитов.

— Когда мы возвращались после его обедов, родители подсмеивались над дядей Луи и его смазливыми подружками. А по пути туда папа, бывало, говорил: «Интересно, какую кокотку он выудил на этот раз?» Смеялся больше папа, матушка всегда старалась все сгладить. В глубине души она понимала, он не так уж и осуждал дядюшку, как хотел показать, и, кроме того, знала, что даже я, еще ребенок, тоже замечаю кое-что.

При этих словах в его улыбке были насмешливость и нежностью. Он говорил мне:

— У дядюшки царило какое-то непрестанное веселье. Хватало и денег, и желания удовольствий, и стремления пускать пыль в глаза. Но наступило время траура, и все кончилось, занавес опустился.

Из всего семейства у г-на Пруста остался только Робер. Взаимная привязанность братьев возникла еще в детские годы, когда мать приучала их держаться друг друга.. Говорили, будто тогда, как и впоследствии, г-н Пруст очень ревновал своего брата к матери, но я не верю в это. Во всем, что он говорил, не было даже ни мельчайшего следа такого чувства. Самая большая из неприятностей в его воспоминаниях — это ребяческие споры из-за игрушек. Кроме того, их интересы очень скоро разошлись, и каждый еще в юности пошел своим путем: г-н Пруст занялся изучением литературы и жизни большого света, а его брат углубился в науку и увлекался спортивными развлечениями, к которым был очень склонен.

Но оба унаследовали от отца потребность мыслить и неутомимо трудиться. Только пути их были совсем разные.

Думаю, Роберу потребовалось больше времени, чтобы оценить все значение своего брата, чем г-ну Прусту для понимания его научных успехов, которыми он всегда гордился.

— Вы не представляете себе, Селеста, каким сильным студентом был мой брат.

Профессором он стал еще совсем молодым, в тридцать два года. Во время войны добился того, чтобы полевые госпитали располагались прямо на передовой. Благодаря этому операции производились без задержек, и раненые не умирали от потери

крови. Он так же предан своему делу, как и отец. Робер и теперь еще работает. После визитов он буквально валится с ног. Сестра приносит ему стакан воды с печеньем, и это все. Придя домой из больницы, он, если остаются силы, ест что-нибудь, часто один, и тут же за столом читает свои книги или пишет. Он вкладывает в дело всю душу. От раны, полученной на фронте, брат потерял много крови, это сильно ослабило его, но он никак не соглашается сделать перерыв: «Больные не должны страдать из-за меня».

Все же и профессор Робер с какого-то момента — и еще задолго до конца — понял все значение своего брата. Г-н Пруст не раз говорил:

— Робер недавно сказал мне: «Такой-то недавно вспоминал про тебя. Он так хвалил твои книги, что никак не мог остановиться».

— Сударь, а сам-то он хотя бы читал их?

— Дорогая Селеста, у больных больше времени, чем у него. Нельзя жить двумя жизнями сразу. Хватит и того, что, как и наш милый папочка, он теперь не сомневается, что я все-таки попаду в Академию.

Однако встречались они не часто, и приходил всегда только профессор Робер. Как только я докладывала о нем, г-н Пруст восклицал:

— Так пусть же войдет!

И он никогда не отговаривался от встречи с ним из-за усталости, хотя мне случалось видеть, как он иногда с сожалением откладывал в сторону свою рабочую тетрадь. Но, впрочем, тут же и радовался встрече.

Мне кажется, их объединяла прежде всего память о матери. Она внушила им такое чувство братской привязанности, что, казалось, когда они виделись, возрождался весь жар ее любви. Я не слышала их разговоров, но все-таки кое-что доходило и до меня. Обычно они подолгу вспоминали прошлое, я думаю, больше всего о том, что нужно было уточнить самому г-ну Прусту. В надписи на одной из книг, подаренных профессору, сказано: «В память об исчезнувших годах нашего детства. Оно возвращается при каждой встрече».

Как приятно было смотреть на обоих, веселых и улыбающихся! Г-н Пруст часто расспрашивал брата про войну, и, несомненно, они говорили о всяких медицинских делах. Профессор, как и отец, писал книги, а г-н Пруст читал их. Он даже захотел побывать у брата в больнице. Это его потрясло — заблудившись, по ошибке он вошел в анатомический зал.

— Я увидел ноги в одном месте, руки в другом. И этот

мраморный стол!.. Ясразу же захлопнул дверь и сбежал оттуда.

В их отношениях была еще одна особенность: г-н Пруст отчасти как бы заменял для своего брата мать, давая иногда почувствовать свое старшинство. Но с какой деликатностью это делалось! Он никогда не шел напролом, а приближался издалека, вроде бы невзначай.

— Зачем ты так часто встречаешься с этим человеком? Из-за работы? Или просто для себя? По-твоему, это те люди, с которыми стоит общаться?

И почти всегда заканчивал такими словами:

— Ты думаешь, будь жива матушка, она одобрила бы тебя?

А потом с удовольствием говорил мне:

— Робер согласился, что я прав.

У него была своя особенная манера всем распоряжаться. Например, профессор безумно любил свою дочь Сюзи, теперь это г-жа Мант-Пруст; приходя, он всегда говорил о ней, и г-н Пруст не упускал такого случая:

— Ты думаешь, ее воспитывают так, как хотела бы матушка?

Помню, во время приезда в Париж его английских переводчиков Шиффов они предложили свозить Сюзи в Англию. И тут г-н Пруст при всем к ним уважении и даже дружбе вмешался в это дело:

— Шиффы, конечно, очень милы, но зачем моей племяннице ехать к ним, я этого совсем не понимаю. Она еще слишком молода для таких путешествий, да еще чтобы жить у иностранцев.

В отношении воспитания он придерживался старых методов авторитарности и, так сказать, твердой мягкости. Г-н Пруст говорил мне:

— Матушка была с нами мед и сахар, но если она что-то говорила, это было непререкаемо.

Он очень любил свою племянницу, но виделся с ней совсем редко. Ведь уклад его жизни совершенно не годился для ребенка. Чаще всего это бывало во время войны, когда г-жа Робер Пруст приходила вместе с дочерью вечером после обеда. Она приносила известия от мужа. Сюзи было тогда двенадцать или тринадцать лет. Но потом, когда она подросла, а мы переехали на улицу Гамелен, г-н Пруст уже не встречался с ней у себя дома. Однако он писал нежные письма, а однажды даже пожелал сделать ей подарок и для этого послал меня к одному известному ювелиру в Фобур Сен-Оноре, чтобы купить швейный несессер, который очень понравился его племяннице.

В сущности, он не очень любил детей — и это при всем его

культе своего детства. Он говорил:

— Мне нравится наблюдать за ними, но уж никак не возиться.

И еще про Сюзи:

— Она очень миленькая с этими вьющимися волосами, и одевают ее без вычурности. Это хорошо.

Теперь, вспоминая всю окружавшую его пустыню, когда до меня доносится эхо тех ночей, я думаю: «Какое одиночество! И какая сила духа, чтобы не только пожелать, но и вынести его!»

XV
ОН НЕ ЗАБЫВАЛ СВОЮ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ

По ночам я спрашивала его:

— Почему же вы так и не женились? Из вас получился бы очень милый муж, деликатный и внимательный, а дети были бы великолепно воспитаны.

— Дорогая Селеста, во-первых, вы же знаете, что я не так уж умен, да от ума и немного проку — говорят, что умные люди производят на свет идиотов.

— Ах, сударь, как можно так говорить? Ваш-то отец, уж конечно, не был идиотом, а какие у него сыновья!

Он улыбнулся с довольным видом. Как-то раз он сказал мне:

— Странно, что именно вы говорите о женитьбе, зная и понимая меня лучше всех других. Неужели вы не чувствуете, что я уж никак не создан для брака. Скажите, пожалуйста, что бы мне пришлось делать с женщиной, которая бегала бы по гостям и не вылезала бы от портних? Да еще повсюду таскала бы меня за собой. Разве мог бы я тогда- писать? Нет, Селеста, мне нужно спокойствие. Я женился на своей работе и забочусь только о моих бумагах.

Однажды он пошутил:

— Мне была нужна женщина, которая понимает меня, а я знаю только одну такую во всем свете. Я мог бы жениться только на вас.

— О, сударь, это неплохая мысль!

— Пожалуй, хотя вы лучше всего подходите для того, чтобы заменить мне матушку.

И еще, когда он повторял мне уже в сотый раз об идеальной гармонии его родителей, я спросила, есть ли для него разница между платонической и плотской любовью. Внимательно взглянув на меня, он ответил:

— Не понимаю, о чем вы говорите?

И я почувствовала, что это неуместная тема.

Впрочем, помню один вечер, когда к нам зашел Жак Порель, сын знаменитой актрисы Режан, соперницы Сары Бернар. Из них обеих г-н Пруст отдавал предпочтение именно ей. Г-н Порель привел свою молодую жену, которая была в ослепительном декольте с совершенно голой спиной, и ее муж настоял, чтобы она, повернувшись, продемонстрировала ее г-ну Прусту во всей

красе. Когда они Ушли, он сказал:

— Странное дело, Селеста, никак не пойму этого Пореля. Он не только обожает свою жену, но еще хочет, чтобы весь свет знал и видел, как она красива. И эта манера выставлять напоказ ее спину!.. Еще немного, и он разденет ее догола. *Я* никогда даже говорить не стал бы про обожаемую женщину, и мне не нужно, чтобы ею восхищались другие. Наоборот, *я* прятал бы ее только для одного себя. И еще, по какому-то поводу он сказал:

— Такая милая и любящая женщина, как вы, и должна была привлекать всех вокруг. Вас просто невозможно не любить.

— Может быть, я была бы слишком разборчива... или уже слишком избалована.

Он ничего не ответил мне на это.

Полагаю, г-н Пруст никогда по-настоящему никого не любил. Он слишком глубоко проникал в души, и в свою собственную тоже, и ясно видел все трещинки и неровности.

Кроме того, он ничего не забывал. В ящиках комода у него вместе с портретами матери хранились и фотографии знакомых женщин, сувениры и мелкие безделушки. Иногда по его просьбе я доставала их. Но чаще всего ему было достаточно одних воспоминаний. И тогда он умолкал, чтобы вызвать в своей памяти образы прошлого. Его взгляд останавливался, и мне оставалось только молча ждать, пока он возвратится из своего внутреннего ухода.

Несомненно, кое о чем он вообще не хотел вспоминать, возможно, по давности времени или же потому, что сам еще во всем не разобрался до конца. По-видимому, сюда относятся и некоторые его любовные переживания молодости.

Например, он так и не хотел говорить о юной полячке Мари де Бенардаки, хотя и рассказывал мне, как в четырнадцать-пятнадцать лет был влюблен в нее, когда они вместе играли на Елисейских полях. Она была чуть младше его. С копной черных волос, выбивавшихся из-под меховой шапочки, она «выглядела прямо как на картинке». Возможно, тогда он вообразил себе целый роман из этого юношеского флирта, о котором как-то сказал мне:

— Я сходил из-за нее с ума.

Но говорилось это без всякой печали, даже с иронией. И хотя он чуть ли не выбросился от отчаяния с балкона, когда прекратились их игры, поскольку они не нравились госпоже Пруст, теперь он был уже совершенно спокоен и эти воспоминания совсем не волновали его. Как мне кажется, и сам он отнюдь не восхищался родителями маленькой подружки — у ее матери была репутация любительницы развлечений и

шампанского. И даже если Мари де Бенардаки и послужила чем-то для юной Жильберты Сван, то все-таки он прибавил ей и черты других, к кому были обращены порывы его юности, как, например, Антуанетты Фор, с которой он только дружил, или маленькой Лемер, предмете не более чем легкого флирта. Сам он так говорил о своих любовных увлечениях в отрочестве:

— Знаете, Селеста, все это было какое-то порхание.

Сестра одного его однокашника по лицею, Ораса Финали, наследника богатых банкиров, очень умная, красивая, с зелеными глазами и тоже Мари, была из тех цветущих дев в кругу двадцатилетнего Пруста, когда он изучал юриспруденцию; летом их маленькая компания встречалась на Нормандском побережье. Они ходили там по деревенским церквам или катались в коляске среди полей и яблонь. Конечно, у них не обошлось и без нежностей; он рассказывал мне, что читал ей Бодлера: «Как я люблю ваши узкие глаза с зеленоватым отсветом», но чаще всего, как я поняла, они говорили о литературе. Потом Мари Финали вышла замуж, и он никогда не вспоминал об этом хотя бы с огорчением. А когда к концу войны она умерла во время эпидемии испанского гриппа, я сама видела, как он был расстроен, но, главным образом, из-за своего друга Ораса Финали. Говорили, будто именно она была прообразом Альбертины — но и здесь не обошлось без смеси: часть от одной, часть от другой, а все остальное мог придумать и сам г-н Пруст без посторонней помощи.

Во время порханий возникла еще и горничная его матери, опять Мари, замечательно красивая девушка; как он сам мне рассказывал, к ней у него была уже серьезная влюбленность. Это она подарила ему тот самый красивый плед, которым он никогда не пользовался, а потом отдал Селине для Никола Коттена, когда тот замерзал в госпитале во время войны. Думаю, этот плед казался ему слишком безвкусным, чтобы самому накрываться им.

— Бедная Мари, сколько она вложила труда и забот в этот подарок! «Я же знаю, как вы мерзнете!» — говорила она. У матушки при ее наблюдательности возникли подозрения, и она сразу же рассталась с ней. Но все-таки Мари была очень мила. Она отвечала ему взаимностью, и он с нежностью вспоминал ее. Даже в мое время она еще присылала ему памятные письма. Хотя г-н Пруст ничего не говорил в этом смысле, но я убеждена, что такая долголетняя преданность трогала его, и если бы мне пришлось уйти, или я вообще не оказалась бы у него, на этот случай Мари всегда была в его памяти, и, возможно, он и взял бы ее к себе.

Поражала меня и его манера говорить: «Я просто сходил от

нее с ума», — эти ужасные вспышки чувства во время влюбленности. Несомненно, именно их он имел в виду, когда говорил, что «слишком требователен». Да и во всем другом тоже — все сразу и немедленно, ведь он был избалованным ребенком. Помню, как меня удивил его рассказ о хорошенькой девушке в молочной лавке, которую он увидел через стекло витрины. Нимало не раздумывая, он купил цветы и предложил ей провести с ним вечер.

— Мне пришлось ретироваться, — с улыбкой сказал он, — и я был просто в ярости. Но букет все-таки оставил!

Меня это поразило, ведь ко мне он всегда относился с уважением.

— И это вы, сударь, который всегда держится на расстоянии?!

Он снова засмеялся:

— Но ведь я бывал и горяч, Селеста!

Как он сам мне рассказывал, только один раз он по-настоящему думал о женитьбе — и даже хотел этого, хоть я не сомневаюсь, что у него были и другие мимолетные порывы. Но именно в тот раз дело приняло серьезный оборот.

Во многих книгах о нем немало наплели по этому поводу, вплоть до какой-то «таинственной девушки», о которой он потом все время жалел.

Сам г-н Пруст почти ничего не говорил, об этом эпизоде своей жизни, хотя и не скрывал, что очень хотел жениться, но его мать была неумолима.

— Она очень мне нравилась; наконец я признался матушке, но получил категорический отказ: «Нет, Марсельчик, все что угодно, только не это!»

Я догадываюсь о причинах ее несогласия: скорее всего, г-жа Пруст считала, что молодая особа не сумеет вести дом, — во всяком случае, как это полагалось по ее понятиям. Да и сам г-н Пруст решил в конце концов так:

— Была матушка не права или нет, не знаю, но во всяком случае, она не ошиблась.

И потом еще сказал как-то раз:

— Мы встречались с ней в Отейле, у дядюшки Луи.

Складывая все по кусочкам из незначительных подробностей, я в конце концов поняла, что это была его кузина, внучатая племянница дядюшки Луи.

У деда Натана и двоюродного деда Луи был еще один брат, Авраам Альфонс Вейль, который служил в армии и вышел в отставку майором в 1886 году. Единственный из всех братьев, он так и не достиг богатства. Но его дочь сорила деньгами направо и

налево, и ей пришлось бы туго, если бы не помощь «дядюшки Луи». Г-н Пруст говорил о ней:

— Ее муж был прекрасный семьянин, зато она делала все, что ей только вздумается.

У этой дочери Авраама Альфонса тоже была дочь, та самая загадочная девица, с которой г-н Пруст встречался у «дядюшки Луи» и которая ему так нравилась, что он считал ее не просто «очень хорошенькой, а настоящей красавицей». Но расточительность матери не могла нравиться госпоже Пруст, да и воспитание самой девушки вызывало у нее сомнения. Впрочем, прежде чем умереть, «дядюшка Луи» догадался назначить ее матери ренту. Распоряжение этой рентой перешло после смерти г-жи Пруст к ее сыну, и он регулярно ее выплачивал. Однажды случилась какая-то задержка, и меня послали отнести деньги, чтобы передать их прямо в руки. Я увидела мать, но дочь так и не показалась.

Как-то раз я спросила г-на Пруста, жалеет ли он о несостоявшейся женитьбе, и он коротко сказал:

— Нет, нисколько.

В большом черном шкафу в малой гостиной среди трудов Рёскина и других томов хранилась одна книга, которую г-н Пруст часто мне показывал. Он вынимал ее особенно осторожно. Это было роскошное издание романа Поля Бурже «Глэдис Гарвей», переплетенное в шелк с тиснением цветами. Показывая ее в первый раз, он объяснил, что в его «эпоху камелии» всему свету было известно имя вдохновительницы этой книги, и что именно она сама подарила ему это прекрасное издание, а шелк для нее был взят от одного из ее платьев.

— Она принадлежала к тем особам, которых никогда уже больше не будет. Она славилась и своей красотой, и соперничеством в погоне за такими приятелями, которые могли похвастаться принадлежностью к «Готскому Альманаху»[10] и, конечно... деньгами. Но именно эта дама была еще в высшей степени умна и образованна. Она отличалась тем необычным свойством, что, в противоположность всем другим, которые пожирали целые состояния, не оставляя для себя ни су, деньги ее друзей никогда не пропадали впустую: она умела использовать их и даже вознаграждать дарителей за щедрость. Ее звали Лора Гайман.

— У нее были бледно-светлые волосы и черные глаза, и когда она волновалась, это производило впечатление огня. Потом он много рассказывал мне о ней, когда доставал ту самую книгу или просил вынуть из комода фотографии.

— Она одевалась почти как герцогиня, а ума у нее хватило

бы на несколько принцесс. Один из ее предков был знаменитый английский художник.

Нисколько не открывая мне всей правды, которую, впрочем, не так уж и трудно было угадать, он рассказывал, что она «усердно посещала» в Отейле «дядюшку Луи». Но и сама имела в Париже очаровательный особнячок, где принимала в своем салоне писателей и художников.

— Она начала с одного германского принца, а потом перебрала всех русских великих князей.

Естественно, он познакомился с ней у своего двоюродного деда; тогда ему было всего восемнадцать, а ей уже тридцать семь или даже тридцать восемь. Нетрудно догадаться, что она принадлежала к тем, на кого он «обращал внимание».

— Дядюшка Луи был просто счастлив, если ему удавалось угодить Лоре Гайман. Я тоже ею восхищался и чуть ли не разорился на цветах, но она сама предупредила папа. Он отругал меня, но ведь я был еще так молод. Впрочем, ее тонкость и ум не оставляли равнодушным и его самого, и он как бы подталкивал меня к дружеским отношениям с нею.

Как-то г-н Пруст показал мне две фотографии. На одной она была в роскошном платье, на другой — почти старуха, с ребенком на руках. Он спросил:

— Разве похоже, что это одна и та же женщина?

— Да нет, никак уж не скажешь, сударь.

— И, однако, на обоих портретах именно она. Это замечательная история, Селеста. У нее был сын, которого никто не знал и не видел, — он воспитывался где-то очень далеко, у иезуитов, чтобы никогда не смог узнать тайну своего незаконного рождения и кто его мать. Но она все-таки ездила взглянуть на него и с бесконечной любовью следила за его образованием.

Г-н Пруст очень взволновался. Он положил обе фотографии и продолжал:

— Так вот, случилась ужасная вещь, Селеста. Помните, я недавно говорил вам, что получил от нее письмо, которое всего меня перевернуло? Она сообщала, что ее сын убит на фронте. Он был летчиком. В тот же вечер я поехал к ней. Держалась она с большим достоинством.

Все в то же «время камелии» или несколько позднее появилась одна актриса, Луиза де Морнан, обожаемая подруга его сотоварища по кружку улицы Ройяль, герцога д'Альбуферы. Он вспоминал о ней, как о весьма модной особе, в обществе которой приятно было показаться, а близкие отношения с ней не представляли никаких затруднений. Когда, глядя на ее фотографию, я сказала, что у нее вид знаменитой актрисы, он

рассмеялся:

— Да совсем нет, Селеста. Правда, у нее было несколько недурных ролей на бульварах, но, потратив немало денег, из нее удалось сделать всего лишь заурядную статистку.

Впрочем, как я поняла, она все-таки сыграла свою роль в бурных порывах его молодости.

А такие порывы бывали ужасны — он не терпел ни малейших возражений. Например, знаменитая история перчаток, которая так огорчила его мать и о которой он говорил с ироническим раскаянием.

— Я увлекся одной дамой полусвета, жившей в Булонском Лесу. После ряда эволюций мне удалось добиться от нее свидания. Я был сильно возбужден и хотел явиться перед ней в самом элегантном виде, а для этого попросил матушку купить новый галстук и наимоднейшие кремовые перчатки. Матушка принесла очень красивый галстук-регату, а про перчатки сказала: «Марсельчик, я просто в отчаянии, нигде нет таких, как ты хочешь. Но, мне кажется, вот эти тебе понравятся». Они были серого цвета! Конечно же, матушка решила, что кремовые будут слишком помпезны и, конечно, не ошиблась. Но в тот день я так рассердился, как никогда за всю свою жизнь. Мы были в гостиной, и я стал смотреть по сторонам, соображая, что бы сделать такого особенно неприятного и обидного для матушки. Неподалеку стояла очень красивая старинная ваза, подарок, которым, как я знал, она очень дорожила. Я схватил вазу и бросил на пол, не переставая смотреть на матушку. Она даже не пошевелилась и сказала совершенно спокойным тоном: «Что же, Марсельчик, пусть это будет, как в еврейских семьях... Ты разбил вазу, и наша любовь станет еще крепче». Я убежал к себе в комнату и несколько часов плакал от одной только мысли, как я огорчил ее. Но, самое забавное, явившись на свидание в регате, перчатках и с букетом цветов, знаете, что я увидел?.. Судебного пристава, который выселял мою красотку, и она уже вывозила мебель. Бесподобно, не правда ли?

Что касается Луизы де Морнан, то у них, судя по всему, было какое-то взаимное чувство. Помню, как-то, уже на бульваре Османн, г-н Пруст собирался и велел мне срочно отнести ей записку. Я застала ее тоже перед выходом, совершенно одетой, в атласном платье. Она была еще молода и красива. Когда я сказала, что меня прислал г-н Пруст, она воскликнула:

— Ах, Марсель, Марсель!.. Как я рада, давайте сюда.

Она чуть ли не прыгала от радости, читая записку, в которой он приглашал ее к обеду, и ради этого все было сразу отставлено. Однако потом, насколько мне известно, он никогда с ней не

встречался. Я видела ее еще раз, уже после смерти г-на Пруста, в маленьком домике на улице Канетт, который мы купили с Одилоном. Передо мной была очень пожилая дама в какой-то шляпе консьержки. Она спросила:

— Так вы меня не узнаете?

— Кажется, я где-то видела вас, мадам. Или мадемуазель?

— Скорее, «мадам». Я живу с одним г-ном на улице Лористон. Она напомнила мне свое имя и надолго задержалась, буквально рухнув на стул.

Из всех ее излияний о «Марселе» я не узнала ничего интересного, кроме как о близкой дружбе с герцогом д'Альбуферой, которая окончилась ссорой. Но об этом позднее. И я поняла еще, что она так никогда и не забывала г-на Пруста.

Что касается его самого, то в мою бытность его чувства к тем, кого он знал в молодости, были связаны лишь с памятью об «утраченном времени». Даже по отношению к той девочке, которую он, несомненно, любил больше всех не только в отрочестве, но и потом, после Мари де Бенардаки, он казался совершенно отчужденным. Ее звали Жанна Пуке, из той компании, которая собиралась на Елисейских Полях и для игры в теннис. На известной групповой фотографии г-н Пруст сидит у ее ног с ракеткой, а она, как королева, стоя, возвышается на садовом стуле. Вспоминая то время романтических влюбленностей, сам г-н Пруст говорил:

— Я влюбился в нее так, как это бывает только раз в жизни.

— Что же вы нашли в ней такого, сударь?

— У нее были роскошные светлые волосы.

— Ну, а ее ум?

Ничего не ответив, он продолжал:

— У меня совсем пропал сон. Когда по утрам мы ходили на теннис, я брал с собой бутерброды и всякие сласти, не зная, чем только угодить ей, и покупал для нее цветы и подарки. Как я страдал!.. И на встречи не шел, а бежал! Когда она играла в теннис, мне так нравилось смотреть на ее перелетавшие от плеча к плечу косы. Ревновавшие ко мне другие мальчики стреляли мячиком по моим коробкам с пирожными, тем более что в игре я не мог показать себя.

Когда я спросила, знала ли об этом его увлечении г-жа Пруст, он сказал, что нет, не знала.

Он познакомился с Жанной Пуке как раз перед военной службой, то есть восемнадцати лет, у г-жи Арман де Кэллаве, матери своего лучшего друга Гастона. По его рассказам, Жанна вышучивала его ухаживания, хотя это и льстило ее мелкому

тщеславию. В их компании все были влюблены в нее, но досталась она в конце концов Гастону Кэллаве, который и женился на ней. Я припоминаю, что их свадьба была, когда г-н Пруст служил в Орлеане, или немного позднее. А теннисные партии продолжались еще какое-то время перед свадьбой. Я спросила его:

— При такой влюбленности вам, наверно, было тяжело, что она досталась вашему другу?

Он помолчал, посмотрел на меня и ответил:

— Нет, не тяжело.

То, как г-н Пруст произнес это «нет», означало, по-моему, что в замужестве она показала свою настоящую натуру, и с этого времени он разлюбил ее, хотя не думаю, что это перешло в неприязнь. Впоследствии он очень редко виделся с этой парой, не считая светских встреч, да еще как-то раз ему захотелось посмотреть на маленькую Симону, плод этого брака, которой все вокруг пели одни дифирамбы. Впрочем, это случилось только через двадцать лет. Г-н Пруст поехал к ним, но ребенок, естественно, уже спал, дело было не раньше полуночи. Он спросил, можно ли взглянуть на нее, если она еще не спит.

— Но, Марсель, она давно в постели. Не могу же я будить ее в такой час!

— Сударыня, очень прошу вас, мне это просто необходимо.

В конце концов малютка все-таки спустилась вниз, недовольная, что ее разбудили.

Быстро взглянув на нее, он сказал:

— Мадемуазель, я благодарю вас, — и уехал.

Потом пришла война, и, как я уже говорила, Гастон де Кэллаве умер, но не на фронте, а от тяжелой болезни, к которой, по всей вероятности, он был предрасположен от рождения. И тут произошло нечто необычное. Я тогда только что потеряла мать и была в Оксилаке, а обо всем узнала уже потом от самого г-на Пруста.

Он получил письмо от г-жи Гастон де Кэллаве, в котором она просила принять ее, поскольку перед смертью мужа поклялась ему, что передаст г-ну Прусту некое сообщение. Получив это письмо, страшно взволнованный, он послал за вдовой своего старинного приятеля на такси, и она приехала.

Дело заключалось в том, что Гастон страстно влюбился в другую женщину — кажется, это была какая-то балерина, — но, в конце концов, все-таки уступил уговорам жены и порвал с нею. Но он так и не излечился. Именно это и должна была сообщить ему г-жа Кэллаве.

— Бедный Гастон, она не должна была требовать разрыва.

А про нее сказал только:

— У меня в памяти были светлые косы, а тут я увидел женщину с седыми волосами.

Это случилось в 1915 году. О ней он упоминал еще раз или два — она не замедлила снова выйти замуж за одного своего кузена, князя Радзивилла, которого г-н Пруст когда-то знал. А потом, уже значительно позднее, он оказался рядом с ней на приеме у г-жи Хеннеси, незадолго до его смерти в 1922 году — последний большой прием, на котором он был. Когда гости начали уже расходиться, она сказала ему:

— Ну что ж, Марсель, до свидания, я ухожу.

— Ах, сударыня, но мне нужно еще побыть с вами. Позвольте проводить вас.

— Пожалуйста, не надо, только не сегодня. Если хотите, мы можем встретиться в другой день.

— Хорошо, сударыня. Но раз уж вы не хотите видеть меня сегодня, тогда прощайте. Мы больше не увидимся.

Именно это рассказал г-н Пруст по возвращении. Он был совсем без сил и не объяснил, то ли сам не хотел больше ее видеть, то ли уже предчувствовал приближение смерти.

Несомненно одно: он говорил о ней как о женщине с совершенным безразличием. А однажды ночью, вспоминая молодость и свою страсть к ней, сказал:

— Ну, а потом у меня были и другие увлечения...

XVI
ДРУГИЕ ВЛЮБЛЕННОСТИ

Я уже говорила, что, на мой взгляд, г-н Пруст никогда и никого по-настоящему не любил. Это вовсе не означает неспособности к любви. Просто, как мне кажется, с самой ранней молодости у него были слишком большие амбиции в литературе, чтобы он мог привязываться к людям как-то иначе, чем ради того, что сам впоследствии называл своими «поисками». Уже тогда он понял, насколько связанные с этим требования, да еще и плохое здоровье, затрудняют общение. Несомненно, его привязанность ко мне объясняется только тем, что он видел, как меня очаровывает и привлекает все исходящее от него.

И, конечно, было много разговоров о том, что из-за постоянных любовных разочарований в молодости он отвернулся от женщин ради других отношений.

Здесь я еще раз хочу со всей определенностью заявить, что дала себе клятву рассказывать доподлинно мне известное или же недвусмысленно вытекающее из его намеков, когда я достаточно уверена в правильности своего понимания.

И если я говорю, что г-н Пруст никогда не давал мне ни малейшего повода представить его в известном свете, из этого отнюдь не следует, что я претендую на знание абсолютной истины или хочу нарисовать идеальный портрет одними только светлыми красками. Да и зачем бы это было нужно? Его очарование от этого ничуть бы не возросло.

Самое главное, чтобы все поняли — именно таким, каким он был, без всяких изъятий, я любила и терпела его и наслаждалась им. И какой был бы для него толк, если бы я изобразила его этаким ангелочком?

Две весьма существенные вещи я могу несомненно подтвердить. Во-первых, повторяю еще раз, он рассказывал мне обо всем и не думаю, будто в этом особенном отношении его могло останавливать само по себе то, что я женщина. Во-вторых, в квартиру на бульваре Османн никто никогда не входил и не выходил без моего ведома — открывала двери только я, а ключей у г-на Пруста и вообще не бывало, он даже не знал, где они лежат. Кроме того, я непрерывно прислушивалась к звонкам, и ни малейшее движение не могло ускользнуть от меня даже во сне — во мне развилось на это как бы шестое чувство. При малейшем шорохе я просыпалась и вскакивала.

Остаются только его выходы из дома. Конечно, я не

следовала за ним по пятам, но если возил его Одилон, он всегда обо всем мне рассказывал — правда, без особых подробностей, всего лишь: «Я отвез его туда-то и ждал». Одилон был человек долга и понимал, что дела клиентов его совершенно не касаются. Зато я знала все, потому что г-н Пруст сам мне обо всем рассказывал.

Если взять, например, тех молодых людей, которые могли бы к нам приходить, почти все они были литераторы и его почитатели, и никого из них нельзя было ни в чем таком заподозрить. Не говоря даже об их малом числе, приходили они, уж, конечно, не для галантностей! Помню критика Рамона Фернандеса: г-н Пруст говорил мне про него, что он ухаживал за одной девицей из аристократии, мадемуазель Хиннисдэль. По его мнению, от этого страдала репутация всего семейства. При всем том он превозносил качества ума, присущие Фернандесу. Был еще Эммануэль Берль, который сам рассказывал — впрочем, его я, кажется, и не видела, — что приходил к г-ну Прусту объясняться по поводу своих сердечных дел одновременно с тремя женщинами.

Один, правда, был совсем другим — молодой англичанин, приятель некоего г-на Гольдсмита или Гольдшмита, денежного мешка, который преследовал г-на Пруста своими приглашениями на обеды. Г-н Пруст не любил бывать там, он говорил, что этот чудак убийственно скучен. При всем том он не скрывал от меня принадлежности сего г-на к «племени содомитов» — лишнее доказательство откровенности в разговорах со мной. Сам г-н Пруст никогда не приглашал к себе этого англичанина:

— Не мог же я принимать его лежа. Он такой чопорный, что с ним нужен смокинг или хотя бы фрак.

Но все-таки г-на Пруста привлекала манера одеваться этого молодого англичанина; кажется, его звали Чарли, и особенно нравились его жилеты. Только лишь поэтому он раз или два согласился встретиться с ним у себя дома — чтобы как следует рассмотреть, во что тот одет, и, конечно, единственно ради своей книги. А потом г-н Пруст уже ни разу не виделся ни с молодым, ни со стариком.

Много говорили о его секретарях, будто бы он предпочитал здесь мужчин. Но у меня нет никаких сомнений, что это объясняется лишь его огромным уважением к женщинам и стыдливостью больного, прикованного к постели. Даже со мной во всем касающемся женщин он был очень сдержан в выражениях. Когда речь заходила о каких-то любовных связях, он умел весьма изящно избегать прямых высказываний, хотя при этом все очень легко угадывалось. Однажды он рассказал мне, что как-то раз,

еще во времена «камелии», гуляя с герцогом д'Альбуферой, спросил его:

— Скажи, Луи, а ты проделываешь это со своей женой?

— Что ты, Марсель, разве так обращаются с женами! Г-на Пруста очень позабавило то, насколько был шокирован герцог, но он так и не объяснил мне, о чем все-таки у них шла речь.

Привычка к секретарям-мужчинам не помешала ему, как только возникло чувство доверия и даже, осмелюсь сказать, семейственность, попросить мою племянницу Ивонну переехать к нам на улицу Гамелен, чтобы перепечатать рукопись « Пленницы».

Я знала у него только одного домашнего секретаря, по имени Анри Роша. Он нашел этого человека в «Рице», где тот служил, кажется, для поручений при директоре ресторана Оливье Дабеска; г-н Пруст взял его по своей доброте, тронутый стремлением молодого человека добиться успеха в жизни.

Это был хмурый и молчаливый юноша, швейцарец, вообразивший себя художником. Если он и играл ту роль, которую ему приписывали, то г-н Пруст очень хорошо все это скрыл; но как? — спрашиваю я. Тогда мы жили уже на улице Гамелен, где расположение комнат было почти такое же, как и на бульваре Османн. Г-н Пруст занимал комнату в одном конце, а Роша в другом. Между ними была гостиная и еще будуар. Моя комната находилась возле входных дверей и представляла собой настоящий наблюдательный пост, с которого прослушивалась и просматривалась вся квартира, и ничто не могло ускользнуть от моего внимания.

У Роша было только одно достоинство — красивый почерк. В остальном, как говорил г-н Пруст:

— Он думает, будто занимается живописью.

Но и красивый почерк вскоре надоел г-ну Прусту. Вначале, иногда после кофе, в самом конце дня или вечером, он еще просил меня позвать его для работы и, бывало, диктовал ему, но по прошествии некоторого времени это совсем прекратилось. Роша сидел в своей комнате и подмалевывал какие-то картинки или куда-то уходил. Его почти и видно-то не было. Г-н Пруст говорил:

— Вместо помощи он лишь утомляет меня.

Желание помочь человеку свелось в конце концов к обыкновенной жалости.

Г-н Пруст продержал его у себя немногим больше двух лет, колеблясь между желанием расстаться с ним и все же не решаясь выставить молодого человека на улицу. Наконец он обратился к своему другу детства банкиру Орасу Финали, и устроилось так,

что Роша куда-то уехал, чего хотел и он сам, — ему было найдено место в банке Буэнос-Айреса, а не Нью-Йорка, как потом рассказывали.

Роша был почти помолвлен с одной девицей, которая приходила к нему на улицу Гамелен, но, уезжая, он бросил ее в Париже. Г-н Пруст даже ходил к ней с утешениями. А по отношению к Роша у него не было никаких сожалений. Он только сказал:

— Наконец-то у нас опять все спокойно.

Но нельзя не сказать про обязательность г-на Пруста в отношении к тем, кто служил у него. Больше всего пролилось чернил по поводу Агостинелли, который до войны был, как и мой муж, одним из его шоферов. Оба они служили в знаменитой компании таксомоторов Жака Бизе. Мне кажется, у этого человека был неуравновешенный характер и он тоже стремился, как и Анри Роша, улучшить свое социальное положение. Сама я была мало знакома с ним, но Одилон хорошо знал его: они вместе работали на такси почти с самого начала, в Монако и Кабуре. Он говорил о нем:

— Это хороший парень, у меня всегда было с ним все в порядке.

Но его снедала жажда подняться выше, он стал проситься к г-ну Прусту на место секретаря. Это было в то время, когда он ушел из такси, чтобы возвратиться к себе на родину в Монако, где познакомился со своей подругой Анной и где нашел для себя работу, которую, правда, очень скоро потерял. Из любезности и опять же по своей доброте г-н Пруст согласился взять его. Он стал жить на бульваре Османн вместе с Анной, и, действительно, в рукописях того времени встречается и его почерк.

Это было в 1913 году, когда я выходила замуж. Прекрасно помню, как в одно воскресенье Агостинелли пригласил нас провести целый день в Фонтенбло, и мы даже взяли с собой завтраки. Но эта прогулка навела на меня ужасную скуку. Мужчины были счастливы своими воспоминания о работе в такси, а мне оставалась только женщина, настолько непривлекательная, что мой муж называл ее «летучей тлей». Я до сих пор помню ее черные прямые волосы и голос Агостинелли: «Где же ты, Нана?»

Но о самом Агостинелли у меня сохранились лишь смутные воспоминания, и я не могу утверждать что-то определенное. От Одилона мне было известно о его безумной страсти к механике, которую он перенес с автомобилей на аэропланы, и так надоедал этим г-ну Прусту, что тот в конце концов по своей доброте разрешил ему поступить на курсы летчиков при аэродроме в Бюке под Версалем. Поскольку у Агостинелли уже не было машины,

возил его туда Одилон. За курсы платил, конечно, г-н Пруст по своей всегдашней щедрости. А когда Агостинелли потерял работу в Монако и просил снова взять его на место шофера, г-н Пруст без обиняков ответил ему, что уже поздно, и он не может просто так отставить Одилона, который стал его постоянным шофером и доверенным человеком.

Я знала от Одилона и то, что Агостинелли вполне серьезно считал себя способным быть секретарем. Судя по этому, он весьма высоко ценил свою персону. Г-н Пруст купил для него пишущую машинку, которую тот потом продал директору ресторана «Ларю» — как-то, придя за едой, я видела ее рядом с кассой.

Но вдруг в один прекрасный день Агостинелли уехал обратно на Лазурный берег. Думаю, здесь было немалое влияние его жены.

Дело в том, что ей не нравился Париж. Он писал из Антиба, где продолжалась его летная учеба, и надо сказать, что Агостинелли был льстецом. Как я поняла уже потом, он хотел убедить г-на Пруста помочь ему в покупке аэроплана, который он уже назвал «Сваном», по имени главного персонажа в романе. Но он еще был отчаянно смелым, просто до безумия. Едва получив свою лицензию летчика, он уже во втором полете, нарушив все правила, полетел над морем и пропал. Его тело вытащили из воды только через неделю, и глаза уже были обкусаны рыбами.

Агостинелли погиб 30 мая 1914 года. К этой трагедии присоединилось еще и то, что сразу после получения лицензии он на радостях написал г-ну Прусту длинное письмо, но оно пришло уже после известия о его смерти. Это, естественно, страшно поразило г-на Пруста. Потом он читал мне это письмо. Оно было очень милое, со множеством благодарностей и в то же время исполнено нескрываемого самодовольства. После гибели Агостинелли обрушился целый поток просьб его семьи, умолявшей г-на Пруста дать денег на поиски тела, — и это было сделано. А когда 7 июня его нашли, он послал цветы на могилу и через год сделал то же самое. Кроме того, он помог Анне и его брату. Говорили даже, будто этот брат приехал в Париж и был какое-то время секретарем г-на Пруста. Странно, но я ничего такого не помню, хоть и должна была бы знать об этом, поскольку уже тогда появилась на бульваре Османн. Единственным секретарем на моей памяти, кроме Анри Роша и моей племянницы Ивонны, был Агостинелли еще до его «бегства» в Антиб. Я бегала в то время «курьером» и раза два видела их вместе с Анной на кухне.

По поводу горя г-на Пруста от смерти Агостинелли насочиняли целые романы. Нашлись умники, которые

обнаружили, что в его книге он хотя бы отчасти превратился в Альбертину, предмет влюбленности «Рассказчика». Но это уже просто смешно. Во-первых, Альбертина появилась в голове и тетрадях г-на Пруста намного раньше Агостинелли. Во-вторых, я не сомневаюсь, судя по его манере говорить о нем, что он относился к Агостинелли так же, как и к Анри Роша. Будучи шофером, он заинтересовал г-на Пруста как приятный собеседник — об этом не раз говорил мне и Одилон — и еще тем, что стремился пробиться в жизни; он был далеко не глуп, это показывают его прекрасно написанные письма. И по своей природной отзывчивости г-н Пруст хотел помочь ему. Если он и сердился на него, то лишь за «бегство» в Антиб, которое посчитал неблагодарностью после того, как приютил его на бульваре Османн и заплатил за учение в Бюке. Кроме того, при своей проницательности, зная безрассудную храбрость Агостинелли, он боялся, что тот наделает глупостей. При его даре проникать в души я не удивилась бы, узнав, что он предвидел трагедию.

Но думать, что г-н Пруст хотел держать возле себя Агостинелли как «пленника» собственных влечений, подобно «пленнице» Альбертине, это еще большая глупость.

То же самое можно тогда сказать и про Одилона, да, в конце концов, и про меня! Ведь все, кто служили у г-на Пруста, были в некотором смысле его пленниками.

Из других связей, которые хотели объяснить его наклонностями, удалявшими его женщин, было знакомство с Альбером Ле Кюзиа, изображенного в романе под именем Жюпьена, содержателя дурного дома. Здесь я могу говорить уже со знанием дела и самого этого человека, Кроме того, что г-н Пруст много рассказывал мне о нем, мне и самой приходилось видеть его. Откровенно говоря, он совсем мне не нравился, и я не скрывала этого от г-на Пруста. Но он и сам разделял мое мнение, так что моя неприязненность отнюдь не вытекает из предвзятости.

Это был высокий, как жердь, светловолосый бретонец, не заботившийся о своей внешности, и его холодные, как у рыбы, голубые глаза выдавали беспокойство, присущее подобной профессии, — нечто от преследуемого зверя, да оно и не удивительно, ведь к нему постоянно наведывалась полиция, и сам он то и дело попадал в тюрьму.

Начав с должности в знатных русских домах — у графа Орлова, князя Радзивилла и других, он чего только там не навидался. Князь Радзивилл-отец был известен своими специфическими наклонностями. А про графа Орлова он рассказывал, что тот даже во время званого обеда мог

потребовать себе судно и опорожнялся в присутствии гостей. «Это похуже, чем кресло с дыркой времен Старого Режима», — говорил мне г-н Пруст.

Насколько я помню, он познакомился с ним у Радзивиллов — один из их сыновей бывал в кружке на улице Ройяль. Потом Альбер открыл собственное дело и стал хозяином гостиницы неподалеку от Биржи — это было в 1913 году, как раз при моем дебюте на бульваре Османн — а потом у него появились бани на улице Годо-де-Моруа, в квартале Мадлен. У этих мест такая репутация, что туда ходят только с вполне определенной целью. И, наконец, в 1915 или 1916 году он открыл нечто вроде дома свиданий для мужчин на улице Аркад.

Все сводится к тому, что, как говорят, г-н Пруст будто бы помогал ему для обустройства деньгами и мебелью и, кроме того, еще и сам бывал в его заведении.

Однако это не более чем светские сплетни — раз об этом все знают, почему бы и не поговорить?

Но прежде всего рассмотрим факты.

Действительно, г-н Пруст подарил ему кое-какую мебель, но это было задолго до пресловутого дома на Аркадах, еще когда Альбер обзавелся банями на улице Годо-де-Моруа. Так говорил мне сам г-н Пруст. По наследству от родителей и деда Луи у него скопилось столько мебели, что столовая в квартире была вся загромождена почти до потолка, и я протискивалась через нее, как в дремучем лесу. Кроме того, многое хранилось еще и в подвале, во дворе дома 102 на бульваре Османн. И когда Ле Кюзиа сказал, что у него не хватает денег на покупку мебели для его собственной комнаты в новом заведении, г-н Пруст позволил ему взять кое-что из подвала. В конце концов все свелось к зеленой полу-кушетке, паре кресел и нескольким занавесям.

Что касается денег, то, действительно, г-н Пруст субсидировал его, но на вполне определенных условиях, о которых я скажу позднее, и, уж конечно, не для устройств этих заведений. Во-первых, он вообще не раздавал деньги просто так; во-вторых, у Альбера были куда более богатые покровители, чем г-н Пруст. Рассказывали, будто в то время, когда мы жили на улице Гамелен, он хотел продать ковры и мебель, чтобы выручить Альбера. Все это неправда. Тогда у него уже не было никаких отношений с Ле Кюзиа, а помочь он хотел госпоже Шейкевич, но она с достоинством отказалась от его предложения.

Теперь по существу дела... На основании того, что говорил мне сам г-н Пруст, я уверена, он отдал эту мебель точно так же, как раздавал целыми пригоршнями чаевые. В качестве доказательства скажу здесь о том глухом негодовании, с которым

он говорил мне про то, как Ле Кюзиа использовал его мебель на улице Аркад.

— Представляете, Селеста, ведь этот жулик выпросил у меня мебель, чтобы обставить собственную комнату на Аркадах, а употребил для своих омерзительных делишек. Никак уж не ожидал от него чего-либо подобного. Боже, какую глупость я сделал!

Это сохранилось в моей памяти тем более отчетливо, что все было сказано по горячим следам, сразу после визита Альбера. И я поняла — он уже никогда не простит ему.

Наконец, последнее. Если г-н Пруст и давал какие-то деньги, то, во всяком случае, не столь уж большие.

Он платил как бы чаевые за те сведения, которые Альбер доставлял ему, но г-ну Прусту случалось и самому бывать у него, конечно, только ради своей книги. Достаточно было только одного взгляда на Ле Кюзиа, чтобы понять: этот человек задаром не ударит и пальцем о палец. Хоть он и стал хозяином заведения, душа-то у него так и осталась лакейской. Но г-н Пруст платил еще и Оливье Добеска, директору ресторана в отеле «Риц», чтобы тот держал его в курсе всех событий: кто с кем сегодня обедал или какое платье было на госпоже такой-то.

Конечно, все эти истории, исходившие от Ле Кюзиа, были просто какой-то несъедобной стряпней. Ведь г-н Пруст никогда ничего от меня не скрывал, в том числе и весьма специфические наклонности самого Альбера. Он даже называл мне имена тех людей, которые постоянно бывали на Аркадах, — в том числе политиков и даже министров; Альбер снабжал его подробностями их пороков, это развлекало г-на Пруста, но чаще всего у него была скорее печальная нотка, и он говорил мне, что не понимает, как можно дойти до всего этого.

Когда ему нужно было узнать о чем-нибудь от Альбера, он призывал его на бульвар Османн, обычно после кофе, уже в конце дня. Ле Кюзиа сидел очень недолго, он всегда торопился обратно к себе на Аркады. Говорили, будто бы после войны за ним ездил Одилон. На самом же деле с запиской посылали меня, но я никогда не входила внутрь. Помню, что в этом доме было два выхода. Г-н Пруст всегда говорил мне:

— И не забудьте, Селеста, сначала спросить, здесь ли он, а потом уже отдайте письмо в собственные руки. Самое главное, в любом случае он должен вернуть его вам.

И когда впоследствии стали говорить, что у Ле Кюзиа есть много писем г-на Пруста, я никак не могу понять, откуда же они у него взялись.

А передавать письма в собственные руки нужно было лишь

потому, что Альбер мог в любое время угодить в тюрьму. Несколько раз именно по этой причине я заставала вместо него щупленького молодого человека — кажется, его звали Андре, — который присматривал за домом в отсутствие хозяина.

Г-н Пруст объяснил мне:

— Когда я хожу туда, то стараюсь долго не задерживаться из-за всех этих полицейских проверок, чтобы не попасть завтра на первые страницы газет.

Я даже не буду останавливаться на всех глупостях, выдуманных в одной книге в связи с этим заведением: истории с проткнутыми булавками крысами, на мучения которых он якобы ходил смотреть, или как показывал там всяким подонкам фотографии своей матери ради удовольствия слушать их оскорбления. И как только могут печатать подобный бред? Г-н Пруст всегда безумно боялся крыс, даже не переносил одного их вида. А фотографии матери никогда не покидали ящиков комода — они только изредка вынимались, чтобы взглянуть на них с волнением и любовью. Наконец, он никогда ничего не выносил из дома и вообще, кроме еды, предметов туалета, одежды, тетрадей и ручек, ни к чему не притрагивался. И уж совершенно невероятно чтобы он, всегда просивший подать ему самую малейшую вещь, вдруг сам выдвинул бы тяжелый ящик, вынул оттуда фотографии и, вложив в конверт, спрятал в кармане а потом, возвратившись, проделал все это в обратном порядке. Единственная вещь, которую он за все время взял с собой из дома, — это пакетик с сахаром для моей золовки, г-жи Ларивьер, во время войны.

Во всяком случае, я могу утверждать, что он никогда не жил на улице Аркад и не бывал там чаще, чем я могла знать об этом, то ли по носимым мною письмам, то ли со слов Одилона, или же от него самого. Не думаю, чтобы он туда ходил больше пяти-шести раз за четыре-пять лет. А потом, когда ему уже не нужны были никакие сведения, он и совсем перестал видеться с Ле Кюзиа.

Поразительно, но всякий раз, когда г-н Пруст возвращался оттуда, об этом говорилось точно таким же тоном, как будто он побывал у графа де Бомона или графини Греффюль. Его интересовала только сама картина происходящего и ничего более. А когда я со своей откровенностью говорила, что не понимаю, как он может принимать Альбера и тем более ходить на Аркады, он отвечал:

— Да, конечно, Селеста. Вы даже не представляете, насколько это отупляет меня и как мне самому противно. Но ведь я могу писать только о том, что есть на самом деле, и мне нужно

это видеть.

Не могу забыть одну ночь, когда г-н Пруст возвратился после того самого зрелища, которое описал в своей книге. Он увлек меня к себе в комнату и, сидя на краешке кровати, стал рассказывать:

— Дорогая Селеста, то, что я увидел, просто невообразимо. Вы знаете, сегодня я ездил к Ле Кюзиа. Он предупредил, что у него будет человек, который хочет быть выпоротым. И я наблюдал эту сцену из соседней комнаты через отверстие в стене. Это нечто невероятное! Прежде у меня были какие-то сомнения, и хотелось убедиться самому. Этот человек — богатый промышленник, специально приехал сюда с севера. Представьте себе, его прицепили кандалами к стене, и какой-то грязный подонок стегал его кнутом до крови. Только так этот несчастный и мог получать удовольствие...

— Сударь, это невозможно, так не бывает!

— Нет, Селеста, я ничего не выдумал.

— Но как же вы могли смотреть?

— Только ради того, чего никогда сам не придумаешь. А когда я сказала ему, что Ле Кюзиа — просто чудовище, он ответил:

— Ах, Селеста, поверьте, я тоже не в восторге от него. Вы правы, его не назовешь добрым малым. Больше того, он мне противен. Зато сегодня я узнал кое-что новое.

— И вы много заплатили за это?

— Да, Селеста, но так нужно.

— Ах, сударь, когда вы говорите, что этот кошмарный тип попал в тюрьму, я думаю, хоть бы он там сгнил!

Г-н Пруст засмеялся.

— Дорогая Селеста, а ведь он совсем недавно с восторгом спрашивал меня, не вы ли так хорошо начищаете мой серебряный поднос. Он просто захлебывался от похвал вам.

— Мне совсем не нужны комплименты такого чудовища!

— Ладно, но стоит сказать еще об одной невероятной вещи про это, как вы говорите, чудовище. Он обожал свою мать и делал все, чтобы скрасить ее жизнь. Когда я узнал, что она умерла, то послал ему обыкновенное соболезнование. И, знаете, Селеста, в ответ он прислал мне длинное письмо, в котором говорил о ней самыми трогательными словами. Может быть, это лучшее из писем, какие только я читал в связи со смертью матери. Как видите, у него все-таки есть сердце даже при его мерзкой профессии. А если подумать, он все-таки несчастный человек.

Мы несколько часов говорили об этой кошмарной сцене я, совершенно раздавленная, и он, повторяя все, словно бы для того,

чтобы ничего не забыть и по своей обычной манере уже обдумывая, как все это напишется.

XVII
ОН ГОВОРИЛ СО МНОЙ О ПОЛИТИКЕ

Очарование разговоров было не только по ночам. Все начиналось уже после того, как он окончательно просыпался и выпивал свой кофе, мало-помалу входя в жизнь.

Раздавался первый звонок, и я несла ему вместе с круассаном, молоком и кофе почту, таков был устоявшийся ритуал. Он смотрел ее только после завтрака и разбирал конверты этими смешными, очень осторожными движениями, почти что кончиками пальцев, как и со всеми другими предметами, к которым прикасался. Рассматривая конверт, он словно старался угадать содержимое и открывал всегда сам, без ножа, а просто надрывал сбоку. Иногда, прежде чем читать письмо, откладывал его в сторону и брался за другие. Но все-таки он еще не вполне приходил в себя, и все происходило в полном молчании — без его сигнала говорить не полагалось. Однако по мере чтения он начинал оживляться.

Г-ну Прусту нравилось разбирать почту вместе со мной; он читал мне не все, но объяснял содержимое и останавливался на тех местах, которые забавляли его или казались наиболее интересными. Впрочем, случалось, он читал мне все послание от первой до последней строки — например, письма графа Робера де Монтескье; в них почти всегда была какая-нибудь фальшь, и он выделял ее голосом. Чтение сопровождалось и комментариями по отношению к самим авторам.

Я очень быстро научилась угадывать его реакцию уже по одной только манере чтения, еще до того, как он делал какое-нибудь замечание, и уже знала, идет ли речь, например, о приглашении, или же ему придется отвечать на чью-либо просьбу. Сам тон речи показывал ход мысли, позволяя понять, насколько интересно полученное письмо. Если дело касалось человека, даже хорошо знакомого, но которого он не хотел сейчас или даже вообще никогда видеть, я сразу же понимала, что писавший попал в черный список. И ни разу не ошиблась. Такой человек как бы испарялся из его памяти — не попадал уже в перечень телефонных звонков, ему не носили больше записок, и его имя не значилось на отправляемых по почте конвертах.

Потом он говорил мне о своих ответах, и это вполне подтверждало мои догадки.

— Я написал такому-то, что нам нужно встретиться.

Но он редко сразу же назначал день и час. Ему нужно было созреть — обдумать, увидятся ли они только вдвоем или будет еще кто-нибудь. В этом отношении г-н Пруст отличался большой осторожностью. Часто он спрашивал у меня:

— Дорогая Селеста, я хочу пригласить графиню де Ноайль вместе с Таким-то и Такой-то. Как вы думаете, это удобно? Ведь есть некоторые обстоятельства...

И он объяснял, как у них складываются отношения.

Читал он мне и отрывки из своих ответов, а иногда даже и все целиком — обычно это относилось к переписке с де Монтескье.

Г-н Пруст никогда не отвечал экспромтом, по непосредственному чувству или ради простого удовольствия. У него всегда была какая-нибудь цель: получить сведения, относящиеся к его разысканиям; повидать кого-то в связи со своими персонажами; встретиться с людьми, заинтересовавшимися его книгой, а может быть, даже и пробудить в ком-то интерес к ней.

Во всяком случае, и получение, и отправление почты всегда доставляло ему удовольствие. Надо было видеть, с каким наслаждением читал он мне письма де Монтескье и свои ответы!

— Слушайте внимательно, Селеста, я прочту вам одно важное место. За каждым словом вы почувствуете злобное дыхание нашего добряка. Он просто великолепен! — И г-н Пруст смеялся чуть ли не до слез.

Иногда, нетерпеливо перекладывая письма на постели, он обескуражено говорил: «Только подумать, я должен отвечать на все это, когда мне не хватает времени для книги!» Но на самом деле он обожал посылать письма. При этом говорилось:

— Все-таки на это мне придется ответить...

Одной из драм его конца было беспокойство и угрызения совести, связанные сослишком обширной корреспонденцией. Он часто вспоминал об этом, словно его преследовала какая-то навязчивая мысль:

— Вот увидите, Селеста, как только я умру, все начнут печатать мои письма. К сожалению, я слишком много написал, слишком много. Ведь при моей болезни не было другого средства общения. Но мне никак не следовало делать это. Впрочем, я приму свои меры. Да, надо добиться, чтобы никто не имел права публиковать мою корреспонденцию.

Г-н Пруст все время мучился этим. Однажды он возвратился очень подавленный после вечера, проведенного с драматургом Анри Бернстейном. У них зашла речь об этом деле, и Бернстейн

сказал ему, что здесь уже ничего не поделаешь. Советовался он и со своим другом, банкиром Орасом Финали, который не слишком обнадежил его. Наконец, г-н Пруст обратился к приятелю-адвокату и пришел от него совершенно уничтоженный

— Дорогая Селеста, этот человек сказал мне: «Бедный Марсель, ты понапрасну тратишь время, пытаясь воспрепятствовать подобным публикациям. Каждая написанная тобой буква есть собственность адресата. Он может делать с ней все что угодно». Какая неосторожность! А те, кто не станут печатать письма, просто продадут их. Я сам вложил в руки всех этих людей стрелы против себя!

Это было настоящей катастрофой, омрачившей его последние месяцы. И все же он продолжал писать и отвечать. Ведь на самом деле г-н Пруст видел все меньше и меньше людей, и почта оставалась для него едва ли не единственным средством общения. К концу жизни он как-то особенно боялся микробов в письмах, а принимая таких посетителей, в здоровье которых у него были сомнения, он, даже лежа в постели, надевал перчатки, чтобы не заразиться от рукопожатия. По чьему-то совету была куплена специальная машинка в виде длинной коробки, куда закладывались полученные письма. Он объяснял мне ее пользу и то, как она работает.

— Понимаете, Селеста, в моем состоянии достаточно письма от человека, болевшего скарлатиной, корью или какой-то другой заразой, чтобы я вмиг подхватил микробы. Уж лучше пусть все письма проходят через формоль.

После смерти г-на Пруста его брат очень удивлялся этой машинке, подтвердил ее пользу и забрал ее к себе.

Кроме писем, каждое утро он читал газеты. Нам приносили их из киоска напротив дома. Чтение газет входило в повседневный ритуал, он внимательно их просматривал. Как ни странно для столь чувствительного к запахам человека, свежая типографская краска как будто не беспокоила его. Правда, он иногда убирал или даже сбрасывал газеты с постели, но потом просил дать их снова. Возможно, причиной был не только запах, но, может быть, усталость.

Больше всего г-н Пруст читал «Фигаро», «Журналь де Деба», «Тан» и финансовую прессу, а также журналы: «Меркюр де Франс», «Ревю де Пари», «Нувель Ревю Франсез», «Иллюстрасьон» и еще немало других.

Он всегда был в курсе событий и знал все новости. Здесь, как и во всем другом, от него ничего не ускользало. Когда Жак Бизе покончил с собой, его мать, г-жа Строе, сразу же прислала ко мне одного из своих слуг, чтобы я спрятала «фигаро», где было

сообщение о смерти; г-н Пруст, как она считала, не должен был узнать об этом из газет. Я объяснила, что это невозможно — если бы «Фигаро» не оказалось, он все равно сразу же потребовал бы его.

Г-н Пруст следил буквально за всем: политикой, биржей, искусствами, литературой. Критическая статья о какой-нибудь книге могла вызвать у него желание познакомиться с автором, и тогда ради этого начинались всяческие эволюции.

Почти каждый день он рассказывал мне о главных событиях — «для вашего образования». Например, в «Фигаро» появились иллюстрации Форена, которые ему очень нравились, и он показывал и объяснял их, потому что я, конечно, не понимала содержавшихся там намеков. Точно так же было и с политическими статьями.

Помню, как во время войны он однажды сказал мне:

— Со всей этой цензурой осталась только одна приличная газета: «Журналь де Женев», да и то лишь потому, что она из нейтральной страны.

Г-н Пруст не любил крайностей. Например, читал монархическую «Аксьон Франсез» больше за ее превосходные литературные статьи Леона Доде, ставшего одним из вождей роялистов, и Шарля Морраса, которого очень уважал, но он отнюдь не разделял их политических взглядов, а про Леона Доде говорил:

— В его статьях какой-то бешеный талант. Жаль, что он во всем так сумасброден и всегда перехлестывает через край. Удивляюсь, как правительство пропускает его статьи. Знаете, после того, как милейший Леон женился на своей Жанне, которая происходит прямо от Виктора Гюго, у «Аксьон Франсез» были большие неприятности с Ватиканом, и тогда он стал яростным антиклерикалистом. Семья невесты требовала церковного брака, и ему взбрело в голову просить мэра, чтобы тот переоделся священником!

Однажды я отправилась с запиской г-на Пруста к Леону Доде и, когда мне сказали, что его еще нет, решила подождать перед домом на улице. Он приехал на автомобиле, но, завидев меня, остановился не у подъезда, а значительно дальше; потом они развернулись и на большой скорости, чуть ли не прижимаясь к стенам, возвратились назад. Я вошла после него и, наконец, была принята с извинениями, что он не узнал меня: «Знаете, сейчас такое беспокойное время...»

— Бедная Селеста, вы показались ему подозрительной личностью, ведь он убежден, что его хотят убрать, — сказал мне после этого г-н Пруст.

Но, по его же словам, недавно была убита женщина из «Аксьон Франсез».

Не меньше восхищался он умом и добротой другого приятеля своей молодости — Леона Блюма, одного из столпов социалистической партии, хотя о его статьях никогда не было сказано ни слова. И его просто потрясло убийство Жана Жореса:

— Это был великий и отважный человек... Только он мог бы не допустить этой идиотской войны.

Г-н Пруст совсем не одобрял войну 1914 года, хотя, конечно, и желал нашей победы. Он часто говорил мне о том, как сожалеет, что Франция и Германия дошли до этого. По его мнению, для обеих стран было бы естественнее сближение друг с другом.

— Если бы Франция и Германия договориться, Европе был бы обеспечен мир на столетия.

Он ненавидел Вильгельма II, но говорил, что и мы сами тоже хотели этого. Как-то раз он сравнил Францию и Германию по их отношению к выдающимся людям.

— Видите ли, Селеста, у нас не заботятся ни об ученых, ни о художниках, только что не дают им умереть от голода. Зато если Вильгельму говорят о талантливом ученом или писателе, у него хватает ума создать ему пристойные условия. Посмотрите на нашего несчастного Бранли, а ведь это настоящий гений... Он бьется в нищете, не получая ни одного су для своей лаборатории. Не знаю уж, и почему я сам не напишу обращение, чтобы собрали для него средства!

И еще об отношениях Франции и Германии. Ему очень нравилась фраза, которую он вычитал из «Мергаор де Франс» и часто повторял: «От Франции мне нужны не любезности, а крепкое пожатие руки» — кажется, это сказал Вильгельм II.

— Вот увидите, Селеста, это еще придет.

Из французских государственных деятелей он ценил Жор жа Клемансо за энергию, Аристида Бриана за красноречие и Жозефа Кайо за компетентность. Когда г-жа Кайо застрелила из револьвера директора «Фигаро» Кальметта после того, как он хотел опубликовать письма ее мужа к другой женщине, г-н Пруст сказал мне:

— Уж не знаю, почему она сделала это, из любви или по собственным амбициям, но добилась лишь его ухода, а это настоящая катастрофа.

После таких разговоров я иногда говорила ему:

— Как жаль, сударь, при вашей остроте и тонкости из вас получился бы несравненный посланник или министр! Уж вы-то сумели бы распорядиться своим портфелем!

Мои похвалы всегда доставляли ему явное удовольствие, но в ответ он только посмеивался...

И он очень проявился в деле Дрейфуса. Кто бы мог подумать, что этот казавшийся боязливым и отстраненным человек бросится в самый водоворот борьбы и будет ходить на все заседания суда. Он превозносил до небес отвагу Эмиля Золя и всех защитников Дрейфуса.

Как всегда, он сразу же все понял и больше всего возмущался ложью и несправедливостью обвинения и приговора.

— Это было ужасно, вся Франция разделилась надвое. С одной стороны огромное большинство тех, кто хотел поверить лжи, с другой — кучка боровшихся за него. Г-жа Строе, например, тоже была на стороне Дрейфуса. Я перессорился с не которыми из приятелей. Даже папа был антидрейфусаром, и я чуть ли не целую не делю не разговаривал с ним.

Но г-н Пруст никогда не говорил мне, как к этому относилась его мать, ведь она была еврейка. Впрочем, я не думаю, что в деле Дрейфуса заговорила его еврейская кровь. Все было лишь в столь присущей любви к справедливости.

Да и сам он без особой нежности говорил о некоторого рода евреях:

— Приходилось ли вам бывать в Марэ, в квартале еврейских торговцев?

— Нет, сударь.

— Тем лучше для вас, Селеста, вы избежали безобразного зрелища человеческой низости, хотя, с другой стороны, это было бы хорошим уроком. К счастью, они не все такие; ведь не только у евреев процветают подобные пороки. Но эти торговцы!.. Не удивительно, что Христос прогнал их из храма!

Мне кажется, оказавшись между двух религий, он не захотел выбирать одну из них. Однако в детстве его сильно поразило, что дед с материнской стороны, биржевой маклер Натан Вейль, каждый год посещал великопостные проповеди в соборе Парижской Богоматери.

— И знаете, что он мне говорил, Селеста?.. «Они намного выше нас». Это произносилось за столом в присутствии папа, матушки и всех других.

Мы редко и мало говорили о религии. Мне не приходилось слышать, чтобы он выступал против какой-нибудь веры. Только один раз сказал, что абсолютно осуждает отделение церкви от государства и даже написал в 1904 году статью для «Фигаро» по этому поводу: «Смерть соборов». Его больше всего возмущало то, что гибнет красота церквей Франции, осужденных на медленное умирание.

И все-таки, верил ли он в Бога? Г-н Пруст никогда не посвящал меня в это, оставив только два вопросительных знака, ответ на которые унес с собой в могилу.

Не буду даже упоминать о ежегодных мессах, которые он заказывал для тех или других — в память об умерших, об Агостинелли или даже моих родных. Это были, конечно, всего лишь знаки внимания, он просто пользовался общепринятыми обычаями. Но стоит упомянуть его неоднократное и еще задолго до смерти выраженное желание, чтобы заупокойные молитвы для него читал аббат Мюнье, хотя это так и не осуществилось, как я уже рассказывала. Во-вторых, история с четками Люси Фор, младшей дочери президента Феликса Фора, на которой его когда-то хотели женить.

Он так и оставался с ней в дружеских отношениях и после того, как она вышла за Баррера, посланника при Святом Престоле. Она была очень набожна и привезла ему после своего паломничества в Иерусалим четки. Однажды, вспоминая прошлое, он велел достать из комода сувениры, перебирал их, а потом сказал:

— Посмотрите, на кресте гравировка: «Иерусалим». Как бы я хотел туда поехать! Но все-таки у меня есть эти прелестные четки. И знаете что, Селеста? Когда-нибудь вам придется закрыть мне глаза... Да, да, вашими милыми ручками. И я хочу, чтобы вы обвязали мои пальцы вот этими четками. Обещайте мне!

Вопреки всем рассказам, это было задолго до конца, еще во время войны 1914 года, а потом повторялось множество раз за все наши восемь лет. И не то чтобы ему хотелось взять с собой в могилу память о Люси Фор — он всегда говорил, что не любил ее. Так что же тогда?

Я хорошо знала г-на Пруста — если он ничего не говорил, значит, считал, что дело касается только его одного. Единственным намеком может служить, пожалуй, уже упоминавшаяся мною фраза о встрече в долине Иосафата, когда я спросила его: «А вы, сударь, верите в это?»

— Не знаю, Селеста.

И не мое дело пытаться выводить отсюда какие-то заключения.

XVIII
НЕДОВЕРЧИВЫЙ ТИРАН

В конце концов, не так уж и многое в нем осталось для меня непонятным, что я так и не узнала от него самого. Постоянно наблюдая за ним и слушая его, я подсознательно переняла от г-на Пруста и проницательность, и способность здраво судить обо всем. У нас установилось своего рода взаимопонимание, благодаря которому я предугадывала его желания и даже мысли. Иногда он удивлялся:

— Дорогая Селеста, как вы угадали, что я хотел попросить у вас рубашку?

Я как бы читала малейшие изменения его лица и едва уловимые жесты. Может быть, именно потому, что нисколько не держалась за место и никогда не считала свою жизнь при нем службой или зависимостью. Да и он относился ко мне совсем не как к прислуге. Возможно, он почти сразу понял, насколько я была очарована им, и между нами установилось удивительное согласие.

Ведь кто бы остался у него только ради денег или спокойной жизни? Фелиция ушла, Селина рано или поздно сделала бы то же самое, даже Никола, самый преданный, не стал бы заниматься некоторыми вещами. Правда, г-н Пруст этого от них и не требовал. А мне даже говорить было не надо, и уж во всяком случае он знал, что все его желания будут с готовностью исполнены. Когда я по ночам ожидала его, прислушиваясь к двери лифта, то совсем не по обязанности, а единственно ради удовольствия встретить его и слушать его рассказы. Он благодарил меня, но, думаю, нисколько не удивлялся, поскольку прекрасно понимал мое отношение к нему.

Однажды, уже после смерти г-на Пруста, его племянница Сюзи, ставшая госпожой Мант, спросила меня:

— Наверно, жить с ним было не так-то легко?

— Для меня очень легко. Каким бы тираном он ни был, в конце концов, привлекало даже это, особенно после того, как становились понятны все причины.

Но и в своем тиранстве он был очень мил. Казалось почти невозможным всегда угождать ему. Он требовал все тут же и немедленно. Даже с Одилоном, которого он не подчинил себе так, как меня. Если г-н Пруст заказывал такси, муж должен был подъехать еще до того, как он спускался, а потом уже не отпускал его; возвратившись домой, просил подождать еще некоторое

время на случай, если ему захочется выйти еще раз. Или вдруг в два часа ночи у него возникало желание выпить холодного пива, за которым надо было ехать в уже закрывшийся «Риц». Как только я запирала за ним дверь, он уже не возвращался взять что-либо забытое — все было заранее предусмотрено до последней мелочи. После его ухода для меня раздавался сигнал боевой тревоги — я должна была убрать квартиру и все приготовить к тому моменту, когда он возвратится. Если я уходила часов в восемь или девять утра, то редко без целого списка поручений, которые требовалось исполнить еще до его вечернего выхода — отнести письма, позвонить по телефону, заказать столик или кабинет в «Рице»... А как только он начинал входить в день, начиналась, кроме кофе и приготовления одежды, обычная серия мельчайших скрупулезностей. Одевшись, он звал меня, все еще обтирал лицо салфетками:

— А сколько уже времени, Селеста? Вы помните, что нужно позвонить? И еще отнести записки, сразу же как только я уйду? Не представляю, когда вернусь; надеюсь, все будет сделано? И, конечно, уберите мою комнату, не забудьте только проветрить.

Или:

— Ну что ж, Селеста, вот какое дело... Я не хотел выходить, но мне кажется, было бы неплохо повидаться с княгиней Сузо. Нужно позвонить и узнать, могу ли я приехать. Как вы думаете? Но все-таки я очень устал.

— Сударь, если вы хотите, я иду звонить.

— Да, конечно, но побыстрее, пожалуйста. Вы успеете нагреть белье и вызвать парикмахера? Надо еще заказать такси, часам к... подождите, я сейчас соображу...

Он высчитывал время для ножной ванны, согревания белья, одеванья, бритья и потом точно называл мне час. И я бежала во весь опор.

Даже как будто доверяя, он не переставал во всем сомневаться и наблюдать, а время от времени устраивал настоящие проверки.

Но это недоверие относилось лишь к тому, что ему было интересно. Деньги, например, совершенно не волновали его. Из наследства родителей и двоюродного деда Луи г-н Пруст получил вполне достаточно, чтобы не стеснять себя в своих желаниях. Тем не менее, он весьма скрупулезно относился к ведению денежных дел — по его словам, это было у него от матери.

Каждое утро он читал в газетах те страницы, где писали о финансах, а вечером только ради этого покупались «Ле Деба», «Ле Тан» и биржевые бюллетени. После возвращения Одилона с войны г-н Пруст часто задерживал его допоздна, чтобы

поговорить о курсе акций. Он очень ценил здравомыслие моего мужа и даже давал ему советы, а одно время настойчиво рекомендовал покупать акции «Шелл», предсказывая их повышение, что и оправдалось на самом деле. У него был счет в «Креди Индустриель», и он пользовался услугами финансового советника, Лионеля Озера, жившего в районе Обсерватории. Но он никогда с ним не встречался, а только писал письма. Даже если и правда, что он многим говорил о своем «разорении», тем не менее я никогда не видела, чтобы ему не хватало денег, кроме как в Кабуре, когда банки бежали в Бордо. Думаю, что все его жалобы были лишь еще одной уловкой для оправдания своего уединения и отдаления от светской жизни. Только один раз он потерял большую по тем временам сумму — тысячу восемьсот франков, — играя на бирже. Это случилось еще до войны, и было отчего разволноваться. Именно по этому поводу он вспоминал:

— Папа предсказывал, что я умру на соломе; кажется, он был прав.

Все-таки г-н Пруст лишь подсмеивался над этими словами, а мне никогда не говорил, что «разорился». Но он был очень зол на того банкира, который втравил его в эту биржевую аферу:

— Просто поразительный кретин, я так и сказал ему.

Но, полагаю, это было сказано в письме. Точно так же, если он за три года до смерти и продал часть мебели, то отнюдь не из-за стесненных обстоятельств, а просто не знал, что делать со всеми этими вещами, когда мы уезжали с бульвара Османн. Более того, он даже хотел отдать вырученные деньги своей старинной приятельнице госпоже Шейкевич, чтобы помочь ей в трудную минуту.

Но, конечно, г-н Пруст заботился о состоянии своих финансов, не желая оказаться в один прекрасный день без средств, не более того. Однако как именно тратились деньги, его совершенно не интересовало. Одилон, к примеру, записывал все поездки у себя в книжечке, но никогда сам не предъявлял ее — просто г-н Пруст время от времени спрашивал его о накопившейся сумме, чтобы рассчитаться с ним, не задавая лишних вопросов.

Мне он иногда не платил по три-четыре месяца мои сто франков — тысячу с чем-то на нынешние деньги. Из них я еще оплачивала расходы по дому, которые, конечно, возмещались при представлении счетов. Впрочем, сам счета он никогда не проверял, а сантимы всегда округлял до франков.

Только один раз он заметил:

— Вы не находите, Селеста, что кофе с молоком — это дорогое удовольствие?

Поскольку я ставила в счета скорее меньше истраченного, чем больше, то и ответила ему:

— Вы хотите сказать, сударь, что я записывала то, чего не покупала?

— Ну-ну, Селеста, это просто шутка.

Очевидно, его интересовала моя реакция. Но больше ничего подобного не повторялось.

В самом начале, когда я только обучалась — а ведь он постепенно, мало-помалу, приучал меня к своим вкусам и потребностям, — устраивалось нечто вроде внезапных проверок.

Однажды — редкий случай — он входит в кухню, а я как раз кончала мыть кофейную посуду и уже вытирала чашку великолепной кухонной салфеткой. Видя это, он говорит:

— Дорогая Селеста, зачем вам эта салфетка? Ведь вода из крана чище.

— Сударь, салфетка чистейшая, прямо от прачки. А что, по-вашему, я должна делать? Подавать вам мокрую чашку?

— Хорошо, хорошо.

И он повернулся, не сказав больше ни слова.

В другой раз, собирая посуду на поднос, я взяла стакан, захватив его пальцами изнутри.

— Селеста, нельзя так брать даже грязные стаканы.

Я вся покраснела и извинилась. Слышали бы вы, как строго он это сказал! Но зато потом, всякий раз видя у кого-нибудь такой жест, я испытывала неприятное чувство.

Теперь о простынях. Он никогда не спал на одних и тех же по два раза. В самом начале он наставлял меня:

— Когда я ухожу, пожалуйста, не забывайте открывать окна для проветривания.

В зависимости от погоды и сезона для этого всегда оговаривалась продолжительность. Возвратившись, он спрашивал:

— Все сделано, Селеста?

— Да, сударь, я открывала окна, как вы мне сказали.

— Знаю, я проезжал мимо и видел, что они уже закрыты. Значит, он специально приезжал на такси для проверки.

Как-то раз я ему сказала:

— Сударь, насколько я понимаю, доверие прекрасно сочетается с надзором. Он улыбнулся и ничего не ответил. Если г-н Пруст хотел досадить или обидеть, это было ужасно. Он не тратил много слов, но каждое уязвляло и обижало. Помню, ему что-то немедленно понадобилось, и я ответила:

— Сударь, это невозможно.

— Дорогая Селеста, такого слова просто не существует.

— И тем не менее меня учили ему, сударь.

— Это неправильно, вы должны усвоить, что «невозможно» — не французское выражение.

Однажды, совершив оплошность, я воскликнула:

— Ах, черт побери! Он строго посмотрел на меня:

— Селеста, вы забываетесь. И это уже больше не повторялось.

В другой раз у меня оказался слишком большой список Дел, и я забыла об одном поручении. Поскольку он следил буквально за всем, то сразу же сделал мне замечание. Рассердившись, я сказала ему:

— Сударь, я просто в отчаянии, простите меня, но у меня не такая память, как у вас, я забыла.

— Дорогая Селеста, вы постоянно твердите, будто делаете все, чтобы угодить мне. Так вот, если делают с желанием, тогда ничего не забывают. Поймите, память, как и все остальное, можно развивать.

Меня так обидел его тон, что за всю последующую жизнь у него я ничего не забывала. И он так быстро приучил меня ко всему, что уже не приходилось делать мне упреки. Это стало гордостью моей жизни.

Но больше всего тиранство и недоверие касались телефона и записок; при его занятиях в этом заключалась вся жизнь, потому что от них зависели его выходы, необходимые для его работы, и вообще вся связь с внешним миром.

Когда я появилась на бульваре Османн, то не имела ни малейшего представления ни о телефоне, ни о том, как с ним обращаться. В квартире было несколько устройств с маленькими рычажками для переключения разговоров в ту или другую комнату и даже ответвление к консьержу, которое позволяло ему в течение дня принимать сообщения, а потом, когда просыпался г-н Пруст, передавать их наверх. Он научил меня пользоваться всем этим: сначала звонить самой, а потом и выслушивать звонки. Однажды вечером, уже проснувшись, он велел переключить рычажок в его комнате, дал мне нужный номер и сказал:

— Пожалуйста, возьмите аппарат и говорите.

Он стоял за моей спиной, а я дрожала как лист. Мое «Алло!» было столь невнятным, что г-н Пруст выхватил у меня трубку и стал говорить сам. Закончив, он повернулся ко мне:

— Вам нечего бояться, Селеста. Это очень просто. Вообразите, что разговариваете с кем-нибудь. Поняли? Теперь делайте, как я.

После этого он прочитал мне целый курс лекций о том, что

нужно говорить: «Я имею честь разговаривать с г-ном графом де... г-ном X.? Или с госпожой Y.? И, конечно, при соответственных титулах, которые мне были указаны заранее. Мало-помалу и довольно быстро я освоилась со всем этим, несмотря на сохранявшийся еще страх. И скоро уже наизусть знала имена и номера телефонов всех близких знакомых г-на Пруста. Для этого я старалась тренировать свою память, как на то мне было указано в столь резкой форме. Кроме того, я вырезала небольшую картонку и записала всех друзей, чтобы проверять себя на случай сомнений. Когда надо было идти звонить в кафе на угол улиц Пепиньер и Анжу, я для большей уверенности справлялась по списку, чтобы не случилось каких-либо задержек. Г-н Пруст совершенно не переносил ожидания, да и сама я любила делать все быстро.

Поначалу он заставлял меня повторять сообщения, но скоро это стало ненужным. Я превратилась чуть ли не в магнитофон, и люди обманывались: «Алло! Это вы, Марсель? Как приятно!» Одна из его приятельниц даже упрекала его за то, что он позволял мне подделываться под его голос. Но, конечно, это происходило совершенно бессознательно. В некотором смысле этот голос всегда звучал внутри меня. Он передавал мне, что говорили его знакомые по этому поводу, и смеялся, как удачной шутке. Некоторые сердились, им не нравилось разговаривать не лично с ним самим: «Селеста, всегда эта Селеста! Каждый раз надо договариваться через эту вашу Селесту!» Для них он ссылался на свою болезнь, но от меня не скрывал, что это его забавляет. Впрочем, в большинстве случаев со мной разговаривали очень любезно, как и при разноске писем. Почти все обожали г-на Пруста, и даже одно слово от него казалось манной небесной, пусть хоть и через кого-то другого.

Удостоверившись, что на меня можно положиться и в телефонных звонках, он как бы невзначай все-таки не переставал устраивать проверки. Сидим как-то в его комнате и болтаем о том, о сем. Он увлечен беседой, но вдруг замолкает, словно погружаясь в глубокое раздумье; потом столь же неожиданное пробуждение, за которым следует вопрос:

— Послушайте, Селеста, пока я еще не занялся делами, вы можете повторить ответ на мою записку?

Или:

— Дорогая Селеста, недавно мы говорили об одном предмете...

— О чем именно, сударь?

— Помните, я просил вас позвонить в «Галлимар», кажется, госпоже Лемарье... или г-ну Троншу?..

— Это была г-жа Лемарье, сударь.

— Ах, да, действительно так. Но сейчас я как-то не припомню, что вы должны были сказать ей. Вам не трудно повторить ее ответ?

При этом он не смотрел на меня — в разговоре редкий для него случай. Когда я ответила, г-н Пруст повернулся ко мне и сказал с милой улыбкой:

— Благодарю вас, именно так. И простите эту просьбу, я устал и ничего не мог толком вспомнить.

Но я точно знала, в чем дело. При всем доверии ко мне у него возникло подозрение. И он не успокоился до тех пор, пока я не повторила ему свой выученный урок.

Даже сегодня меня удивляет то, как непринужденно я с ним разговаривала, даже сама не осознавая этого, и, полностью подчиняясь ему, делала это по собственной воле, даже ради удовольствия. Поэтому и держалась совершенно естественно, ведь я слишком любила его, чтобы по-настоящему бояться.

На экземпляре «Пародий» он написал мне: «Королеве пародии... меньше властности, больше величия и мягкости...» Зато на подаренной фотографии наоборот: «Селесте от ненавистного тирана» или еще: «Селесте с любовью от старого Марселя».

Я говорила только то, что думала, больше ничего, и всегда знала свое место. В разговоре меня иногда увлекало негодование — как, например, по отношению к Ле Кюзиа. Он видел, что меня понесло, и говорил, имея в виду дом моих родителей:

— А-а, опять вода на вашу мельницу.

Когда я расстраивалась из-за его недовольства кофе или компотом, он старался сгладить неприятность:

— Дорогая Селеста, не принимайте слишком близко к сердцу. Я ведь только сказал, что, *по-моему,* это отрава, а *на самом деле* может быть совсем не так.

Видя, что я не одобряю его, то ли за чрезмерное переутомление или же за отношения с недостойным его человеком, г-н Пруст внимательно смотрел на меня прищуренным взглядом и прекращал разговор:

— Дайте мне хоть немного отдохнуть, Селеста, прошу вас.

— Хорошо, сударь, я только скажу и сразу уйду.

— Дорогая Селеста, мне нужно побыть одному, я устал. Уходя, я чувствовала, что он боится впасть в раздражительное состояние или сказать мне какую-нибудь неприятность, но через какое-то время он все равно позовет меня, когда кончит свои занятия. Или возвратится из гостей и скажет:

— Я сильно устал и не хотел ничего говорить, но все-таки

нужно разобраться в этом деле.

И если уж он решит, что я не права (а мне ведь тоже не хотелось уступать), то за один раз нам не удавалось договориться, и он мог возвращаться к разговору два или три дня подряд, заканчивая одним и тем же: «Я устал, оставьте меня». Всегда как в его книгах: возвращение и еще раз возвращение к одному и тому же, всякий раз без объяснения, но в этом процессе постепенного продвижения суть дела каким-то образом, в конце концов, прояснялась, и, конечно же, хотя все как будто бы говорило против него, он, тем не менее, каким-то непостижимым образом всегда оказывался прав.

Однако г-н Пруст никогда демонстративно не подчеркивал свою победу, никогда не говорил: «Вот видите, Селеста, вы ошибались». Просто у него была такая особенная привычка — закрывать глаза, словно знак окончательного приговора, и после этого нежный взгляд, как бы в благодарность за понимание. Так же он закрывал глаза, когда его хвалили, если похвала казалась ему искренней.

В любом случае нельзя было не прощать ему. Его недоверчивость объяснялась только стремлением к совершенству или заботой о своем здоровье — ведь он всегда чувствовал себя на грани приступа. А тиранство было связано с требованиями времени и работы.

Иногда он поддразнивал меня:

— Очень странно, Селеста, все говорят мне: «Как вам повезло, Марсель, иметь рядом такую приятную женщину!» Боже, если бы они только знали! Любой бурный водопад ничто по сравнению с вами.

Но тут же смягчался:

— Все мои друзья знают о вас, я им все рассказывал. И очень хорошо к вам относятся. Вот увидите...

Действительно, когда я носила письма, меня неизменно встречали с теплотой и предупредительностью, не как простого посыльного, а вспоминая о всем том хорошем, что рассказывал про меня г-н Пруст. Со мной разговаривали и о нем, и обо мне самой. Случалось, некоторые из его друзей даже приходили на кухню поболтать со мной минутку-другую.

Когда он посылал меня куда-нибудь, я, зная, как долго тянется для него ожидание, торопилась и никогда не отвлекалась в сторону, а возвратившись, сразу же докладывала ему. Завидев меня, он говорил:

— Боже, вы уже вернулись, Селеста? Как вы проворны! Ну, так что...

Помню, как однажды он уже совсем собрался идти в гости, но

вдруг передумал, и мне надо было сообщить об этом. Я бегом спустилась в кафе, но ему так не терпелось, что впервые за все эти годы он вышел на балкон. Тогда у нас жила моя сестра Мари. Она пошла вслед за ним и показала вниз на улицу:

— А вот и Селеста уже возвращается.

— Не может быть, так быстро!

Когда я, задыхающаяся, вернулась, его лицо сияло от удовольствия и благодарности.

— Вы только посмотрите, Мари! Она не ходит, а летает! И его неповторимая улыбка более чем вознаградила мои старания. Случалось, когда я входила к нему после полудня с кофе, он вдруг говорил:

— Бог мой, как вы сегодня красивы, Селеста!

— Вы шутите, сударь.

— Совсем нет. Вы похожи на леди Грей. И он объяснил, что речь идет о знаменитой английской красавице. Как мне рассказывали, то же самое г-н Пруст говорил и своим знакомым.

Помню еще, что к свадьбе моей племянницы я сшила себе желтое шелковое платье с черными кружевами и купила для него по совету г-на Пруста боа. Кроме того, был сооружен капор на желтой, как у платья, подкладке и с черным верхом, отделанным перьями. Узнав об этом г-н Пруст сказал:

— Главное, не забудьте показаться мне, когда наденете это платье. Он заставил меня повернуться во все стороны и похвалил:

— Вы очень хороши, дорогая Селеста, и у вас превосходный вкус.

Если у меня бывали какие-то неприятности, я не хотела показывать, но все равно скрыть это никак не удавалось. Он сразу же спрашивал:

— Селеста, что с вами сегодня?

— Ничего, сударь.

— Да нет же, вы чем-то озабочены.

— Клянусь, совсем ничего.

— Ладно, ладно, я знаю. Вы беспокоитесь о здоровье мужа. Не волнуйтесь, я с ним поговорю.

Микроскоп его наблюдательности действовал безупречно и беспрерывно. Он никогда не ошибался и каждый раз находил нужное слово успокоения.

— Ах, сударь, — говорила я ему, — если бы все тираны были такими же, мир стал бы райской обителью.

XIX
ДРУЗЬЯ БЕЗ ДРУЖБЫ

Уже после смерти г-на Пруста в одной статье князя Антуана Бибеско, его стародавнего приятеля, было сказано, что он любил во всем мире только двоих: свою мать и меня. Касательно матери это, несомненно, истинная правда, и, если судить по тому, что мне приходилось слышать, я могу без ложной скромности утверждать, что вполне возможно и по отношению ко мне. Кроме того, князь Бибеско сомневается в способности г-на Пруста к сильным и глубоким дружеским чувствам к кому-нибудь. И здесь мое мнение тоже близко к этому.

Я не припоминаю, чтобы у нас были разговоры о дружбе вообще. Теперь, глядя на его жизнь и дела, думаю, что г-н Пруст преднамеренно хотел создать у многих впечатление своего дружеского отношения, хотя на самом деле — и это всегда поражало меня — он с величайшей легкостью мог обойтись без них.

Конечно, я видела, как он оплакивал некоторые смерти, и слышала его слова: «Мой друг, мои друзья». И все же... То, как он вспоминал и судил о тех, с кем был близок на протяжении долгих лет, даже в самом тоне его слов, чувствовались скорее просто жизненные отношения, чем дружба.

Очень часто он говорил мне, получив письмо:

— Это от Такого-то. Он хочет приехать. Если я проснусь и не буду занят работой, может быть, и приму его.

И сколько раз это «может быть» не осуществлялось:

— Скажите, что я никак не могу, я слишком утомлен.

И тем не менее такой визитер числился в друзьях. Одному Богу известно, чего бы только все не сделали, чтобы повидаться с ним — даже соглашались на его время: десять-одиннадцать часов вечера, час ночи.

Это уже не говоря о толпе всех тех, кто при его жизни считали себя его друзьями, а после его смерти громко об этом заявляли, хотя были нужны ему всего лишь как кусочки персонажей для его романа или же по какому-то делу, а может быть, лишь случайно пробудили его любопытство.

Да, в этом отношении многие обманывались. И при этом не только вводили в заблуждение всех окружающих, но и сами попадали в ловушку его обаяния и вежливости. Если бы они только услышали наши разговоры во время ночных бдений или увидели хотя бы выражение его глаз, то воздержались бы от своих

фантазий о дружбе с ним.

Кроме тех знакомств, которые возникли у него после публикации книг, оставалось лишь несколько приятелей прежних времен, хотя многих уже не было на свете, как Гастона де Кэллаве (о котором он вспоминал, рассказывая о Жанне Пуке) или Бертрана де Фенелона, погибшего на фронте — в тот день, когда сообщили о его смерти, он превозносил его храбрость и прямоту характера.

Среди прежних близких связей, оставшихся до самого конца, следует упомянуть и г-жу Строе. Осмелюсь предположить, что она была, быть может, единственной, к кому он сохранил до самой смерти ту привязанность, которая ближе всего походила на дружеские чувства. Но это не помешало ему полностью отстраниться от ее сына Жака Бизе, долгое время, еще с эпохи лицея Кондорсе, остававшегося его товарищем. В мою бытность, начиная с 1913 года, они уже не виделись и не переписывались.

Из других старых знакомств можно назвать герцога д'Альбуферу, герцога де Гиша, графа Робера де Билли, Люсьена Доде, князей Антуана и Эммануэля Бибеско, Фредерика де Мадразо и Рейнальдо Ана. Все это была «старая гвардия» из кружка улицы Ройяль и светских салонов ушедшей уже эпохи.

Один характерный признак: собирая свои воспоминания, я не могу припомнить ни одного случая, чтобы г-н Пруст обратился на «ты» к кому-нибудь из них, несмотря на какую близость, даже к Рейнальдо Ану, с которым был тесно связан целых двадцать пять лет.

Я не знала герцога д'Альбуферу, его не принимали. Г-н Пруст виделся с ним у общих знакомых, где он бывал с Луизой де Морнан. Он говорил о нем:

— Ум герцога не выше способностей мадемуазель де Морнан. Ах, если бы они оба были одарены талантами, как он деньгами!..

Помню, во время войны я видела у нас на бульваре Османн герцога де Гиша. Находясь в отпуске, он явился к нам в форме капитана. Г-н Пруст любил его за хорошие манеры и ум.

Одним из самых частых посетителей был граф де Билли. Сначала он служил в дипломатическом ведомстве и был доверху напичкан всяческими интересными историями. Отличаясь незаурядным умом, он бесконечно восхищался книгами г-на Пруста, о которых судил, по словам самого автора, с удивительной тонкостью. Его визиты длились три, четыре, пять часов, нередко далеко за полночь. Он сохранился у меня в памяти сидящим на стуле возле постели г-на Пруста. Глядя на него, было ясно видно, насколько ушло вперед время. Толстый и

постаревший в пятьдесят лет, он являл собой разительный контраст рядом с г-ном Прустом, который все еще выглядел на тридцать. Обычно г-н де Билли пребывал за границей при посольстве, но, приезжая в Париж, всякий раз непременно являлся к нам. Я никогда не присутствовала при их разговорах, кроме тех случаев, когда они мне звонили, и тогда видела обоих очень оживленными и довольными. Г-н Пруст всегда повторял мне, что граф — человек «одержимый».

Довольно часто приходил Люсьен Доде, которого г-н Пруст предпочитал его брату Леону, политику. Он отличался удивительным пониманием, восхищавшим и привязывавшим к нему г-на Пруста. Пожалуй, он был одним из очень немногих, кого г-н Пруст любил просто как человека, не связывая его с какой-то пользой для своей книги. Но, с другой стороны, он и не представлял из себя ничего особенно выдающегося.

От прежней жизни, кроме г-жи Строе и Робера де Билли, у него оставались только братья Бибеско, Фредерик де Мадразо и Рейнальдо Ан, с которым он охотнее всего виделся и которого любил больше всех, если, конечно, слово «любить» вообще применимо к г-ну Прусту. Несомненно одно — он сохранял в отношениях в ним неизменную верность, хотя и не питал каких-то особенных иллюзий. Думаю, что, понимая не только чужие души, но и самого себя, он следовал лишь жизненной необходимости.

Все же г-н Пруст очень любил обоих братьев Бибеско и особенно уважал старшего, Эммануэля. Он говорил мне:

— Селеста, вы должны прочесть роман Достоевского «Братья Карамазовы» и тогда увидите — это братья Бибеско.

И еще рассказывал мне:

— Из них двоих самый умный, конечно, Эммануэль. Антуан хотя и сумасброден, но очень мил. Зато у его брата есть редкое качество привязываться к людям. Конечно, это обременительно для него, но он взял на себя все финансовые дела и управление земельными владениями в Румынии, чтобы избавить Антуана от всех забот, которые могли бы мешать его блестящей жизни.

Антуан вступил в дипломатическую жизнь под именем графа де Билли. При мне, уже во время войны, он находился в Лондоне в посольстве Румынии, воевавшей на нашей стороне. Появляясь в Париже, он каждый раз — и после войны тоже — сразу же сообщал об этом г-ну Прусту. Его приходы были каким-то вихрем. Я встречаю его, и он в шутку заявляет:

— А знаете, Селеста, я вас люблю!

— Ах, князь, вы все такой же шутник!

— Да нет же, Селеста, я и вправду люблю вас!

Г-н Пруст смеялся, но все-таки сказал:

— Ведите себя прилично, Антуан, вы смешны. Селеста не любит этого, оставьте ее в покое.

Через некоторое время он опять зашел к нам, на этот раз со своей невестой. Г-н Пруст был в постели, и, резонно полагая, что он не примет девушку, князь попросил ее подождать на площадке и спросил меня:

— Я могу пройти в комнату?

— Мне надо спросить. Я пошла к г-ну Прусту, а князь, взяв свою невесту на руки, как куклу понес ее вслед за мной. Только он мог позволить себе подобную выходку, зная, насколько ужасна была для г-на Пруста одна только мысль, что его может увидеть в постели женщина (кроме меня, конечно). Он был страшно смущен.

— Вот видите, Селеста, я же говорил вам, что князь сумасшедший!

Но вихрь продолжался, и молодая особа вдруг обнаружила пропажу своей сумочки, которую стали повсюду искать, но в конце концов решили, что она оставила ее в такси.

Князь Антуан был замечательным рассказчиком, и из него всегда так и сыпались сплетни об отношениях великосветских салонов с миром литературы.

— Отчасти он похож на консьержа, — говорил г-н Пруст, — хотя его рассказы более или менее правдивы. И как он забавен!

К несчастью, его фаворит, Эммануэль, трагически погиб — он повесился в номере лондонского «Рица» от страха перед угрожавшим ему параличом. Никогда не забуду его последний визит в 1917 году вместе с князем Антуаном. Он сидел в такси, а брат пошел предупредить г-на Пруста, который спустился к нему. Возвратившись, г-н Пруст рассказывал:

— Селеста, я сейчас видел нечто ужасное, хотя в то же время это замечательный пример братской любви. Эммануэль сидел, забившись в самый угол, в полумраке; я сказал, что сяду напротив на откидное место, но Антуан возразил: «Нет, нет, это для меня, а вы, Марсель, садитесь рядом». И все время, пока мы разговаривали, я видел только профиль Эммануэля и понял — Антуан не хотел, чтобы мне было видно его лицо, перекошенное параличом, это еще усилило бы страдания брата.

Придумали даже, будто я сама видела, как после этого он целую ночь проплакал. Это неправда. Может быть, у него и проступила слезинка, но г-н Пруст не так-то легко поддавался слезам, как об этом говорили, или как он сам упоминал в своих письмах. Если ему было и тяжело узнать о смерти князя

Эммануэля, все-таки это не стало поводом для траура. И он уже больше никогда не говорил мне о нем.

Если не ошибаюсь, г-н Пруст познакомился с обоими братьями еще задолго до войны 1914 года в салоне их матери, княгини Елены, одном из самых блестящих во всем Париже. Они, в свою очередь, представили его своей кузине, княгине Марте Бибеско. Он считал ее умной и красивой, но, боюсь, после его смерти она говорила о нем куда больше, чем сам он упоминал о ней.

— Ее ум — это своеобразная форма кокетства, — говорил про нее г-н Пруст.

Я видела княгиню Марту всего один раз, уже на улице Гамелен, когда она приезжала вместе с женой Антуана, княгиней Элизабет, после театра. Они хотели видеть г-на Пруста, но он велел сказать, что, к величайшему сожалению, это невозможно. Из этого родилась легенда о том, будто бы я сказала им: «Г-н Пруст не переносит запаха княжеских духов». Но, конечно, ни он, ни я ничего такого не говорили.

Что касается других Бибеско, то, кроме обоих братьев, г-н Пруст больше всех любил герцогиню де Ноайль, сочинявшую стихи. Она была их родственницей со стороны румынских Бранкованов. Его уважение к ней возросло еще во время процесса Дрейфуса, когда она тоже смело встала на сторону дрейфусаров, да еще подвергаясь оскорблениям из-за своего нефранцузского происхождения.

Впрочем, г-н Пруст считал ее слишком капризной и даже немного сумасбродной, подобно князю Антуану.

— Однажды она сказала мне: «Марсельчик, только у нас с вами и есть ум. Посмотрите, как мы похожи, особенно если я подниму волосы».

Он изобразил движения ее рук и звук голоса:

— Да, у нее была поэзия не только слов, но и жестов.

Г-н Пруст продолжал видеться с ней у общих знакомых, как и с ее сестрой, княгиней де Шимэ, чей ум и утонченность он ценил ничуть не меньше.

Он сохранял хорошие отношения с Фредериком де Мадразо, удачливым дилетантом и близким приятелем Рейнальдо Ана — злые языки говорили, будто у «Коко», как все называли Мадразо, было с ним что-то там «такое». Но об этом г-н Пруст мне никогда ничего не говорил. Они познакомились еще в ранней молодости в салоне г-жи Лемер, той самой, которая писала розы в не меньшем количестве, чем их создал сам Господь Бог. «Коко» увлекался не только музыкой, но и живописью. Однако куда больше г-н Пруст ценил его понимание картин. Вместе с ним и Рейнальдо Аном он

еще молодым поехал в Венецию. У него остались восторженные воспоминания об этой поездке. По его словам, за два-три года, начиная с 1900-го или 1901-го, он сделал для себя три открытия, сильнейшим образом повлиявшие на его мировосприятие: узнал английского писателя Рёскина, увидел средневековые соборы — прежде всего Амьенский — и проникся Венецией с ее живописью. Он был искренне благодарен Мадразо, который открыл для него этот город. У г-на Пруста еще оставались внутренние порывы, он очень часто говорил мне:

— Вот увидите, Селеста, когда я напишу в своей книге слово «конец», непременно повезу вас в Венецию, а потом мы поедем к ангелу Амьенского собора и непременно в Шартр...

И еще картины Вермеера, но они пришли позднее.

Кроме того, у Мадразо было очень любящее сердце. Беспокоясь о здоровье г-на Пруста, он из уважения к его работе, чтобы не обеспокоить, приходил справиться о делах по черной лестнице, когда точно знал, что застанет меня на кухне. Мы разговаривали минуту-другую, и он уходил, прося передать привет г-ну Прусту. Как и князь Эммануэль, он тоже трагически погиб, но позднее. Г-н Пруст рассказывал мне, что у него был очень красивый особняк на бульваре Бертье. К сожалению, он совершенно разорился, До последнего су, и к тому же был тяжело болен. И однажды его нашли утонувшим в ванне. Так и не удалось узнать, что это было: несчастный случай, инфаркт или самоубийство. Г-н Пруст тогда очень огорчался и подолгу разговаривал об этом с Рейнальдо Аном и со мной.

Из всех знакомых всегда принимали, когда бы ни пришел, Рейнальдо Ана, если, конечно, г-н Пруст уже проснулся и произвел свое окуривание. Явившись слишком рано, он спрашивал, как дела, и удалялся. Но обычно приходил довольно поздно, когда мог быть уверен, что увидится с г-ном Прустом. И только его одного я никогда не провожала — он буквально убегал со всех ног, после чего г-н Пруст спрашивал:

— Дорогая Селеста, а хорошо ли Рейнальдо закрыл дверь?

Дело в том, что двери надо было плотно закрывать от сквозняков, а он почти всегда оставлял их открытыми. И как только он уходил, я все проверяла. По этому поводу, чтобы оправдать его, г-н Пруст рассказал мне историю об одном ученом, Анри Пуанкаре. Как-то раз Пуанкаре остановился на набережной Межиссери полюбоваться птицами, которых там продают в специальных лавочках; но голова у него все время была занята какими-то вычислениями, и он пошел дальше, взяв по рассеянности клетку с птицами; торговка с криками побежала за ним, и ему пришлось извиняться, тем более что он и не собирался

покупать себе птиц. Я ответила на это:

— Ах, сударь, этот Анри Пуанкаре, может, был знаменитым ученым, а Рейнальдо просто хочет казаться важной персоной.

Но на самом деле г-н Пруст вполне здраво оценивал его.

— Дорогая Селеста, вы слишком жестоки к нему. Ведь он так мил!

— Как жаль, что он не остался просто певцом, а захотел еще сам сочинять музыку. Когда я с ним познакомился у г-жи Лемер, он был неподражаем. Его наперебой приглашали во все салоны и платили приличные гонорары. Как-нибудь я попрошу его спеть для вас «Дайте сердцу крылья». Как он исполнял это! Неподражаемо! Беда в том, что теперь он захотел стать Сен-Сансом. Послушали бы вы его, когда он вместе со своей матерью приходил к матушке!..

Ведь связь была еще и между обеими матерями, а кузина Рейнальдо, Мари Нордлинже, открыла для г-на Пруста книги Рёскина. Но по окончании войны и особенно после успеха его второй книги «Под сенью девушек в цвету», у них наметилось некоторое отдаление, а со стороны Рейнальдо появилась даже какая-то язвительность. Г-н Пруст говорил:

— Прежде мы были очень близки. Ездили любоваться большими приливами на мысе Раз, не говоря уже о Венеции; одно лето провели у г-жи Лемер в замке Рейвелон. У нас были общие взгляды и уважение друг к другу. Потом наступила война. Рейнальдо взяли в армию, и, хотя он сохранил все свои связи, ему стало казаться, что я обхожу его, а он остается где-то в стороне. И знаете, Селеста, как это ни смешно, Рейнальдо завидовал мне. Я чувствовал это, когда он приезжал с фронта в отпуск. Да, завидовал, потому что в литературных кругах говорили о моих книгах, а он прозябал среди вялых похвал. Он даже говорил мне: «Куда ни пойдешь, только и разговоров, что о вас и вашей книге». Как это странно!

Однажды после визита Рейнальдо Ана г-н Пруст позвал меня:

— Дорогая Селеста, мне очень грустно. Я спросил у Рейнальдо, почему он так давно не приходил, быть может, он чем-то недоволен? Знаете, что он ответил?.. «Марсельчик, у меня нет ни ваших денег, ни вашего успеха. Для вас все доступно. Но теперь за все надо платить, а у меня с этим затруднения». У него был очень несчастный вид. Я сказал ему: «Рейнальдик, я могу снабдить вас деньгами». — «Речь не об этом, Марсель. Мне не нужны ваши деньги. Я должен зарабатывать их сам. Поэтому у меня и нет времени навещать вас». Слушая все это, я не мог не вспомнить о его прежних песнях.

Г-н Пруст в большей степени огорчился за самого Рейнальдо,

чем из-за той зависти и недоброжелательности, которые были в его словах. И как он радовался уже незадолго до своей смерти, узнав об успехе одной из композиций, сочиненной Рейнальдо. Это была музыка к знаменитой оперетте «Сибулетта» на слова Робера де Флера и Франсиса де Круассе, зятя одной из старых знакомых г-на Пруста, графини де Шевинье. Однако настоящий успех «Сибулетты» в театре «Варьете» пришел уже после смерти г-на Пруста. Но тогда ее поставили еще и на юге, где она получила теплый прием. Я так и вижу, как г-н Пруст откладывает газету или письмо с этим известием и говорит мне с сияющей улыбкой:

— Дорогая Селеста, как я рад, что Рейнальдо добился, наконец, хоть небольшого успеха!

Помню также по его рассказам, сколько было у него забот из-за несчастной и единственной любви Рейнальдо.

— Это была Клео де Мерод, знаменитая дама полусвета, которая зачесывала волосы гладко на прямой пробор, чтобы скрыть свой единственный недостаток — некрасивые уши. Она оказалась для Рейнальдо роковой женщиной и держала его на побегушках, ничего не давая взамен, так что он впал в безысходное отчаяние. Быть может, из-за этого и пострадал его талант.

Во всяком случае, их дружба была слишком давней, они многое прощали друг другу и до самого конца хранили верность, хотя скорее уже как братья, а не как друзья.

Кроме этих старых знакомств, новых было не так уж много, совсем не такое количество, как об этом говорили впоследствии. Но я не хочу огорчать никого, кто претендует на близость к г-ну Прусту; это скорее смешно, и сам он, несомненно, посмеялся бы над некоторыми статьями, появившимися после его смерти.

Его встречи происходили, главным образом, за пределами квартиры, и все еще оставался обширный круг знакомств, поскольку многие искали общения с ним. Обычно съезжались на званые обеды к «Ларю» или в «Риц», или же сам он приглашал гостей в отдельный кабинет. Но поскольку у него все было связано с творчеством, многие из них лишь мимоходом забавляли его, не представляя собой сколько-нибудь серьезного интереса.

Однажды князь Антуан Бибеско, всегда знавший обо всем, отвез г-на Пруста на какой-то званый обед, чтобы познакомить его с Пикассо, о котором тогда уже начинали говорить. Это было не то в «Крийоне», не то в «Рице», но неважно. В два часа ночи все трое поехали в мастерскую смотреть картины. Возвратившись домой, г-н Пруст рассказал мне:

— Это испанский художник, который пытается делать кубизм. И он постарался описать, на что это похоже, а потом

сказал:

— Признаюсь, я мало что в них понял. По всей видимости, картины Пикассо нисколько его не затронули, и он никогда больше не упоминал о них. Рассказывали еще, что г-н Пруст был на званом обеде, где присутствовал Джеймс Джойс, но он даже не вспомнил про него.

Он очень любил одного банкира, Анри Гана, за его ум и утонченную вежливость. Этот банкир принадлежал к тем редким людям, которые раз или два обедали у него на улице Гамелен. Они были очень близки, и эта близость проявилась и в трагической гибели г-на Гана: через два дня после похорон г-на Пруста он поехал на охоту и по несчастному случаю был убит зарядом дроби, оставшимся в его ружье. Выстрел поразил бедренную артерию, и остановить кровотечение так и не удалось.

Из новых близких знакомств того времени я знала писателя Поля Морана и его будущую жену княгиню Сузо.

Поль Моран сразу же очаровал г-на Пруста не только тонкими суждениями о его книгах, но и занимательными рассказами. Он был великим путешественником еще по своей службе при посольствах, где познакомился с князем Бибеско, а уже от него получил аккредитацию при г-не Прусте.

Когда он впервые побывал у нас на бульваре Османн, г-н Пруст спросил о моем впечатлении.

— Он чуть-чуть какой-то китайский, но вид у него неплохой. Я имею в виду лицо, в нем есть что-то китайское.

Г-н Пруст засмеялся:

— Пожалуй, вы правы, он изящен, как мандарин[11].

Поль Моран познакомился с княгиней Сузо через братьев Бибеско. Она была дочерью очень богатого румынского банкира и уже замужем, хотя ее мужа никто не видел. Жили они в красивом особняке на авеню Шарль-Флоке, неподалеку от Марсова Поля. Но когда началась война и трудности с жилищами, она переехала в «Риц», где снимала для себя апартаменты. Именно тогда Поль Моран и пришел вместе с ней к г-ну Прусту.

Это была очень умная и интересовавшаяся литературой и искусствами женщина, да еще с похвальным стремлением завоевать в Париже репутацию, привлекая к себе все, что тогда, в условиях войны, было самое лучшее.

Не знаю, то ли она сама захотела познакомиться с г-ном Прустом, то ли из-за рассказов о нем Поля Морана, который, впрочем, всегда говорил о ней как о великой его почитательнице. Г-н Пруст даже согласился принять ее и обедал вместе с ними.

Я прекрасно помню, что в тот вечер он велел вызвать для него парикмахера.

— Приготовьте все как можно скорее, Селеста. За мной должен заехать г-н Моран вместе с одной особой, и мы поедем обедать к «Ларю». Это румынская княгиня, он очень хочет познакомить меня с нею.

К десяти часам приехал Поль Моран с этой дамой. Я доложила г-ну Прусту.

— Пожалуйста, пусть входят.

— Он вместе с дамой.

— Это та, о которой я вам говорил, княгиня Сузо. Ну, и что она такое?

— Скорее малого роста, с прямой шеей, в небольшой шляпке на ленте. Одета в черное, как при трауре. Я бы не поручилась, что она не старше его... (Морану не было тогда еще и тридцати). С вашего позволения скажу еще, что она не поражает элегантностью, но, на мой взгляд, очаровательна, как маленькая японская ваза.

Ему всегда нравилась эта игра в портреты.

— Ну ладно, посмотрим!

Я пошла за Полем Мораном, и они поболтали пару минут, а княгиня ждала их у входа. Потом все трое уехали. Когда г-н Пруст вернулся, сразу было видно, что он доволен проведенным вечером.

И почти сразу после этого они стали очень часто встречаться с княгиней. Тогда у него была эпоха «Рица», он часто обедал в этом ресторане, который, несмотря на войну, закрывался очень поздно. Он даже заходил к княгине, для чего я заранее звонила по телефону спросить разрешения. Она была из тех, кто плохо различал голоса:

— Это вы, Марсель?

— Нет, княгиня, это Селеста.

Ей, как и некоторым другим, казалось, что я слишком хорошо одеваюсь. После какой-то незначительной операции г-н Пруст отправил меня к ней с большим букетом Цветов. При следующей встрече она сказала ему:

— Селеста просто невозможна. Мало того, что она говорит по телефону вашим голосом, у нее еще и слишком элегантные наряды. Вы не должны позволять ей этого.

Странное дело, — заметил мне г-н Пруст, — у меня все наоборот. По тому, кто мне открывает дверь, я уже чувствую, что это за дом, хотя одни мои знакомые нарядили прислугу в красивые эльзасские костюмы, но это уж слишком, тем более что локти у них протерлись до дыр. Эти люди при всем своем богатстве не понимают, что такое хороший тон.

— Но, — добавил он, — на княгиню не стоит обижаться за

эти предрассудки, которые она унаследовала от своей еще почти феодальной родины.

Мне кажется, ему очень нравилось наблюдать за ней. Но и она со своей стороны делала все, чтобы очаровать г-на Пруста. Если он упоминал какое-нибудь имя в том смысле, что хотел бы познакомиться с этим человеком, она тут же говорила:

— Нет ничего легче, Марсель. В любое время, назначьте только день. Я приглашу его к обеду.

Он очень ценил такое внимание.

Однажды, возвратившись из «Рица», г-н Пруст смеялся как сумасшедший:

— Представляете, Селеста, похоже на то, что княгиня ухаживает за мной. Сегодня я сказал ей: «Сударыня, но ведь вы замужем». И, знаете, она ответила: «Это ничего не значит!» Она чуть ли не хочет выйти за меня замуж.

Но он ограничивался лишь наблюдениями. Мне всегда казалось, г-н Пруст уже тогда предвидел, что она выйдет за Поля Морана. Он не раз говорил мне про его влюбленность и только радовался за него. Я уверена, что и на небесах он благословляет их. Впрочем, г-н Пруст при всей своей невинности все-таки подозревал, что Поль Моран немного ревнует к нему. Он с улыбкой рассказывал мне о своих визитах к княгине:

— В ее гостиной позади канапе стояла большая ширма. Хотите верьте, хотите нет, но каждый раз, когда мы разговаривали с ней, сидя на этом канапе, у меня было такое чувство, что позади нее прячется г-н Моран.

— Да неужели, сударь!

— Я бы не очень и удивился.

Но, в сущности, внимание княгини его восхищало. Ведь все-таки он был человеком, а потому чувствителен к интересу людей, особенно если этот интерес был связан с его творчеством. Помню одного молодого дипломата, по имени Трюэль, который настолько обожал его книги, что буквально душил письмами и просьбами о встречах. И г-н Пруст принимал его. Когда я как-то раз сказала ему: «Сударь, вы и без того уже устали», он ответил: «Конечно, Селеста, но ведь он так мил!» По его рассуждениям, тону голоса и далее взгляду я хорошо понимала, что он относился к княгине Сузо, как и ко всем другим. Ведь, г конце концов, для г-на Пруста дружеские отношения означали только то, что Такой-то и Такая-то достойны быть предметом анализа.

Одним из самых трогательных его признаний было то, что он оказался не прав в своем первом суждении о Поле Моране. Он сказал это за неделю до своей смерти, после того как Моран долго пробыл у него:

— Селеста, мне нужно покаяться: я считал г-на Морана эгоистом, хотя и любил его. Но сегодня вечером он доказал, как сильно привязан ко мне, быть может, больше моего. И знаете, почему я понял это? Он не решался уйти. Сидел и разговаривал. Он почувствовал, насколько я болен, и был бесконечно деликатен... Я ошибался. Но сегодня могу уверить вас, не боясь ошибки, что он действительно любит меня.

Вспомнив эти слова и его голос, я поняла: он говорил обо всем, как уже о прошедшем, оставшемся после него, а это признание было вроде благодарственного прощания. Он сказал еще:

— Не забудьте передать ему это, Селеста.

XX
В ПОГОНЕ ЗА ПЕРСОНАЖАМИ

Надо сказать, что в мире, известном г-ну Прусту, дружба была редкостью, она подменялась непринужденным тоном и элегантностью фраз и фраков. Может быть, у кого-то она и существовала. И если он так и не нашел ее, значит, скорее всего, не так уж и старался отыскать. Повторю еще раз — по крайней мере, на моей памяти в людях его интересовало лишь то, что могло сгодиться для книги.

Да, чем больше я думала об этом, тем чаще представляла себе его перед выходом из дома, стоящим уже в пальто, улыбающимся, как бы с предвкушением «хорошего вечера». И, наконец, он возвращался — или сияющий, или, наоборот, усталый и недовольный попусту потраченным временем. Так вот, я все сильнее склоняюсь к тому, что он выезжал только ради своей книги.

И совсем не наугад, а всегда с какой-то вполне определенной целью — найти нужную деталь, посетить своих персонажей.

А эти персонажи совершали в его памяти предназначенный им нескончаемый танец; он никогда не терял их из вида. Г-ну Прусту прежде всего была нужна истина, а не эмоции.

После удачных вечеров я спрашивала его:

— Ну как, сударь, хороша ли ваша добыча? Какой мед собрали вы для нас сегодня?

Как-то раз он сам сказал мне:

— Видите ли, Селеста, мне хотелось бы оставить свой труд как бы в виде собора. Вот почему он никогда не кончается. И даже построенный, постоянно требует все новых украшений — капителей, какой-нибудь маленький часовенки со своей статуей в углу.

И тогда г-н Пруст отправлялся на поиски.

Спрашивая, например, о платье, он хотел знать, какие на нем кружева и как они вышиты, все до последних мелочей, чуть ли не сорт ниток.

Когда он согласился принять Чарли, того самого молодого англичанина, приятеля «содомитского» г-на Гольдсмита, то не только ради наблюдений за его манерами, весьма претенциозными. Он изучал его во всех отношениях и после визита даже передразнивал:

— У него рубашки и жилеты от Шарве, что на Вандомской площади.

Шарве было для него признаком определенного мира, определенной среды и определенных понятий об элегантности. Точно так же Гольдсмит, смертельно заслуживавший его как собеседник, все-таки был интересен своей помпезной внешностью.

— Знаете, Селеста, наверно, и в неглиже он выглядит, как во фраке.

Ему всегда было нужно еще глубже заглянуть в каждого — во что-то сокровенное, понять отношения, встречи, перебрасывание намеками. Но, рассказывая обо всем этом, он никогда не ставил точек над «i», нужно было догадаться самому.

Так же и с персонажами его книги. О них много писали, но не собираюсь здесь забавляться профессорскими играми. Да и он не оставил мне никакого ключа, так же как и никому другому. Он не сделал этого отнюдь не из злорадства или желания запутать следы, обмануть — просто это соответствовало самому духу его творчества. Я могу только сказать, что из всех ключей, подходивших к этому замку, ни один не смог открыть всех секретных ящичков.

Скажу даже так: в глубине души он смеялся над этими ключами к его романам. Если некоторые из тщеславия или ради удовольствия разбивали ящички, чтобы разгадать содержащуюся в них тайну, наподобие раскапывания египетских пирамид, я уверена, он предвидел и это, но их игры были для него совершенно безразличны. Когда г-н Пруст называл свое творчество воздвигнутым в литературе собором, то, конечно, имел в виду, что оно проживет столько же, сколько и великие храмы, которые он так любил.

И какой тогда может быть смысл в том, что, к примеру, в герцогине Германт находят черты и графини Греффюль, и г-жи Строе, и графини де Шевинье, и еще десятка других женщин? Какое значение все это будет иметь через сто лет, и кто тогда будет помнить об этих дамах? Но зато герцогиня Германт и другие персонажи останутся навсегда живыми в его книге для все новых поколений читателей.

В последние два года, когда мы переехали на улицу Гамелен, на углу улицы Лаперуз жила в особняке одна светская дама. Она держала дом на широкую ногу, но отличалась некоторыми странностями — например, в 1920 году продолжала одеваться, как королева Александра, жена английского короля Эдуарда VII, который тогда уже десять лет как умер, да еще и прошла война со всеми ее переменами.

Дама была очень красива и во всех мелочах очень элегантна, но чрезвычайно старомодна, например, своими громоздкими

прическами. Г-н Пруст знал ее, кажется, через графиню Греффюль, и его просто зачаровывали эти наряды. Ее племянница жила у нее на положении дочери, сама она не имела детей, и, как г-н Пруст, смеясь, рассказывал мне, племянница неумеренно восхищалась им и говорила, что если не сможет выйти за него замуж, то у нее останется только один выбор — знаменитый органист Видор, который был намного старше ее. Она и в самом деле вышла за него, и он переселился на улицу Лаперуз. Из окна нашей кухни была видна их столовая, где происходили помпезные трапезы. Я рассказала об этом г-ну Прусту, и он попросил меня при первом же случае предупредить его. Два или три раза он приходил взглянуть на это зрелище, и по его виду я поняла, что ему интересен тщательный распорядок сервировки и подачи блюд, канделябры и посуда, а также поведение сидящих за столом. И все это, как при вспышке молнии, запечатлевалось в его голове.

А саму эту даму он использовал в своей книге для описания туалетов принцессы де Германт, особенно на праздничном приеме в Опере, где ее скромный наряд так контрастировал с драгоценностями и перьями ее невестки. Кроме того, еще в некоторых местах он вставил кое-какие детали убранства стола.

Но какая польза, не считая светских сплетен и пересудов, если станет известно, что этой дамой была старинная приятельница короля Эдуарда VII, г-жа Стендиш?

Пусть г-н Пруст позаимствовал кое-что из ее нарядов — значит, это соответствовало его представлениям о принцессе де Германт, и выведенная им особа это уже никак не г-жа Стендиш, а именно сама принцесса. Только это и имеет значение.

Суть в том, что его вовсе не увлекала игра в списывание портретов с натуры. Когда-то существовал знакомый ему мир, который распался и стал чем-то совсем иным. Я уверена, что с самого начала он предвидел все это и хотел описать, как моралист, в своих романах со всеми человеческими ухищрениями, всеми красотами и всеми нелепостями. Его суждения были ужасны, он предвидел неминуемый крах — таков смысл его романов. И если люди не видят этого, значит, они так ничего и не поняли.

Все его встречи нужны были только для работы ума, чтобы возвещаемое пророчество оказалось наиболее достоверным.

Открыто он никогда не говорил об этом, а только своими обычными полунамеками:

— Сегодня я был у такого-то и к своему удивлению встретил там г-жу Х. Меня поразило, что теперь в этом Доме принимают ту самую особу, которую прежде не согласились бы

видеть у себя ни за какие блага мира.

Он даже не сказал, что в этом есть знамение времени, хотя оно и угадывалось по одному только его взгляду, устремленному в прошлое.

Очень редко, но иногда г-н Пруст просил принести ему «Готский Альманах». Его интересовали девизы, брачные союзы и судьбы аристократических фамилий. Здесь не было ничего от тщеславного любопытства светского человека — он только прослеживал и разрастание, и упадок аристократии.

Естественно, ему хотелось, чтобы все персонажи были идеально выписаны. Именно поэтому он одевал и причесывал их по реальным образцам, взятым из жизни, но никогда не злорадствовал над их изъянами.

Г-н Пруст знал, что светская жизнь убивает его, но все-таки находил для нее внутренние силы. Однако она в то же время и возбуждала как юношу, спешащего на любовное свидание. Он был болен, но все-таки тешился надеждой извлекать из своих визитов то, что ему было необходимо. И если иногда получалось именно так, как он хотел: приятная встреча, удачная поездка — то и возвращался он довольный, помолодевший, не чувствуя усталости. Несомненно, это поддерживало его. Он мог радоваться и встрече с человеком, и тому, что удалось разузнать про какой-нибудь дом: какие в нем произошли перемены или, например, сохранилась ли еще старая крыша и сколько осталось прислуги по сравнению с той эпохой, когда он сам бывал там.

Одно время ему не давала покоя шляпка, которую он когда-то, уже очень давно, видел на графине де Шевинье:

— Как она была красива! И всегда носила великолепные шляпы. Особенно помню одну, с васильками и маками; и еще была шапочка, украшенная пармскими фиалками.

Он спросил меня:

— Как вы думаете, она могла сохраниться у графини? И можно ли попросить показать ее?

— Ах, сударь, со времен прогулок в колясках по Булонскому Лесу моды сильно переменились. Если бы такая знатная и элегантная особа, как г-жа де Шевинье, вздумала хранить все свои шляпки, у нее скопилась бы целая гора коробок!

Но он все-таки не успокоился до тех пор, пока не узнал об этом у самой г-жи де Шевинье.

Следует сказать, что в молодости г-н Пруст испытывал к ней чувство даже большее, чем восхищение, — того же рода, как и к госпоже Греффюль, ради взгляда на которую выстаивал на лестнице в Опере. А госпожой де Шевинье он любовался на Елисейских Полях, на углу авеню де Мариньи, когда она

проезжала в своем экипаже. Он рассказывал мне:

— Я чувствовал себя на верху блаженства.

Он даже подходил к ней, не умея еще сдерживать свои чувства. Но прием был леденящим. Потом он встречал ее только в свете; ей, несомненно, все-таки льстило внимание этого молодого воздыхателя.

После встречи по поводу той самой шляпки с пармскими фиалками, которая преследовала его, он возвратился буквально уничтоженный. В ответ на его вопрос она сказала только:

— О, Марсель, через столько лет, как вам только пришло это в голову?..

Рассказывая, он попросил меня достать ее фотографию, на которой она все еще блистала красотой. Потом сказал:

— Это была гордая женщина, настоящая красавица. А сегодня я увидел старую седую даму с хриплым голосом и орлиным носом. Она вязала, сидя в шезлонге, рядом с внучкой.

Его голос был бесконечно печален. Тогда еще шла война. Потом он виделся с ней. Несколько раз, в том числе вместе с Жаном Кокто, который жил в ее доме на улице Анжу. На этом все и кончилось. Она осталась у него только среди образов прошлого.

Аля герцогини де Германт он взял от нее походку и туалеты, а грациозность шеи и изящество — у графини де Греффюль. Ум его герцогини можно скорее приписать госпоже Строе. Говоря об этих трех прообразах, он четко проводил различие между ними.

Хотя г-н Пруст и не скрывал своего весьма сильного чувства к госпоже де Шевинье и в прошлом не переставал восхищаться ею, это не мешало ему вполне трезво смотреть на нее. После того, как он надписал ей свою книгу — думаю, это были «Германты», — г-н Пруст со вздохом сказал мне:

— И подумать только, ведь она так и не поймет, что эти страницы наполнены ею.

Это было в своем роде указание на один из ключиков.

Иногда я, так сказать, слегка припирала его к стене. Например, когда он поссорился с герцогом д'Альбуферой, тот прислал ему длинное письмо, наполненное упреками, которое г-н Пруст тут же прочел мне. Герцог страшно рассердился на то, что узнал себя в кавалере де Сен-Лупе, особенно там, где он спорит с актрисой, — это описано, если не ошибаюсь, в «Содоме и Гоморре». Несомненно, такая сцена весьма напоминала то, что бывало у него с Луизой де Морнан, о чем был осведомлен и г-н Пруст.

Откладывая письмо, он сказал:

— Не знаю, с чего он вообразил себе все это.

— А я, сударь, сомневаюсь, что он так уж ошибается. Вы не

находите здесь некоторые аналогии?

Улыбнувшись, он ответил:

— Во всяком случае, очень жаль, ведь мы были так близки. Я напишу ему.

И, действительно, послал герцогу длинное письмо, но тот ничего ему не ответил. Когда я встретила Луизу де Морнан уже после смерти г-на Пруста, то рассказала об этом инциденте, который оказался для нее совершенной новостью: как ни странно, герцог не проронил ей по этому поводу ни полслова. Она сказала мне:

— То, что Луи (так звали герцога) ничего не ответил и не стал мириться, это меня ничуть не удивляет. Он был очень мил и великодушен, я никогда не могла ни в чем упрекнуть его. Но ведь он и не отличался особенным умом.

Думаю, ее слова совпадали с мнением г-на Пруста. Он больше уже никогда не видел герцога, но, впрочем, нисколько не жалел об этом. С ним все было покончено.

Меня всегда удивляло — и это связано с уже сказанным о дружеских чувствах г-на Пруста, — что он не особенно заботился о том, как чувствуют себя люди, узнавая себя в его персонажах, хотя, мне кажется, это не было ему совершенно безразлично, и он все-таки сожалел, если им бывали недовольны.

Единственный раз, когда я видела его взволнованным, дело касалось Лоры Гайман. Он получил от нее письмо, в котором были и гнев, и печаль: их общий друг «Коко» де Мадразо объяснил ей, что она изображена в «Сване» как Одетта де Креси.

Я уже говорила о весьма высоком мнении г-на Пруста о ее уме и их старинной дружбе, и о том самопожертвовании, с которым она относилась к своему сыну. Он не прочел мне ее письмо, а только пересказал, добавив:

— И вправду очень неприятно, что она вообразила все это.

— Она не права, сударь?

— Во всяком случае, мне не хотелось возбуждать в ней такие мысли и тем более сердить ее. Это до крайности неприятно.

Он долго размышлял в одиночестве, потом позвал меня.

— Я прочел в газетах, что Лора Гайман занялась скульптурой и делает очень милые статуэтки, а теперь устроила даже выставку. В последнем номере «Вог» есть и фотографии. Будьте добры, купите его. Я чувствую, что она недовольна мной, и мне хотелось бы повнимательнее рассмотреть эти снимки. А потом я попрошу о встрече, чтобы рассеять недоразумение.

Я принесла журнал, и мы стали вместе разглядывать фотографии. Он сказал мне:

— Слава Богу, очень хорошие, а то я не смог бы солгать ей.

Г-н Пруст поехал к Лоре Гайман и вернулся от нее успокоенный и торжествующий. Он просто сиял и, рассказывая, едва сдерживал распиравшее его удовольствие.

— Дорогая моя Селеста, как я рад! Все улажено. Да, я просто в восторге. Мне удалось доказать ей, что надо уметь читать, а многие люди воспринимают только отдельные слова, но плохо понимают смысл. Теперь она убеждена, что ее никоим образом нет в этой книге. Мы расстались друзьями, и она была очаровательна. У нее достаточно тонкости и ума, чтобы понять суть дела, а то мне была уж слишком тягостна наша размолвка.

Часто я спрашивала себя, доставляют ли ему еще хоть какое-то удовольствие встречи с людьми только ради них самих. Несомненно, во времена «камелии» его чрезвычайно увлекала светская жизнь. Но, полагаю, это совершенно исчезло за последние десять лет отшельничества. Покончив с охотой за персонажами, он распростился и с их прообразами. По его внезапным побуждениям встретиться с Таким-то и Таким-то я могла проследить за продвижением целых глав, а когда он отменял свои визиты и переставал писать некоторые письма, можно было сказать: «Ну вот, и еще порция страниц завершилась».

Вспоминаю о представившейся ему возможности познакомиться с королевой Румынии, большой почитательницей его книг. Королева остановилась у княгини Сузо, которая известила г-на Пруста, что монархиня очень хочет его видеть. Но только «она рано ложится. Поэтому, дорогой Марсель, сделайте над собой усилие и не приезжайте слишком поздно».

Когда в тот вечер после кофе надо было уже одеваться и ехать, он зовет меня и говорит:

— Дорогая Селеста, я устал и, пожалуй, не поеду к королеве.

Я принялась уговаривать его, что он обещал и его уже ждут, и это будет не вежливостью и к княгине, и к королеве.

— Сударь, надо поторапливаться, иначе к вашему приезду она будет уже в постели, как сказала княгиня.

Посмеиваясь, он ответил:

— Так тем лучше! Видите, все-таки я прав?

Я продолжала настаивать, он не соглашался:

— Поймите же, Селеста... Все королевы у меня и так уже были, пусть не коронованные.

Он, несомненно, имел в виду графиню Греффюль, г-жу де Шевинье, г-жу Стендиш и некоторых других.

Но, конечно, все-таки поехал, как иногда случалось, с галстуком, запачканным зубным порошком, и по этому поводу

ответил мне, что это не имеет никакого значения, ведь его приглашают не ради галстука. Возвратился он нельзя сказать чтобы безумно осчастливленный, хотя и был польщен словами королевы о его книгах.

То же самое было и с Хиннисдэлями, к которым он довольно часто ездил в 1920-1921 годах. Они интересовали его прежде всего тем, что оставались ужасно чопорными посреди всех перемен в обществе после войны, хотя, несмотря на все это, и им приходилось открывать свои двери таким людям, которых в прежние времена они не пустили бы даже на порог. Я уже говорила, как он удивлялся и осуждал их, узнав, что они не только не принимали писателя Рамона Фернандеса, но даже позволяли ему ухаживать за их дочерью Терезой. Мадемуазель Хиннисдэль очень интересовала его; думаю, он даже изучал ее.

— Она единственная, кого я знаю из их круга, кто умеет исполнять современные танцы с совершенной грацией.

Не поручусь, что она не попала в последние варианты персонажа Альбертины.

Однако, начиная с какого-то момента, о Хиннисдэлях уже и речи не было, как, впрочем, и о госпоже де Греффюль, госпоже де Шевинье, госпоже де Бородьер, о Луизе Морнан и о многих других.

Только в молодости г-н Пруст усердно посещал всех их. Уже перед войной, по его словам, он встречался с людьми — так сказать, слоями — в зависимости от своих интересов, то есть для книги. Он сделал выбор в пользу торжественных дней, когда блистало общество его персонажей: большой званый обед, праздничный бал, гала-представление в Опере. Он пускал в ход свой зонд, чтобы достичь полноты собранной коллекции, и говорил:

— Боже мой, скольких людей надо перетерпеть ради кого-то одного, выходящего за рамки обыденности.

Но, уловив такой персонаж, он обхаживал его со всех сторон, искал, через кого можно было бы подступиться к нему, не внушая подозрений, будто сам хочет подобного знакомства, а чтобы все это имело вид «случайной встречи», он даже начинал с кого-нибудь из близких персонажа, вовсе для него неинтересного. Наводя разговор на нужного человека, спрашивал: «А вы хорошо его знаете? И часто видитесь?..» И так далее, пока ему не предлагали устроить желаемую встречу. Так он и вел свою линию и всегда достигал цели. Время от времени г-н Пруст говорил мне:

— Вот уже два года, как я не подавал о себе никаких признаков жизни Такому-то, но теперь мне хотелось бы повидаться с ним. Я думаю вот что: позвоните нашему общему

знакомому г-ну Х. и попросите его о встрече, а там можно будет кое-что придумать.

Но обычно все устраивалось или «телефонажем», гак мы говорили, или даже просто запиской нужному человеку.

Еще до войны он сделал такой обходной маневр через графа Робера де Монтескье, чтобы познакомиться с одним из самых знаменитых денди того времени, маркизом Бони де Кастелланом, и не только потому, что ему хотелось дополнить новыми чертами своего кавалера де Сен-Лупа, на которого среди прочих его уже вдохновили Гастон де Кэллаве и Бертран де Фенелон. Но он чуял вокруг маркиза целое гнездо персонажей и особенно его тетку, которая вместе с госпожой Лемер воплотилась в оригиналку-аристократку и художницу г-жу Вильпаризис.

Тогда Бони де Кастеллан очень интересовал его. Чтобы заново позолотить себя, Бони женился на фантастически богатой американке Анне Гулд после чего, вознамерившись ослепить Париж, построил знаменитый Розовый дворец по образцу Версальского Большого Трианона. Г-н Пруст не успокоился до тех пор, пока и его не пригласили туда. Смеясь, он рассказывал мне, что, когда они вошли в спальню, ему первому довелось услышать классическую остроту Бони де Кастеллана, которую потом повторял весь парижский бомонд:

— Он открыл двери в спальню и сказал: «А вот и оборотная сторона медали». Но весь юмор заключался в том, что это произносилось тоном музейного гида.

Анна Гулд в конце концов развелась с ним: «Иначе он проглотил бы все до последнего цента, — говорил мне г-н Пруст. — Я никогда не видел, чтобы человек так пожирал деньги». Вскоре Бони де Кастеллан разорился. В 1919 году г-н Пруст захотел встретиться с ним, конечно, лишь из желания посмотреть, на что он стал похож. В то время мы находились в промежуточном положении — уже съехав с бульвара Османн, временно, до того, как нашли квартиру на улице Гамелен, жили в меблированных комнатах на улице Лоран-Пиша, в доме актрисы Режан. Однажды солнечным днем явился Бони де Кастеллан и пробыл всего несколько минут. Г-н Пруст сразу после его ухода позвал меня.

— Ну как, Селеста, ведь вам и прежде приходилось видеть этого барина?

Все эти костюмы, всю эту элегантность, очень красивого бульдога с ошейником, где медяшки могли принимать за золото? Так вот, теперь у него нет ни су! И ведь не он один такой. Подумать только, не имея даже собственной комнаты, они ухищряются как-то поддерживать свой внешний вид!

Когда г-н Пруст говорил это, в его взгляде проскальзывало чуть ли не удовлетворение. Но у него не было злорадства. Он убедился, что не ошибся, оценивая своего героя. Больше они уже никогда не встречались. С кавалером де Сен-Лупом ему стало все совершенно ясно.

Все эти годы, когда я знала его, были сплошной гонкой за главами книги и ее персонажами. Не зря же он все время повторял: «Мне надо, я должен...» Иногда говорят, что ему нравилась показная сторона светской жизни — совсем нет. Г-н Пруст не любил надевать фрак или смокинг и делал это только по необходимости. Он был вполне счастлив лишь у себя в постели, с накинутой на плечи рубашкой, когда занимался работой. И только одна я могу привести доказательство того, что он виделся с людьми единственно ради своей книги; ведь только я присутствовала и даже участвовала во всем этом — конечно, лишь в той мере, насколько он посвящал меня в свои дела.

Отдыхая, г-н Пруст размышлял о том, чего ему недостает и что предпринять в связи с этим; созрев, он уже не медлил. Мне приходилось тут же бежать к телефону или нести письмо тому, кто устраивал встречу. Если же приглашал он, я должна была одновременно и звонить Оливье Дабеска в «Риц», чтобы заказать отдельный кабинет, и связываться с приглашенными, как только их список был окончательно утвержден; понятно, что совместить всех оказывалось не так-то легко, и каждый раз, когда он устраивал званый обед, заранее никогда ничего не решалось. Это была импровизация в последнюю минуту, и тем не менее все великолепно удавалось.

Он приглашал всегда на очень поздний час, чаще всего к ужину, и уезжал принимать гостей обычно между девятью и десятью часами. Если приглашали его, никогда не являлся рано: для этого непременно находились какие-то причины — например, все та же усталость. Хоть он сам и не признавался в этом, у меня всегда было такое чувство, что ему хочется явиться последним, когда при входе все глаза обращаются на него.

Да, зная г-на Пруста, я готова поклясться, что он стремился сразу же объять глазом все целиком. Это было ясно из его пересказов. Начинал он с общей картины, потом следовали подробности, прежде всего касающиеся тех персон, которые побудили его приехать на этот вечер.

У него был невероятный дар наблюдательности и несравненная память. Например, два или три раза он зашел на нашу кухню, чтобы посмотреть в окно, как обедает семейство Стендиш. Это был всего лишь мимолетный взгляд, но за какие-то тридцать секунд у него запечатлевалось буквально все намного

лучше, чем это сделал бы фотографический аппарат, потому что, кроме самого изображения, он успевал рассмотреть множество живых подробностей: жест, передающий солонку, наклон головы, ответ, схваченный им на лету по одному только виду.

Когда я удивлялась, он говорил:

— Селеста, это никакой не дар. Это образ мыслей, который вырабатывается и становится в конце концов привычкой. Поскольку было много занятий, недоступных для меня, я неизбежно оказался менее подвижен, чем другие, и наблюдал за ними только ради собственного развлечения, иногда даже с завистью. Это началось еще в детстве. Как только обнаружилась астма, я уже не бегал ни по Елисейским Полям, ни по Кателанскому лугу в Ильере, а только не спеша прогуливался. Целыми часами я мог смотреть на течение Луары, а потом читать или писать в маленькой беседке. То же самое, когда мы с дядюшкой ездили в тильбюри: передо мной двигался и шевелился пейзаж, деревенские колокольни вращались вокруг горизонта окружающей долины. Точно так же разворачивается в своей скоротечности и жизнь, и люди. Привычка смотреть и наблюдать перерастает в интерес к отношениям и взаимосвязям, а поразмыслив, начинаешь выводить для себя кое-какие законы. Указав рукой себе на глаза и лоб, он сказал:

— *Здесь* все записано. Не имея памяти, невозможно сравнивать, а только сравнение завершает ход рассуждений. Но это бесконечно. Вот почему я всегда хотел наблюдать, все время наблюдать.

В другой раз г-н Пруст объявил мне:

— Истина жизни познается наблюдением и запоминанием. И то, и другое я сполна вложил в своих героев, чтобы они были живыми, а для этого нужно показать их со всех сторон. Для того я и одевал, и причесывал каждого из них по образцу тех, кого встречал в жизни.

Помню, как однажды он рассказывал мне по этому поводу о посвящении, которое хотел написать Жаку де Лакретелю на одной из своих книг, — кажется, это была «Под сенью девушек в цвету», в 1919 году.

— Г-н де Лакретель прислал мне письмо с просьбой о некоторых разъяснениях касательно моих книг. Его замечания столь необычны и умны, что мне хочется написать для него совсем не так, как другим. Это нужно обдумать.

Потом г-н Пруст рассказал мне, что написал ему:

— Он спрашивал о ключе к моим книгам. Я ответил, что не могу дать его. И не из-за каких-то опасений и не из желания что-то скрыть. В каждом персонаже содержится слишком многое.

Если бы я даже и привел там все объяснения, можно было бы по ошибке заключить, что там больше одного и меньше другого. А в общем, все это не так уж и важно. К тому же он и так прекрасно понял самую суть. Мне хотелось, чтобы это посвящение было моим духовным завещанием.

По самому тону его голоса я поняла, что он не уходит от ответа, а говорит вполне искренне.

То, что в своих поисках он стремился к правде, этому я имела постоянные свидетельства, — такие, как его размышления о делах и людях, отношениях и связях, тончайших деталях. Это были отнюдь не сплетни или пересуды. Все принималось во внимание, но лишь соразмерно своему значению, а от этого приходила и правда жизни со всеми ее тончайшими нюансами.

Как-то раз, уже после смерти г-на Пруста, его брат Робер поехал в Ильер вместе с доктором Лемалем, который писал диссертацию о профессоре Адриене Прусте. На обратном пути ему захотелось побывать в Шартрском соборе, который так любил г-н Пруст. Об этом мне рассказывал доктор Лемаль. Профессор Робер вошел внутрь собора и, остановившись, осмотрелся вокруг; потом увлек своего спутника к одной из колонн и долго смотрел на нее. Наконец, повернувшись к нему и указывая на эту колонну, сказал со слезами на глазах:

— Перед вами образ Марселя. Он весь в нем.

XXI
Г-Н ДЕ ШАРЛЮС

Про каждого из его персонажей можно сказать то, что г-н Пруст говорил о всем своем творчестве, называя его колонной или маленькой часовенкой большого собора, которую он непрерывно и бесконечно украшает. Самый поразительный пример — это барон де Шарлюс, к которому, несомненно, он наиболее привязан и которого стремился изобразить как можно тщательнее. Несомненно и то, что, несмотря на разнообразие прототипов, главные черты для него были взяты у графа Робера де Монтескье.

Из всех его знакомых он чаще всего говорил мне именно о графе Робере.

Однажды ночью, прервавшись на мгновение, словно бы расставаясь с этим персонажем в своем внутреннем странствии, он сказал, подразумевая де Монтескье и говоря как бы для самого себя:

— Это самая суть моего дела.

Г-н Пруст всегда повторял, что с самого начала его привлекала личность графа.

Он познакомился с ним весной 1893 года в салоне г-жи Лемер. Тогда г-ну Прусту было двадцать два года, — графу, наверно, около сорока. За год до их знакомства он издал книгу стихотворений «Летучие мыши», о которой немало говорили. У г-на Пруста в большом черном шкафу хранился экземпляр с надписью автора. Я очень хорошо помню эту книгу, которую он часто вынимал, так же как и роман Поля Бурже, переплетенный в кусок ткани от платья Лоры Гайман. Он показывал ее мне и читал стихи. Это было роскошное издание в оригинальном переплете — зеленый шелк с золотом и силуэтами летучих мышей для соответствия названию книги.

Чтение этих стихов у г-жи Лемер стало целым событием, тем более что была приглашена уже известная актриса «Комеди Франсез», мадемуазель Барте.

— Дамы млели от восторга и теснились вокруг графа среди роз г-жи Лемер.

Г-н Пруст тоже подошел с поздравлениями, но по его улыбке, когда он рассказывал об этом, я поняла, что ему для комплиментов понадобился весь его шарм. Но зато граф остался чрезвычайно доволен, и с тех пор у г-на Пруста уже не было никаких трудностей для встреч с ним. Но и сам г-н Пруст

нисколько не скрывал своего живейшего стремления к этому знакомству.

Тогда была «эпоха камелии», и он старался расширить круг своего общения, часто посещал салоны г-жи Кэллаве, г-жи Строе, г-жи Доде и г-жи Лемер, но еще не вполне вошел в столь привлекательный для него аристократический Сен-Жермен. Зная его нетерпеливость, легко понять, что он употреблял для этого все доступные для него средства, а графа де Монтескье благодаря его родовитости и связям принимали во всех домах. Среди предков графа будто бы были даже короли Франции еще во времена Крестовых Походов, не говоря уже о маршале Монлкже, жестокости которого с протестантами описаны во всех исторических книгах. Кроме того, ему принадлежал замок д'Артаньян. Через свою тетку он состоял в родстве с принцами Караман-Шиме, и по этой линии столь увлекавшая г-на Пруста своей красотой графиня де Греффюль приходилась ему кузиной. Но он был известен и в литературных кругах, особенно по своей связи с поэтом Стефаном Малларме.

Все это я знала от самого г-на Пруста, но и сама чувствовала, что граф де Монтескье был одним из самых желанных знакомств. Только благодаря ему г-н Пруст смог приблизиться к графине де Греффюль. До того дня, когда граф у себя на приеме рекомендовал его своей прелестной кузине, он встречался с ней только на званых вечерах и их отношения оставались лишь обычным светским знакомством. Но после этого его стали уже приглашать к Греффюлям. Хотя он и не так часто бывал у них и не стал другом дома, тем не менее ему представилась возможность наблюдать вблизи то, что было необходимо для его книги.

Но в отношениях с графом де Монтескье дело не ограничивалось одной только пользой, которая вскоре отступила на второй план. Граф был весьма чувствителен к восхищению и собственной персоной, и своими стихами, но на просьбы о знакомствах чаще всего откликался с неохотой. Очень скоро привлекательность самого этого персонажа стала для г-на Пруста значить не менее, чем все остальное. И еще задолго до войны только это и оставалось единственно важным.

Их отношения были трудными и сложными. В мое время они уже перестали встречаться, но часто переписывались. Рассуждения г-на Пруста относительно графа свидетельствовали об их взаимном уважении и даже восхищении, но к этому, главным образом со стороны г-на Пруста, примешивалась и немалая доля недоверия.

Граф де Монтескье был человеком очень высокой культуры,

что всегда восхищало г-на Пруста, особенно его недюжинный ум, который, впрочем, «часто затмевался солнцем его тщеславия и гордыни».

— В нем есть порода, аристократизм и дар слова, — говорил мне г-н Пруст.

Упоминал он и об его эпатажной элегантности — ему случалось одеваться во все белое с цветком вместо галстука, но с годами это отошло, и он носил только черное и серое, неизменно безупречного покроя.

Граф де Монтескье, со своей стороны, сразу же обратил внимание на г-на Пруста, хоть и напускал на себя вид снисходительного покровительства. Познакомившись, они стали часто встречаться, и с течением лет уже граф в большей степени искал его общества. Думаю, г-ну Прусту это доставляло немалое удовольствие. Впрочем, как только он собрал все нужное для своего Шарлюса, мосты были сожжены, что, однако, происходило и во всех подобных случаях. Но пока у него сохранялась необходимость изучать свой персонаж, он шаг за шагом неотступно следовал за ним.

Мне кажется, у графа с течением времени мало-помалу стало возникать беспокойство из-за мягко скрытного отношения к нему г-на Пруста — он чувствовал, что за ним наблюдают и его оценивают, и в то же время раздувался от непомерного тщеславия. Сначала перед ним был милый молодой человек, умный, внимательный и вежливый; потом он заметил в нем писателя, и, когда заходил разговор о книгах, граф стал ревновать к нему. Но, несомненно, в самом начале он поддался очарованию г-на Пруста и даже называл его «голубой птицей».

Когда г-н Пруст вынимал из шкафа томик стихов де Монтескье, то всегда читал их мне с некоторой иронией. А над его письмами он вообще смеялся, чуть ли не хохотал. Написанные красивым почерком на изящной бумаге, они были похожи на произведения искусства, а г-н Пруст отвечал ему на чем попало. Как-то раз, поставив кляксу, он сказал:

— Тем хуже, но мы все равно отправим это в таком виде. Я слишком устал, чтобы переписывать. Вот увидите, он скажет, что мне недостает настоящего класса.

Как и всегда, г-н Пруст не ошибся. После смерти де Монтескье в 1920 году нашлись оба письма — и его, и г-на Пруста. Напротив кляксы граф написал: «кака». Такие слова странным образом преследовали его: в «Содоме и Гоморре» есть место, где Шарлюс долго рассуждал об отхожем месте, и навряд ли г-н Пруст сам все это выдумал.

В де Монтескье г-на Пруста привлекали и безмерно поражали

чуть ли не до ужаса его заносчивость и злость. Он бесконечно рассказывал по этому поводу всяческие истории.

Для него наивысшим удовольствием было испортить вечер, все время оспаривая хозяйку дома. В этом он доходил даже до грубости и преднамеренных оскорблений.

Из многочисленных примеров мне вспоминается его рассказ об одном званом обеде, где де Монтескье оказался по соседству с не понравившейся ему дамой.

— Можете себе представить, Селеста? Когда в самом начале обеда гости попритихли, взявшись за вилки, раздался громкий голос г-на де Монтескье, обратившегося к хозяйке: «Мадам, как только вы могли посадить меня рядом с такой уродиной?» Хозяйка дома не знала, что делать и что отвечать, а соседка графа с удовольствием исчезла бы под стулом, но было бы лучше всего, если бы на стол рухнула люстра. И, самое худшее, для всего этого не было ни малейшей причины.

Несчастная соседка принадлежала к его кругу и никогда не сказала ему ничего, кроме любезностей и комплиментов.

Как ни странно, даже в своей грубости он сохранял манеры знатного вельможи, и все подобные выходки сходили ему с рук. Воцарилось неловкое молчание, гости уткнулись носами в тарелки, и весь стол сложился наподобие закрывшегося цветка. Потом разговоры возобновились — и тем более оживленно, что каждый хотел как-то сгладить случившееся. Но никогда, совершенно никогда я ни у кого не встречал столь безнаказанной наглости.

В другой раз г-н Пруст рассказал мне такой случай про де Монтескье: он сел в трамвай вместе с одной дамой, против которой у него был зуб, и внезапно открыл бывшую у него в руках коробку, где сидела ядовитая змея. Бедная женщина чуть не лишилась чувств, а граф от души хохотал своим пронзительным смехом.

У него был голос, легко доходивший до визгливых тонов. Декламируя свои стихи, он отбивал ритм каблуком, что случалось не только в гостиных, но даже и на улице. Голову он держал запрокинутой с видом превосходства и всегда перегибался в талии. Это тем более бросалось в глаза, что граф был худощав, долговяз, с круто изогнутым носом и закрученными вверх напомаженными усами.

— Прямо-таки стоящая на хвосте кобра, — говорил г-н Пруст, который неподражаемо передразнивал его.

Еще в начале их знакомства слух об этом дошел до самого графа, который рассердился на г-на Пруста, которому понадобилась вся его дипломатия, чтобы убедить обиженного, что

тут нет никакой иронии или насмешки, а только дань глубокого восхищения.

Но светские выходки графа совершенно померкли рядом с его поведением после преждевременной смерти его брата. Г-н Пруст был свидетелем одной такой сцены и рассказывал мне, что когда у Монтескье умер брат, г-н Пруст написал письмо его матери с выражением соболезнования. Графиня была тронута и прислала ответ с приглашением побывать у них, и он поехал к ним. Но даже через несколько лет г-н Пруст все еще не мог успокоиться, пересказывая случившееся тогда:

— Я застал графа Тьерри де Монтескье, отца, сидящим в саду и все еще подавленным своим трауром, и пытался утешить его. Он был тоже надменным человеком, известным своим цинизмом и резкостью языка. Тут же находился граф Робер, который, видя слезы на глазах старика, вдруг прервал меня и выкрикнул: «Мужайтесь, отец! Скоро ведь и вы перекинетесь в небытие!» Только он один мог доходить до подобной жестокости. Но и это еще не все. Перед тем как проститься, я опять выразил матери свои соболезнования, но он перебил меня: «А вы знаете, Марсель, что делают японские садовники?.. Нет, не знаете? Для селекции роскошных хризантем они обрывают у них все головки, кроме одной-единственной, самой красивой». Понимаете? При матери он осмелился превратить смерть брата чуть ли не в праздник для себя! Невероятно! Какая злость! А гордыня! Он считает себя выше всех. В Нейи назвал свой особняк «Дворцом Муз», а в Везине его дом превратился в «Розовый Дворец» в пику Вони де Кастеллану. И он разорился бы только ради того, чтобы превзойти Вони.

Я уже говорила, что г-н Пруст и граф Робер опасались друг друга, но это в большей степени проявлялось со стороны г-на Пруста. Даже когда он говорил мне о нем, и то я чувствовала какую-то осторожность. Иронизируя, он никогда не употреблял уничижительных слов. Похоже, что, не любя этого человека, г-н Пруст щадил графа не только ради своей книги, но и опасаясь его злословия.

Бог знает, что ему только вздумается наговорить обо мне в своих мемуарах. Я не сомневаюсь, придет время, и он опубликует все мои письма.

Но, к чести графа, в изданных мемуарах не было ничего плохого о г-не Прусте, а что касается писем, то после смерти их обоих они пошли на продажу и были куплены профессором Робером Прустом, хотя не думаю, что сам он придавал этому какое-то особенное значение. Страхи г-на Пруста по поводу публикации именно этих его писем не имели каких-то серьезных

оснований, но он вообще боялся за всю свою переписку.

Несомненно, для г-на Пруста одной из любопытнейших сторон графа была специфическая особенность его любовных отношений. Он неусыпно наблюдал, как, впрочем, и во всем остальном, за чувствами Монтескье к его секретарю, южноамериканцу Итурри. Это было притчей во языцех у всего Парижа, и, я не сомневаюсь, здесь г-н Пруст нашел неисчерпаемый источник для своего барона де Шарлюса. Он часто говорил мне, что ему очень нравится Итурри, и совершенно непонятно, почему друзья графа так смеются над этим довольно милым молодым человеком, который бесконечно предан своему патрону и неизменно помогает ему выпутываться из всяческих неприятностей, особенно денежных, не столь уж и редких.

— Он просто убивается в своей преданности. Когда Итурри умер, вскоре после смерти моей матери в том же 1905 году, я в большом письме написал графу, что вполне понимаю всю тяжесть его потери. Именно так: «Ваша скорбь не менее тяжела, чем моя».

Но когда де Монтескье нашел для Итурри преемника в лице некоего Анри Пинара, со всем этим было покончено: интерес г-на Пруста совершенно пропал — он уже получил все, что ему было нужно. Мало-помалу и его отношения с самим графом становились холоднее, а инициатива уже в большей степени перешла к графу.

Главная причина заключалась, естественно, в том, что де Монтескье узнал себя в бароне де Шарлюсе.

— Когда впервые это пришло ему в голову, — рассказывал с улыбкой г-н Пруст, — он был похож на разъяренного льва, запертого в клетке.

Конечно, г-н Пруст запутал графа всяческими объяснениями, и тот поддался на его внушения.

— Во всяком случае, сделал вид, — добавил г-н Пруст, все так же улыбаясь.

Он рассказал мне, как Гюисманс воспользовался им для своего герцога Дезсейнта в романе «Наоборот». Правда, было не вполне ясно, посчитал ли де Монтескье себя польщенным.

Среди аргументов г-на Пруста был и такой: барон де Шарлюс — полный мужчина, а граф Робер тощ, как гасконский петух. Но не думаю, чтобы он объяснил ему, что корпулентность взята им у барона Доасана, который также принадлежал к «проклятой расе муже-женщин, потомков жителей Содома, пощаженных огнем небесным», как сказано в его книге.

И, несомненно, последний визит графа де Монтескье к г-ну Прусту придал еще одну черту барону де Шарлюсу.

Это случилось в 1919 году на бульваре Османн. Тогда я

увидела графа в первый и последний раз, для меня незабываемый.

Г-н Пруст не встречался с ним уже несколько лет и не испытывал к тому никакого желания. Во-первых, с персонажем книги все уже полностью прояснилось, а во-вторых, он немного побаивался его — от графа можно было ждать чего угодно; он сам мне так и сказал тогда, уже после ухода де Монтескье.

Именно сам граф в письме выразил желание поговорить с г-ном Прустом, который совсем не хотел этого. Принесли телеграмму: «Марсель, уезжаю на юг. Буду сегодня вечером». Это означало, что он приехал из Визине и уже в Париже.

— Он остановился в отеле «Гарнье» у вокзала Сен-Лазар, сказал мне г-н Пруст. — Я знаю его привычки.

И добавил:

— У меня нет ни малейшего желания встречаться с ним. Совершенно никакого. Поэтому сделаем вот как. Вы позвоните в «Гарнье» и объясните ему, что еще не видели меня и не знаете, когда увидите, а утром я сказал, что буду отдыхать. Ах нет, это не годится; если вы позвоните, — значит, я уже прочел телеграмму... Лучше сказать, что у меня страшный приступ, и неизвестно, когда он кончится, поэтому я не смогу принять его раньше двух или трех часов ночи.

Ладно. Я иду звонить. Граф выслушивает всю мою историю и говорит:

— Я буду в два часа ночи.

Возразить совершенно нечего. Г-н Пруст все-таки попался, хотя думал, что ему удастся выкрутиться.

В два часа звонят. Открываю дверь мужчине лет шестидесяти, который похож на провинциального джентльмена с помятыми и словно нарумяненными щеками, в большом сером пальто, весьма элегантном, и с белым шейным платком. Он рассматривает меня с высоты своего роста, потом входит, и тогда я вижу по его лицу и всем манерам, что это важная персона. Он нагибается и рассматривает висящую в прихожей картину. Это была работа Эллё, которого оба они знали еще со «времен камелии» г-на Пруста по салону г-жи Лемер, как очень модного художника, изображавшего прогулки в колясках и писавшего портреты. А с этой картиной была связана одна забавная история. Как-то осенью г-н Пруст попросил моего мужа отвезти его в Булонский Лес и Версаль: «Хочется полюбоваться красными листьями осени». Доехав до Версаля, он остановил Одилона как раз возле того места, где расположился какой-то человек с этюдником и рядом с ним молодая особа. Это был Эллё со своей дочерью. Г-н Пруст оказался застигнутым врасплох, потому что, выезжая с

Одилоном, он не одевался и не брился, а надевал только брюки в полоску, шейный платок и шубу прямо на рубашку. «Теперь уже не скрыться, — сказал он Одилону, — они видели меня и узнали, а я чуть ли не в ночной рубашке!» В конце концов г-н Пруст вышел из машины поговорить с художником и его дочерью. И через некоторое время на бульвар Османн привезли эту самую картину, уже вполне законченную и вставленную в великолепную резную раму старинной работы. Но он отправил ее обратно вместе с письмом, объясняющим, что для него невозможно принять столь дорогой подарок. Однако картина все-таки возвратилась с надписью: «Мо*ему другу* Марселю Прусту», так что он уже никак не мог отказаться.

Едва войдя, граф де Монтескье, откинувшись назад, вперился в картину. Через минуту он повернулся и, бросив на меня пронзительный взгляд, попросил доложить о нем. Г-н Пруст предупредил меня: «Как только он явится, проводите его в малую гостиную и скажите мне». Я прошла с графом через большую гостиную, вспоминая о его невежливом замечании, громко высказанном однажды по поводу всей обстановки, когда он был у профессора Адриена Пруста, как рассказывал мне сам г-н Пруст. Затем, оставив его на минуту в малой гостиной, я впустила его в комнату.

Конечно, этот последний визит излишне драматизировали. Будто бы де Монтескье пробыл шесть или семь часов. Но я точно помню, что ушел он в четыре часа, после чего г-н Пруст позвал меня и рассказал о происшедшем. Прежде всего граф спросил:

— Марсель, где вы нашли эту особу, которая встретила меня?

Это было сказано все тем же обычным для него высокомерным тоном, хотя г-н Пруст посчитал его слова комплиментом.

Как всегда, немного порассуждав, де Монтескье навел разговор на свои стихи и принялся читать их. Я это слышала у себя в комнате. Конечно, не слова, из-за пробковых стен, а лишь удары каблука по полу, как он часто делал, чтобы подчеркнуть наиболее значительные места. Он продолжал стучать и дальше во время разговора. Потом г-н Пруст сильно расстраивался:

— Я очень волновался от его пристукивания, ведь другие жильцы у нас в доме стараются по утрам не шуметь, чтобы не разбудить меня.

— Но откуда такие манеры, сударь?

— Ему нужно убеждать самого себя, Селеста. Вы даже не представляете, как он несчастлив оттого, что не стал великим человеком. А ведь он жаждал триумфа для своих сочинений,

чтобы они не канули в вечность.

В конце разговора граф все-таки выдал свои намерения:

— Как вы думаете, Селеста, о чем он спросил меня, перед тем как уйти?.. «И все-таки, Марсель, мне хотелось бы знать, что будет с вашим бароном де Шарлюсом».

Хотя г-н Пруст и не упомянул о своем ответе, но по его улыбке я поняла, что он опять усыпил графа.

В заключение де Монтескье сказал:

— Я собираюсь в долгое путешествие, из которого вернусь уже седым. Поеду только на юг. Из Ниццы пришлю вам золоченого шоколада.

Я и до сих пор помню, как г-н Пруст произнес эту последнюю фразу. Один раз он уже говорил мне: «Знаете, Селеста, я ничуть не преувеличиваю, граф способен прислать мне отравленные цветы». А теперь он снова предупредил меня:

— Если когда-нибудь он и вправду пришлет шоколад, бросьте его в помойку, не открывая пакета. Я не удивлюсь, если он отравлен.

Но не было ни шоколада, ни писем. Через год граф умер там же, на юге. Как ни странно, но персонаж книги может внушать некий глубинный страх; даже после его смерти г-н Пруст говорил мне о нем:

— Поразительно, Селеста, но иногда мне никак не верится, что граф Робер умер. Ведь такой человек вполне способен представиться мертвым и скрыться под другим именем из одного только любопытства, что будет «потом»... узнать, какая осталась о нем память. Вы даже не представляете, какого он был о себе мнения!

Мне казалось, что в то время персонажи и реальные люди как-то перепутались у него в голове: в Шарлюсе он все еще видел живого де Монтескье. С другой стороны, уже много лет граф перестал существовать для г-на Пруста. Как говорится в «Обретенном времени», он стал одним из «привидевшихся во сне», «чья жизнь все более становилась сном», а истинной реальностью был г-н де Шарлюс.

XXII
«СЕЛЕСТА, Я ХОРОШО ПОРАБОТАЛ»

Надо было видеть его все эти восемь лет, ночь за ночью, чтобы по-настоящему понять всю страсть, вложенную им в своих персонажей и в свое творчество, которое в конце концов и сожгло его. И только уже потом, через годы, я поняла, что он никогда не отдалялся от своей книги. И если я говорю «книги» в единственном числе, то лишь потому, что, даже обдумывая какую-то одну главу, он всегда сохранял в себе идею всего творения.

Когда я появилась на бульваре Османн, он работал над тем, что стало впоследствии «Под сенью девушек в цвету» и составило третий, четвертый и пятый тома «Поисков утраченного времени». Достаточно лишь посмотреть, как там все связано, чтобы понять — перед его взором всегда было развитие действия в целом.

Даже выезжая в свет, он не переставал обдумывать какую-нибудь ситуацию, как и при наших с ним разговорах.

И если бы я не была так молода, то, может быть, и увидела бы эту работу мысли за его улыбкой, когда он возвращался и, сняв цилиндр, говорил мне: «Идите в мою комнату, Селеста», или: «Пошли в малую гостиную, посидим немного».

Иногда, проговорив два, три, четыре часа, он останавливался, и я осмеливалась спросить:

— Почему вы не говорите все до конца, сударь?

Он смотрел на меня с теплой улыбкой и отвечал таким тоном, в котором были слышны и серьезность, и печаль:

— Мне надо работать, Селеста, а потом мы продолжим.

Я уже говорила, что, уходя из дома, он оставлял на постели разбросанные газеты, журналы, маленькие листки бумаги со своими заметками. Моей первой заботой было привести все это в порядок к его возвращению. В доказательство того, что он никогда не переставал думать о своей книге, приведу один случай.

Однажды г-н Пруст вернулся раньше, чем я ожидала, с нахмуренным взглядом и недовольно надвинутой шляпой. Еще не раздевшись, он сказал:

— Ах, Селеста, для меня пропал весь вечер из-за одной записки, оставленной на постели. Я знаю, что вы никогда ничего не путаете, но все-таки не мог успокоиться. Если бы она потерялась, было бы ужасно. Это мне все испортило, и я уехал как только мог раньше.

Мы сразу же пошли в комнату, и он стал озабоченно рыться в бумагах, которые я положила на прикроватный столик, а найдя то, что нужно, безумно обрадовался:

— Ах, да, вот же она! Я так и думал, Селеста, вы просто чудо, просто не знаю, как и благодарить вас!

Сказать, когда и сколько часов работал г-н Пруст, так же трудно, как и ответить на вопрос, когда он спал. Я часто спрашивала себя, а спит ли он вообще? Да, он отдыхал, и, конечно же, задремывал, но полностью уйти от состояния бодрствования... В часы, когда у нас царила полнейшая тишина, я никак не могла сказать, отдыхает он или работает. Было абсолютно запрещено подходить к какой-либо двери или, фигурально говоря, даже шевелиться. Он все слышал. Потом, когда я приходила к нему в комнату, г-н Пруст говорил:

— В такой-то час вы ходили туда-то, я знаю.

И, действительно, так оно и было на самом деле. Поскольку он жил только ради своей работы, можно сказать, что и трудился не покладая рук.

Бывали вечера и ночи — особенно если он не выезжал и никого не принимал, — когда г-н Пруст не говорил мне почти ни слова, разве что просил подать или сделать что-нибудь. Но и после визитов или ухода гостя, если он звал меня, чтобы я воспользовалась своим правом на его рассказ, всегда наступал момент, и разговор вдруг прекращался.

— Дорогая Селеста, время не терпит. Надо работать, а вы идите отдыхать.

Несомненно, бывали и такие дни, когда он еще долго занимался и после моего ухода, независимо от времени. Если не было визитов, вечером, сразу после кофе, он часто сразу принимался за дело, едва просмотрев газеты и почту. Проходило три или четыре часа, прежде чем он звонил с какой-нибудь просьбой или чтобы просто поговорить со мной. А в дни визитов я сразу после его возвращения знала, будет ли г-н Пруст заниматься, уже по одному тому, на который час он заказывал себе завтрак: если это было «часа в четыре или в пять», а иногда даже в шесть пополудни — значит, у него в голове уже созрел сюжет, и очередная глава книги продвинется вперед.

Если только подумать о том состоянии, в котором я видела г-на Пруста по утрам после окуривания, то спрашиваешь себя, откуда у него брались силы для работы. Ведь он не только почти ничего не ел, но одна усталость наслаивалась на другую. Когда и каким образом он, как говорят, «восстанавливался»? Это так и осталось его тайной. Здесь может быть только единственный ответ: он жил за счет жизни. И так было всегда, начиная с детских

лет. Он или наблюдал, или писал. В Ильере для этого служила маленькая беседка на Кателанском лугу. В парижском доме родителей, когда к нему приходили друзья, его заставали обложившегося тетрадями и книгами. И уже тогда, возвращаясь со званых вечеров, г-н Пруст начал записывать то, что увидел. Он рассказывал мне, как просил мать: «Мамочка, не забудьте, пожалуйста, отложить эту статью, она мне пригодится».

В то время он писал сидя, но потом уже только в постели. Я никогда не видела его записывающим хоть одно слово стоя. И всегда было одно и то же положение — слегка приподнявшись, с подложенными за плечи рубашками, вроде спинки стула, а пюпитром служили согнутые колени. Почему у него не затекало все тело — это другая загадка. После нескольких часов в одной и той же позе все его жесты и движения головы сохраняли присущую ему легкость и мягкую грацию. При свете лампы с зеленым абажуром я всегда видела его только приподнявшимся, он никогда не поворачивался на бок.

Приятель г-на Пруста, банкир Орас Финали, подарил ему великолепный пюпитр для письма старинной работы, очень дорогой. Он сразу же показал его мне:

— Посмотрите, Селеста, какая прелесть и как это сделано. Но тут же добавил:

— Уберите его, я никогда не буду писать на нем. Полагаю, как и во всем другом, он считал, что нет смысла менять устоявшиеся привычки, это только помешало бы его работе.

Удивительно, как быстро он мог писать в своем удобном только для него одного положении. Перо так и бежало, соединяя буквы в одну линию. Я никогда не видела, чтобы он пользовался автоматическими ручками, которые уже тогда начали широко распространяться. Перья я покупала впрок целыми коробками. А ручек для них у него было штук пятнадцать, лежавших всегда поблизости, — если ему случалось выронить ту, которой он сейчас писал, то поднимать ее при нем запрещалось из боязни подхватить с пола пыль. Ручки были самые простые, школьного образца, как и чернильница — склянка в виде квадрата с крышкой. Он говорил мне:

— Я понимаю, некоторые предпочитают писать красивыми ручками, но для меня достаточно чернил и бумаги. Даже без ручки я и то обошелся бы какой-нибудь палочкой.

У него все было под рукой: сразу за ширмой красивый столик с книгами и запасом носовых платков, потом еще один стол с откидными крышками, где лежали рукописи и все его принадлежности: ручки, чернильница и часы, самые обыкновенные, за пять франков.

— Если я разобью их, — говорил он, — то не жалко выкинуть. Чинить дороже, чем купить новые.

Он и вообще по-своему практически относился к вещам.

Со временем присоединились еще и очки — не удивительно, после стольких утомительных ночей, когда по глазам бьет свет от чистого листа бумаги. Где-то написали, что он стал надевать их уже в 1915 году, но это неверно. Я припоминаю, дело было к концу нашей жизни на бульваре Османн, то есть в 1918 или 1919 году. Как сейчас вижу его в той самой комнате, и он просит меня найти слово в словаре с очень мелким шрифтом, а я еще не сразу сообразила алфавитный порядок, он нервничал от нетерпения и говорил:

— Да нет же, Селеста, не здесь! Смотрите дальше... еще дальше... А теперь назад...

Однажды он отправил меня к оптику принести весь комплект очков уже в оправах, чтобы попробовать их. Я заметила ему:

— Сударь, было бы лучше сначала проверить глаза.

— Нет, Селеста, нет. Это целое дело... нужно потратить несколько часов, а у меня совсем нет времени. И добавил:

— Возьмите для меня самые обыкновенные... просто в стальной оправе. Он не слишком уверенно назвал мне свои диоптрии. Я кое-как договорилась с оптиком и нам принесли целый набор стекол в стальных оправах. Г-н Пруст выбрал самые походящие, но, как всегда, все другие тоже остались у нас

Кроме всего этого, были также рубашки, грелки и в холодное время огонь в камине. Он звонил и говорил мне:

— Дорогая Селеста, сделайте милость, принесите еще одну «бутылку»... Дорогая Селеста, простите за беспокойство, не могли бы вы подать мне рубашку... Дорогая Селеста, будьте добры, подбросьте еще полено...

Наконец, блокнот с листками для окуривания, хотя иногда он записывал на них то, что было ему нужно, когда не хотел разговаривать — то ли от усталости или подавленного настроения, то ли не желая отрываться от работы и прерывать ход мыслей.

Я жила у г-на Пруста именно в тот период, когда он писал больше всего. Думаю, никого он не посвящал так, как меня, в свои литературные замыслы или во все подробности работы. Все, что говорилось потом, было основано только на изучении рукописей. Я же видела, как все это делается, и по своим скромным возможностям помогала ему в материальной стороне жизни.

Он сам приучил меня к рутине повседневных дел, которую я охотно принимала, благодаря своей любви и восхищению всем, что было с ним связано.

Помню, при моем появлении уже вышла книга «В сторону Свана», и он продолжал свои «Поиски потерянного времени», занимаясь «Девушками в цвету», за которых впоследствии получил Гонкуровскую премию.

Его работа была организована так, чтобы под рукой всегда лежали все рукописи, как инструменты у мастера. Я быстро научилась различать пять главных разновидностей: старые тетради и новые, над которыми он работал; тетради с заметками; отдельные записи, написанные по вдохновению момента на попавшихся случайно листках, иногда на конверте или обложке журнала.

Стоит упомянуть еще об одной детали, касающейся его «бумажонок». Почти все, писавшие о г-не Прусте, путают их со вставками, которые он вклеивал в тетради, если на странице не хватало места для добавлений из-за множества поправок. А «бумажонки» никогда не подклеивались к рукописям. Это были только памятные заметки — какая-нибудь фраза или пришедшая в голову мысль. Он или так и оставлял их или иногда переписывал в текст.

Старые тетради были основой, стержнем «Поисков» и всей его работы и заключали в себе первые наброски книги, большие фрагменты и даже целые главы, писавшиеся в течение нескольких лет, может быть, еще в молодости. Они были навалены кучей друг на друга тут же в комоде. Когда мы уезжали в 1914 году в Кабур, только они из всех рукописей оставались дома. В большой чемодан, не сдававшийся в багаж, я уложила те тетради и заметки, над которыми он тогда работал.

Старые тетради г-н Пруст называл «черными» по черным коленкоровым переплетам. Их было всего тридцать две, пронумерованных большими белыми цифрами, написанными как будто пальцем, обмакнутым в белую краску. Когда ему была нужна какая-нибудь из них, он говорил:

— Селеста, дайте мне, пожалуйста, эту черную тетрадь.

И уточнял: «Третью», или: «Двадцатую».

Обычно он смотрел их очень быстро — находил нужное место и отдавал обратно, чтобы поставить на место. Я видела эти страницы, написанные его правильным красивым почерком очень аккуратно, без поправок. Не думаю, чтобы г-н Пруст писал их в постели, тогда он работал еще сидя за столом, чего совсем не бывало в мое время. По тому, как он пользовался этими тетрадями, было ясно, что в них уже заключалось самое главное. Он только развивал, углублял и оттачивал слог.

Как и в отношении «бумажонок», по поводу «черных тетрадей» также возникла какая-то несуразица. Кажется, их

путают с тетрадями для заметок. На самом деле от «черных тетрадей» ничего не осталось — он велел мне уничтожить их. Все тридцать две превратились в пепел в большой кухонной печи.

Это произошло еще на бульваре Османн в 1916 или 1917 году, когда г-н Пруст закончил «Девушек в цвету» и уже обдумывал продолжение. Он отдавал их мне по мере того, как они становились не нужны ему, — то одну, то две или три. Все дело заняло месяцев восемь или, быть может, даже год. Помню, я рассказала об этом сестре, когда она приезжала из Оксилака в Париж, и, кроме того, уже после смерти г-на Пруста еще и Андре Моруа, который никак не мог успокоиться и все повторял: «Какая жалость! Какая жалость!» Кажется, в последний раз я сожгла сразу три или четыре тетради. Однажды он позвал меня и как бы невзначай, но глядя своим острым глазом, спросил:

— Селеста, а вы все-таки сожгли мои тетради?

— Ах, сударь, раз вы не доверяете мне, зачем тогда такие поручения? Как только вы сказали, я сразу это и сделала. Если у вас есть сомнения, почему бы не заняться этим самому?

— Ладно, Селеста, не сердитесь. Я просто шучу и уверен, вы сожгли их.

Очевидно, как это часто случалось, у него был приступ недоверчивости, и, чтобы убедиться в том, что я не взяла их себе, он захотел посмотреть на мою реакцию.

Оставшиеся после него тетради содержат только заметки, а в тех, которые я назвала «новыми», — рукописи его романов. Но они были уже не черными, а с холщовыми обложками и значительно толще, из-за множества вставок все раздувалось до невероятных размеров.

Я ходила покупать их по мере надобности в дорогой магазин тут же на бульваре Османн. Там служила обращавшая на себя внимание девушка, очень элегантная, с манерами светской дамы; если не ошибаюсь, мадемуазель Лидова, которая, как, впрочем, и все другие торговцы, всегда отличалась особенной услужливостью, если дело касалось г-на Пруста. Я выбирала тетради, и нам присылали счет. К обложкам приклеивались маленькие квадратики бумаги, и на них уже сам г-н Пруст надписывал латинскими цифрами номера.

Были еще и три тетради с заметками. Тетради с рукописями постепенно накапливались, и теперь в Национальной Библиотеке их хранится семьдесят пять — это дает представление о работе г-на Пруста.

Что касается сохранявшихся издавна маленьких блокнотов для заметок, то они были удлиненного формата с силуэтами на обложке. Их подарила ему г-жа Строе. Один он отдал мне уже в

самом конце, но, конечно, без всяких записей, и я сохраняю его до сих пор.

Если «черные тетради» лежали в комоде, то все остальные всегда находились под рукой, тщательно разложенные на ночном столике возле постели. И этот порядок никогда не менялся: в середине, возле лампы, блокноты; позади нее тетради с заметками и рукопись.

Кроме того, были еще записочки на листках и распоряжения, писавшиеся на бумаге для окуривания, так что у г-на Пруста всегда имелись все необходимые ему «инструменты».

Во время работы он редко заглядывал в книги и никогда не держал их у постели. Изредка справлялся по «Готскому Альманаху» или словарю, чтобы проверить название места или написание имени. Время от времени просил меня подать ему какой-нибудь том, быстро перелистывал страницы и сразу же возвращал.

— Спасибо, Селеста, унесите это, я уже все нашел.

Бывало, я говорила ему:

— Какой вы странный, сударь. Спрашиваете книгу и, едва взглянув, отдаете обратно.

— Видите ли, Селеста, я много читал и все знаю.

Несмотря на это, вся его комната была заполнена книгами, к которым, впрочем, он уже не прикасался.

В моей скромной помощи было и одно дело, касавшееся вставок в рукописи, которым я очень гордилась. Больше всего времени у него занимали поправки, и он бесконечно делал все новые и новые добавления.

Однажды зовет меня, и я вижу его измотанным и озабоченным.

— Дорогая Селеста, я заехал в совершенный тупик!

— Что случилось, сударь, что такое?

— Да, видите, у меня уже все поля исписаны, а надо исправлять и исправлять, не говоря уже о дополнениях. Просто не знаю, как тут быть. Пробовал вкладывать новые листки, но когда это попадет в типографию, они разлетятся во все стороны. Что мне делать?

Почти не задумываясь, я ответила:

— Сударь, если дело только в этом, тут нет никакой трудности.

— Как же так, Селеста? Нет трудности? Посмотрел бы я на вас в моем положении!

— Да нет, сударь, все очень просто. Нужно только, чтобы вы на своих листках оставляли сверху и снизу маленькие полоски, и я буду вклеивать их в нужные места. А вы можете

писать сколько угодно, останется лишь загибать их. Ну, а в типографии пусть всю эту ленту разворачивают, чтобы последовательно набирать фразу за фразой.

Его лицо просветлело, он безумно обрадовался.

— И все это можно сделать? Дорогая Селеста, как я рад! Вы просто спасаете меня.

Он был так доволен, что рассказывал об этом всем подряд и даже упоминал в письмах, особенно к своим английским переводчикам Шиффам, и называл меня замечательной женщиной.

Вот от этого рукописи и раздулись. Одну, самую знаменитую, с такой длинной лентой, сложенной аккордеоном, показывали даже на выставках. В развернутом виде она имела длину метр сорок!

Я солгала бы, сказав, что знала, над чем именно он работает, кроме «Девушек в цвету», но по всем его повадкам можно было заключить о неизменной цельности всего труда, и, если ему и случалось непрерывно писать что-нибудь одно, например, завершая книгу, все-таки чаще он переменял свои романы в зависимости от возникавших изменений и дополнений, переходя от «Германтов» к «Содому и Гоморре» и от «Пленницы» к «Обретенному времени». Все это было настолько связано в его уме, что составляло, в сущности, единую книгу.

Меня поразила сказанная им однажды фраза по поводу вида Дельфта работы Вермеера. Это было уже незадолго до конца, после того как г-н Пруст побывал на выставкё в «Зале для игры в мяч». Он возвратился оттуда совсем без сил, а ночью с восторженным взглядом, словно эта картина все еще была перед его глазами, говорил мне:

— Ах, Селеста вы не представляете, какая тщательность работы, какая тонкость! Буквально каждая песчинка! Нежнейшие оттенки то розового, то зеленого... Как это все сделано! А мне нужно исправлять и исправлять, добавляя свои песчинки...

Но в нем самом тоже были и тщательность, и утонченность. Он не успокаивался, пока не докапывался до всех мельчайших подробностей. Вспоминаю, например, как дотошно выспрашивал Одилона, когда ему понадобились для книги крики улицы.

— Ведь вы все время на улице и должны прекрасно знать ее крики, а мне остается только то, что проникает сквозь закрытые окна. Постарайтесь прислушиваться, хорошо?

— Да, сударь, конечно, я узнаю.

И когда Одилон приносил все эти словечки мелких бродячих торговцев и ремесленников, надо было слышать его добродушный смех!

— Дорогой Одилон, как я вам благодарен...

И все они, эти крики, оказались в «Пленнице» именно такими, как их принес ему мой муж: «А вот улитки, два су за улитку, свежие улитки, прекрасные улитки! Шесть су дюжина!.. Свежайшие артишоки, прекрасные артишоки!» Или еще: «Лудить! Лудить! Лужу все подряд, хоть мостовую!..»

С каким упоением повторял он эти присказки. Из него прямо-таки струилась радость, и мы ощущали неповторимый аромат его сердца.

Для меня было истинным наслаждением и развлечением хоть как-то участвовать в его работе, поэтому я и сохраняла ту самую улыбку Джоконды, ощущая в себе благоухание луговых цветов.

И если я могла в чем-то помогать ему, то скорее всего лишь потому, что насквозь прониклась его занятиями, привычками и пристрастиями. Когда он звал меня, я почти всегда уже с первого взгляда, по тому, как он смотрел или поднимал руку, чтобы сделать какой-нибудь знак, сразу улавливала его желания. Он не успевал докончить фразу, и я уже говорила:

— Да, сударь, вы хотите это? Сейчас... И протягивала ему нужную книгу или тетрадь.

— Спасибо, дорогая Селеста, как вы только догадались? Но я и сама не могла бы объяснить этот какой-то непроизвольный рефлекс моей второй натуры. У меня не было ни малейших затруднений и, следовательно, никаких особенных заслуг. Быть рядом с ним, слушать его, разговаривать, видеть, как он работает, помогать ему по мере сил — вот наслаждение, подобное прогулке в лесах и полях, где повсюду открываются все новые бьющие ключом источники.

В то время я и сама не осознавала, насколько стала необходимой для него, до одного случая, происшедшего в конце 1921 года, когда во мне накопилась какая-то страшная усталость и мне стало казаться, что я плохо помогаю ему. Г-н Пруст тогда очень торопился со своей работой: ему требовалось все как можно скорее, и он к тому же сильно уставал. Я решилась сказать ему:

— Сударь, вам нужен человек с лучшей подготовкой. Вы сможете тогда диктовать и сделаете не только больше, но и скорее. Я тоже устала и нуждаюсь в отдыхе. У меня только единственная просьба — позвольте мне время от времени навещать вас.

Его лицо было скрыто в тени подушки. Он не пошевелился и лишь ответил:

— Дорогая Селеста, какие глупости!.. Я знаю, что вы устали. Я тоже. И очень. Ладно, мы вернемся к этому разговору.

Проходит немного времени, и он звонит:

— Селеста, когда вернется Одилон, попросите его зайти ко мне. Я прислала Одилона, и он все не выходил от г-на Пруста. Наконец, появился.

— Что ты так долго? О чем вы говорили?

— Да так, пустяки. Сама знаешь, биржа и все прочее... Но Одилон не умел притворяться и тут же добавил:

— Да, вот еще... Ты вроде сказала, что хочешь уйти, и он просил меня настоять на том, чтобы этого не было.

Я объяснила мужу, в чем дело: г-н Пруст, несомненно, считает, что я не так быстро все делаю, особенно когда ему случается диктовать мне для своей книги или что-нибудь искать. Но раз мы оба уже слишком утомились, в его же интересах найти себе более подходящего человека.

— Может быть, и так, — ответил Одилон. — Хотя он считает по-другому. Сказал, что понимает тебя, но попросил: «Одилон, уговорите ее остаться. Она знает все мои привычки и все мои бумаги. Если ей в помощь нужен еще человек, даже два или три, я возьму их. Но, главное, удержите ее. Так и скажите — если она уйдет, я просто не смогу работать».

Как ни странно, но тогда я не поверила ему, думая, что это всего лишь нежелание менять свои привычки. Тем не менее я осталась и никогда не пожалела об этом.

Единственно, кто помогал ему, кроме меня и моей сестры Мари, была еще моя племянница Ивонна, прожившая на улице Гамелен около месяца, чтобы печатать деловые письма и рукопись «Пленницы».

Все мои труды и заботы вознаграждалось уже одним только удовольствием приходить иногда по вечерам на звонок и видеть г-на Пруста довольным своей работой. Несмотря на усталость, его затененное лицо светилось доброй улыбкой.

— Ах, Селеста, как я устал.. Но вот, смотрите: одна, две, три...

Он показывал написанные страницы, поглаживая голову.

— Сегодня очень удачный день. Я хорошо поработал. Да, получилось совсем неплохо. Я доволен собой.

И мне было тоже приятно видеть его в хорошем настроении. Конечно, случались дни, когда дело совсем не шло, и он звал меня, прекратив свои занятия:

— Бедная Селеста, с меня хватит. Я старался, но все без толку. И очень недоволен собой.

Листы перед ним были все исчирканы поправками, и он уже не показывал их. Я утешала его:

— Ничего, сударь, завтра все пойдет хорошо.

Взглядом он благодарил меня с такой нежностью, что даже и

в эти неудачные дни было какое-то удовлетворение просто быть рядом с ним, разделять и усталость, и сожаление и, несмотря ни на что, восхищаться им.

XXIII
ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ И СТРАХА

Вспоминаю один странный случай, который так и не разъяснился впоследствии и о котором г-н Пруст сохранял полное молчание. Много лет думая о происшедшем, я пришла к заключению, что это связано с самим духом и содержанием его труда.

Если бы я вела дневник, гак предлагал мне сам г-н Пруст, то, конечно, могла бы установить и точную дату. Во всяком случае, это, несомненно, произошло еще на бульваре Османн, в самом конце войны, скорее всего в 1917 году, потому что жила тогда без Одилона и без сестры Мари.

Я выделяю этот случай особо именно из-за произведенного на меня столь глубокого впечатления, что я волнуюсь всякий раз, вспоминая о нем и думая о его значительности.

Вот что случилось.

Однажды вечером — а не следует забывать, это означает около шести-семи часов утра, потому что он уезжал, а потом «немножко» поболтал со мной, — я ушла, договорившись, как всегда, о часе, когда подавать ему кофе.

Я легла спать и встала, как обычно, около полудня или часа. К нужному времени приготовила кофе и молоко — круассанов тогда уже не было, поставила кофейник на водяную баню и стала ждать звонка.

Проходит час, еще несколько часов. Ничего.

Продолжаю ждать, занимаясь разными делами: бельем, уборкой кухни и своей комнаты — не помню уж что еще.

В общем, всяческие мелочи, от которых не бывает шума. Именно это самое страшное, потому что г-н Пруст слышал буквально все. Как только он ложился отдыхать, до тех пор, пока не было никаких признаков жизни, воцарялась неподвижность.

А с неподвижностью нарастает беспокойство. Невозможно оставаться спокойной, сидя на стуле с вязаньем и стараясь убить время. Тем более что и во всем доме стараются не шуметь, чтобы не помешать г-ну Прусту. Наступает ночь и вместе с нею уже полнейшая тишина. Наверху, на третьем этаже, опустел и заперт кабинет дантиста Вильямса. Под нами доктор Гагэ с женой и кухаркой госпожой Шевалье. Все они ранние птички.

Уже полночь. Беспокойство перерастает в страх. В голове проносятся мысли: почему он не звонит? Что случилось? Боже, неужели приступ болезни... А вдруг он умер? Что же делать?

Потом насочиняли множество басен по этому поводу: будто я чуть не сошла с ума, бегала разбудить г-жу Шевалье, чтобы спросить совета, а она сказала, что надо нарушить запрет г-на Пруста и войти в его комнату. Все это, как и многое другое, не более чем еще одна глава в собрании приписываемых мне всяческих измышлений. Благодарю покорно!..

В конце концов я не выдержала, но все-таки не осмелилась бы переступить самый священный запрет г-на Пруста и перешагнуть порог его комнаты без звонка.

Наступила полночь, и я решилась на самую крайность — выйдя из кухни, пошла обычным путем, стараясь идти на цыпочках, чтобы не было ни малейшего шума.

Подойдя к двери его комнаты, остановилась и, задерживая дыхание, прислушалась. С другой стороны дверь была заглушена еще и портьерой.

Ничего не было слышно, совершенно ничего.

Я пошла обратно по малому коридору, где была туалетная комната и дверь, располагавшаяся почти рядом с его кроватью.

Прислушалась опять. Ничего.

Возвратившись к себе в комнату, легла, но вряд ли много спала. Еще никогда не было, чтобы он так долго не звонил; да и впоследствии это ни разу не повторялось. Я утешала себя лишь тем, что, быть может, он решил дописать до конца главу. И тем не менее впервые г-н Пруст не пил свой кофе. Или он так устал, что все еще спит или отдыхает?

Но когда и на следующий день, да еще к вечеру, он так и не позвонил, я уже перепугалась по-настоящему и совершенно не знала, что делать.

До сих пор не могу понять, как я только удерживалась. Надо было иметь мою тогдашнюю молодую голову, чтобы окончательно не свихнуться.

И только в одиннадцать вечера на второй день он, наконец, позвонил.

Стоит ли говорить, как я бежала, испытывая и беспокойство, и любопытство, и облегчение. Он лежал в постели, бледный и молчаливый, как всегда бывало после окуриваний, и только знаком руки попросил кофе. Я не могла нарушить обычай и заговорить первой, тем более спрашивать его о чем-то. А чтобы он сказал что-нибудь сразу после пробуждения — для этого нужна была какая-то очень важная новость, и случилось это за все мои годы всего один раз, о котором я еще расскажу. Кроме того, при виде моего лица он мог еще ради развлечения нарочно ничего не говорить; на такое поджаривание г-н Пруст был вполне способен.

И только после кофе он заговорил со мной. Ну как, Селеста,

что же вы подумали? Совершенно ничего, сударь; но вы сильно напугали меня, и я очень беспокоилась.

— И вправду беспокоились?

— Не то слово, сударь. Естественно, раз вы не желаете, чтобы к вам входили, мне остается лишь повиноваться. Но я никак не могла решить, что мне делать. И это было не очень приятно. Только когда вы позвонили, я успокоилась.

Глядя на меня, он немного помолчал, потом спокойно и с какой-то серьезной улыбкой сказал:

— Дорогая Селеста... я тоже подумал, что, быть может, мы больше не увидимся.

От волнения и из деликатности я так и не спросила его о причине. Потом он сказал:

— Но ведь вы все-таки приходили, правда?

— А вам не показалось это, сударь?

— Да, вы приходили. Я знаю. Я все прекрасно слышал. Сюда и сюда. И он рукой указал на обе двери. Больше не было сказано ни слова, и мы уже никогда не возвращались к этому. Я так ничего и не узнала. Мы могли болтать, шутить, но каждый оставался на своем месте; ни за какие блага я не позволила бы себе задавать вопросы.

Рассказывали, будто бы в конце 1921 года случился еще один подобный инцидент, когда он принял слишком большую дозу веронала и опиума и сильно отравился, и будто бы за этим стояло подсознательное стремление к самоубийству.

Какая глупость! Не говоря уже о том, что г-н Пруст осуждал самоубийство, как, например, в случае с его другом Жаком Бизе, он никогда и не думал укорачивать себе жизнь: своя книга была его божеством, и желание завершить ее не допускало даже такой мысли. Он доказал это, трудясь до самого последнего вздоха. Все эти домыслы и явились одной из причин, побудивших меня заговорить, прежде чем перейти в иной мир.

Вероятно — я не утверждаю, что именно так, ведь сам г-н Пруст ничего не сказал мне, — он почти два дня не звал меня совсем не из-за чего-то с ним случившегося.

У него вообще ничего такого не случалось, кроме одного раза, когда доктор Биз прописал ему какое-то неподходящее лекарство, от которого он сразу же отказался. А этот случай был просто раздут всяческими сплетнями и пересудами.

Я убеждена, г-н Пруст хотел как можно полнее и глубже пережить то, что было нужно для его книги, а именно — опыт умирания, ощущение ускользающего сознания, и, зная его, я уверена, что он тщательно обдумал нужную дозу — может быть, это был веронал, — чтобы сохранить ясность мысли.

Возможно, его интересовало тогда медленное угасание одного из персонажей, писателя Берготта. И хотя г-н Пруст в окончательном виде описал смерть Берготта лишь около 1921 года, незадолго до своей собственной, не следует забывать, что он всегда видел всю свою книгу в целом.

Мне видится в этой истории прежде всего величие человека, его преданность своему делу. И эта великолепная утонченность вместе с нежностью, когда он сказал:

«Я тоже подумал, что, быть может, мы больше не увидимся», — хотя сама я ничего такого про себя не говорила.

XXIV
ОТВЕРГНУТАЯ РУКОПИСЬ

Понимая страсть г-на Пруста к своему труду, о чем свидетельствует не только предыдущий эпизод, но и вся его Жизнь, да еще присовокупив сюда столь свойственную ему непреклонную волю воплощать свои идеи с нетерпением, которое при необходимости умеет быть терпеливым, легко представить, какое значение имел для него тот день, когда он решал, что можно уже отдавать книгу в печать.

Мне было известно об отношениях г-на Пруста с издателями только по его рассказам — когда я появилась на бульваре Османн в качестве «курьера», только что вышла — «В сторону Свана», первая книга его «Поисков утраченного времени», извлеченная из старых клеенчатых тетрадей. Он подписал контракт с Бернаром Грассе в марте 1913 года, я тогда как раз выходила замуж и, конечно, даже не слышала его имени. И навряд ли что-то знала о том, как делаются книги, — мне был двадцать один год, и я совсем недавно приехала из деревни.

Впоследствии стало понятно, что он сделал все необходимое для этой публикации: использовал свои связи среди друзей в посещавшихся им салонах, а также в дирекции «Фигаро», где иногда появлялись его статьи, и прежде всего знакомство с Кальметтом, которого вскоре застрелила жена министра Кайо.

Как и в других делах, здесь он тоже не любил являться никому неизвестной личностью. Поэтому сначала кто-то другой занимался необходимыми приготовлениями. Однако ему были нужны не просто рекомендации. От тех, кто соглашался на это, требовалось понимание ценности не только книги, но и значительности ее автора. Я не сомневаюсь, если бы он сам уже тогда не сознавал этого, то и не стал бы предпринимать никаких демаршей.

Что касается «Сванов», то, во-первых, это была очень большая рукопись — от тысячи до тысячи двухсот страниц (около семисот, отпечатанных на машинке). Во-вторых, она не походила ни на что, появлявшееся в то время. Его хлопоты начались в 1912 году. Г-н Пруст имел ввиду прежде всего два издательства: «Фаскёль», солидную фирму, куда его уже рекомендовали, и «Новое Французское Обозрение», совсем еще молодое, но привлекавшее своей шумной новизной и издававшимся литературным журналом «НРФ» с его поколением молодых авторов, поддерживавших друг друга, о которых тогда много говорили:

Андре Жидом, Полем Клоделем, Жаном Шлюмберже, Франсисом Жаммом, Жаком Копо. Последний, правда, занимался больше своим театром «Старая голубятня». Деловой частью заведовал Гастон Галлимар, женатый на дочери влиятельного банкира Лазара, — впрочем, очень красивой и элегантной светской особе, обладавшей тонким вкусом. К «Новому Французскому Обозрению» г-на Пруста подталкивал князь Антуан Бибеско, всегда увлекавшийся последними новшествами. Он же посоветовал ему подписаться и на «НРФ». Со своей стороны, г-н Пруст еще в прежние годы, будучи летом в Кабуре, познакомился с Гастоном Галлимаром. Кажется, он как-то рассказывал, что устраивал там званый обед в «Гранд Отеле» и пригласил г-на Галлимара, который не был тогда еще издателем.

Знал он и Андре Жида по светскому знакомству пятнадцати или двадцатилетней давности.

Короче говоря, г-н Пруст вполне мог и сам представить себя, но это было бы против его правил. И в «Фаскёль», и в «Новом Французском Обозрении» нашлись друзья, чтобы рекомендовать его объемистый манускрипт. Кальметт из «Фигаро» отдал в начале 1912 года первый просмотренный и исправленный экземпляр для «Фаскёль». Хотя через князя Антуана Бибеско г-н Пруст и встречался с Жаком Копо и даже решился написать Гастону Галлимару, князь Антуан все-таки сам взял второй, не вполне исправный, экземпляр и отдал его Андре Жиду, ради чего он даже устроил вместе с братом званый обед. Это было осенью того же 1912 года.

Надо сказать, что оба брата Бибеско, Эммануэль и Антуан, горячо симпатизировали г-ну Прусту и его сочинениям. Прочитав рукопись «В сторону Свана», они сразу полюбили эту книгу.

— Я знал их тонкий вкус, — рассказывал мне потом г-н Пруст, — и поэтому отдал читать роман — во всяком случае, начало. Оба в один голос с их итальянской восторженностью, свойственной румынам, заявили: «Ма-р-р-сель, это непод-р-р-р-ажаемо! Никто не пишет, как вы!»

Итак, рукопись оказалась сразу в двух местах. Но обе стороны хранили молчание. Три месяца никакого ответа от «Фаскёль» и ничего от «Нового Французского Обозрения» ни за две недели, ни за три, ни за месяц.

Князь Антуан приехал к г-ну Прусту:

— Ну, как дела, Марсель, что нового?

— Ничего, никакого ответа.

— Неужели! Никакого ответа? В конце концов князь Антуан отправился к Андре Жиду в «Новое Французское Обозрение», помещавшееся тогда на улице Мадам в квартале Сен-

Сюльпис. Жид сказал ему, что рукопись не принята:

— Наше издательство публикует серьезные книги. А о такой вещи не может быть и речи — это литература светских бездельников.

И он вернул рукопись Антуану Бибеско. Кажется, дня за два до Нового Года. Потом пришло письмо Жака Копо, более деликатное, но в том же смысле и с подтверждением отказа.

Тут-то и начинается эта знаменитая история, дошедшая чуть ли не до скандала — правда ли, что Жид был единственным, кто вообще хотя бы видел саму рукопись? Это просто какая-то комедия, разыгравшаяся вокруг завязывавшей пакет бечевки.

Впоследствии Жид признавал свою ошибку, однако объяснял свой отказ одним шокировавшим его смысловым огрехом текста. Г-н Пруст, говоря в самом начале «Свана» о «тетушке Леони» (его собственная тетка Элизабет) и ее «бледном увядшем лице», чтобы подчеркнуть всю ее худобу и осунувшееся лицо, написал о «позвонках, просвечивавших, как острия тернового венца или бусинки четок». Вот эти «позвонки» на лице «тетушки Леони» и встали поперек горла Андре Жиду и погубили в его мнении всю книгу.

Я бы не возражала, если бы это объяснение не возникло много позже, да и кроме того, версия самого г-на Пруста была совершенно другая. Это хотя и мелкий, но все же эпизод истории, о котором он часто говорил мне, причем в самом категорическом тоне:

— Селеста, уверяю вас, в «Новом Французском Обозрении» мой пакет даже не открывали.

И его доказательство всегда представлялось мне убедительным. Но сначала нужно вернуться назад — еще к Никола Коттену, который упаковывал тогда рукопись для князя Бибеско.

(Попутно замечу, что английский критик Пэйнтер среди всех прочих измышлений неизвестно откуда взял в своей книге, будто именно я, Селеста, тогда «невеста Одилона Альбаре», находясь в Париже, сама завязывала пакет. Это сплошной вымысел. В 1912 году, когда все и произошло, я еще даже не обручилась с Одилоном, вообще не выезжала из Оксилака, а тем более в Париж, куда попала уже только после замужества, в следующем, 1913 году. Вот как эти господа обращаются с правдой, если их прельщают всякие выдумки!)

Но возвратимся к Никола... Я уже говорила, что в самом начале меня определили «курьером» носить надписанные книги, а упаковывал их Никола, который делал все очень тщательно, и пакеты получались у него великолепные. Особенно хорошо он

завязывал узлы каким-то совершенно необыкновенным способом. Вот это и служило для г-на Пруста неопровержимым доказательством того, что его рукопись вообще не открывали ни Андре Жид, ни кто-нибудь другой в «Новом Французском Обозрении».

— Я видел пакет и до, и после и абсолютно уверен, что он возвратился ко мне нетронутым. Как ни старайся, самый искусный умелец никогда не сможет повторить, да еще *на том же самом месте,* завязанный Никола узел. *Практически* это просто невозможно.

Да и сам Никола был уверен, что узел никто не трогал.

Г-на Пруста очень забавляла вся эта история, и он всегда смеялся, когда о ней заходила речь.

Его убеждение оставалось до конца неизменным. Он считал, что отказ был основан только на предубеждении Андре Жида против парижских салонов, где бывал Пруст и где о нем много говорили. Он заранее, даже не читая, отверг книгу «светского бездельника».

— Он судил обо мне по моему образу жизни и светским знакомствам. Моя камелия в бутоньерке, возможно, внушала ему и его друзьям мнение о моей никчемности, — с иронией говорил мне г-н Пруст.

Но никогда, даже при его первых откровенных разговорах со мной, не было ни малейшего следа язвительности, желчи или обиды, хотя тогда память об этой истории оставалась еще совсем свежей. Он даже и не упоминал, что ведь и сам Жид бывал в салонах, и его тоже можно было назвать «бездельником».

А когда я говорила, что нельзя же было не рассердиться и не огорчиться при подобной несправедливости, г-н Пруст с улыбкой только качал головой. По-видимому, он уже слишком хорошо знал людей и воспринимал все это с великодушием и благородством лишь как ничтожную мелочь. Его замечания всегда были снисходительными и мягкими.

И все же конец 1912 года принес ему двойное разочарование: через два или три дня после возвращения рукописи из «Нового Французского Обозрения» он получил еще и отказ от «Фаскёль» — правда, изящно изложенный и, надо сказать, основанный на внимательном прочтении романа.

Тем не менее его разочарование было все-таки вознаграждено, и, зная г-на Пруста, я вполне уверена, что он никогда не сомневался в этом.

Не вдаваясь в подробности издания его книг, я хочу лишь напомнить, что после этой двойной неудачи он сговорился с молодым издателем Бернаром Грассе благодаря своему другу

Рене Блюму, брату социалиста Леона, которому мать г-на Пруста говорила: «Дорогой Леон, объясните мне, каким образом, проповедуя столь радикальные идеи, вы еще не раздали свое состояние?»

По контракту, подписанному в начале 1913 года, г-н Пруст оплачивал издание из своих средств, что он предвидел с самого начала, понимая все трудности, связанные с новизной его труда. Но когда он чего-то хотел, деньги уже не существовали для него, тем более что он никогда не писал ради денег.

Почти сразу же после выхода «Сванов» о них стали говорить, и директор «НРФ» Жак Ривьер страшно обозлился на Андре Жида за его отказ. А в начале 1914 года Галлимар и некоторые другие издательства уже предлагали г-ну Прусту гонорары, лишь бы заполучить его роман.

Вот здесь и пришел его черед смеяться, чему я сама была свидетельницей на протяжении целых двух лет: в феврале 1914 года сам г-н Жид, бия себя в грудь, явился в свою Каноссу на бульваре Османн, о чем речь еще впереди.

Думаю, именно тогда г-н Пруст забавлялся больше всего и со своей постели руководил всеми действиями. С одной стороны, в глубине души ему хотелось издаваться у «Галлимара», чего он нисколько от меня не скрывал:

— Мне нужно хорошее издательство. И не то что я недоволен «Грассе», совсем нет. Но теперь из-за войны их деятельность парализована; моя вторая книга отложена до греческих календ. Кроме того, я чувствую, что в «Новом Французском Обозрении» есть люди, такие, как Жак Ривьер, которые привержены к новым ценностям, и это мне нравится.

С другой стороны, из щепетильности в отношении Бернара Грассе и лукавства к Жиду, Копо и Галлимару, которые ошиблись и которых он хотел немного помучить за их легкомысленное предубеждение, г-н Пруст, обыкновенно столь нетерпеливый, теперь совсем не спешил.

— Ах вот как, значит, светский бездельник их все-таки интересует. А мы пока повременим, верно, Селеста? Сами явятся, ведь теперь все в моих руках. Да, повременим.

Эта игра безумно забавляла его.

Помню, что в первые два года войны Гастон Галлимар и Жак Копо отправились с официальной миссией в Соединенные Штаты, и даже оттуда они продолжали докучать г-ну Прусту. В «Новом Французском Обозрении» связь с ним была поручена некой госпоже Лемарье. Боже мой, сколько раз она приходила к нам на бульвар Османн с письмами для г-на Пруста! Но он никогда не принимал ее. Бедная г-жа Лемарье, до сих пор слышу ее голос:

— Г-н Галлимар написал мне, что г-н Пруст должен, наконец, решиться на что-то, вы понимаете, со всеми этими военными трудностями в издательстве... Но г-н Галлимар очень хочет, чтобы это дело устроилось, и г-ну Прусту нужно принять решение...

Это были настоящие мольбы. Когда я говорила ему о ее визитах, он отвечал:

— Пусть ходит, у нас есть время, Селеста. Этот г-н Галлимар порхает, как бабочка, теперь он увидел цветок и хочет на него сесть. Ничего, пусть еще покружится.

Тем не менее я почти уверена, что для него это дело было уже решено: несмотря на симпатию к Грассе, свою вторую книгу, «Под сенью девушек в цвету», он отдаст Галлимару и его друзьям.

И все же совесть беспокоила г-на Пруста. Об этом он часто и подолгу говорил мне уже когда сговорился с Галлимаром в 1916 году после множества его писем и всяческих происков.

— С одной стороны, я доволен изданием в «Новом французском Обозрении», но в то же время очень неприятно разрывать контракт с Бернаром Грассе. Конечно, я совершенно свободен, потому что «Сван» вышел за мой счет, и я ничего ему не должен. Но мне уж очень тяжело уходить от него. Он порядочный человек и доказал это во всех наших отношениях; с его умом и способностями он, несомненно, будет выдающимся издателем. Кроме того, этот человек не лишен и душевных качеств. Да, Селеста, со мной он вел себя безупречно. Но все-таки его дела парализованы войной, и он долго не сможет издавать мои книги. А меня торопит время — из-за болезни я никак не могу ждать. Остается только надеяться, что он поймет это.

Как ни тяжело, но придется писать ему.

Произошел обмен письмами, и Бернар Грассе очень деликатно, с достоинством и сожалением возвратил г-ну Прусту свободу.

— Он поразил меня, Селеста, я просто счастлив, что мы расстались по-хорошему. Как я и говорил, это благородный человек!..

Г-н Пруст навсегда сохранил признательность и уважение к Бернару Грассе.

Но совершенно другие отношения сложились у него с Гастоном Галлимаром. Раз уж я обещала не грешить против истины ради памяти о г-не Прусте, то должна сказать, что он никогда не симпатизировал этому издателю. Но г-н Пруст был слишком воспитанным и вежливым человеком, чтобы показывать это. Хотя, к примеру, он принял его всего один раз — да и то не без затруднений — и при обстоятельствах, о которых речь еще

впереди. Это произошло уже после переезда на улицу Гамелен. Я не припомню, чтобы он говорил о каких-нибудь других встречах с ним. Кажется, в самом конце, всего за несколько недель до смерти г-на Пруста, Гастон Галлимар просил у него об интервью, но, если не ошибаюсь, мне не приходилось даже открывать ему дверь, и последним, кого г-н Пруст видел из «Нового Французского Обозрения», был Жак Ривьер, с которым он тогда долго разговаривал.

По сути дела, между ними не было обычных человеческих отношений, как, впрочем, и с другими сотрудниками издательства за двумя исключениями, в том числе и Жака Ривьера, но я еще вернусь к этому.

Оставались только чисто деловые связи, относившиеся к процессу издания. Г-н Пруст посылал меня или с записками, или звонить по телефону, чтобы не было никаких упущений из-за его вставок и исправлений текста. Помню, как однажды при всей своей вежливости он все-таки рассердился — дело касалось «Девушек в цвету», которых вследствие большого объема набирали мелким шрифтом, чтобы ради экономии втиснуть в один том.

— Посмотрите, Селеста, ведь это невозможно читать! Кто же будет покупать такую книгу? Какой-то абсурд! Пусть делают все заново и, если потребуется, издают в двух томах.

Часто в связи с такого рода делами мне приходилось поздно вечером бывать у г-жи Лемарье на улице Льеж.

Ну, а что касается денежных отношений... За все время его сотрудничества с «Новым Французским Обозрением» я припоминаю только два гонорара — десять тысяч франков в самом начале и уже незадолго до смерти еще тридцать тысяч. Если бы были какие-то другие, я, конечно, знала бы о них.

Для г-на Пруста самым главным оставалось издание его книг, всем остальным он охотно жертвовал. С какой иронией он говорил о своих денежных интересах:

— Когда я спрашивал у Гастона Галлимара, нет ли у него чего-нибудь и для меня, он всегда находил какой-нибудь предлог, чтобы я немного подождал, что еще слишком рано или еще не сведены все счета...

Однажды я по наивности сказала:

— И все-таки, сударь, пусть бы г-н Галлимар убедил вас, что у него нет денег, несмотря на весь банк Лазар!

— Дорогая Селеста, как вы не понимаете! Ведь это еще одна причина!

Когда он получил второй гонорар, уже в самом конце — тридцать тысяч франков, все та же ирония: — Тридцать тысяч...

Что ж, Селеста, дело пошло! Вот видите, теперь деньги станут прибывать и прибывать...

Как я уже говорила, в «Новом Французском Обозрении» он выделял и даже любил двух совершенно разных людей, с которыми охотно встречался: уже упоминавшегося Жака Ривьера, генерального директора «НРФ», создавшего репутацию этого журнала, и коммерческого директора Тронша. Г-н Пруст абсолютно доверял Жаку Ривьеру, считал его очень умным, обходительным и мягким.

— Это просто ребенок, — говорил он о нем, — и достоин за свою безупречную чистоту всеобщей любви.

И еще одно обстоятельство привлекало к нему симпатии г-на Пруста: несмотря на плохое здоровье, Жак Ривьер тоже был фантастическим тружеником.

Ривьера настолько восхищали романы г-на Пруста, что он даже смущался в его присутствии.

— Он стесняется разговаривать со мной, Селеста, но мне все равно приятно быть с ним и слушать его.

Что касается Тронша, то это был совсем другой случай.

— Он порядочный и славный человек. Боюсь, что в издательстве его не очень-то и любят.

Г-н Пруст, несомненно, вполне доверял ему, как и Ривьеру, и даже выслушивал его мнения о своих книгах. Припоминаю, что именно он подсказал ему название будущей «Пленницы», которую г-н Пруст сначала хотел назвать «Содом и Гоморра III» и «IV». Как опытный коммерсант, Тронш понял, что при сохранении прежнего названия, многие из уже купивших «Содом и Гоморру I» и «II» не обратят внимания на нумерацию.

При всей обходительности Тронш не стеснялся в выражениях, что немало забавляло г-на Пруста. Помню, как он восхищался после одного из его визитов — кажется, в году, — когда уже начиналась слава г-на Пруста и его книги стали продаваться:

— Представляете, Селеста, он сказал, что теперь Галлимар и его люди торжествуют победу, уверенные, что наконец-то заполучили меня. Понятно, если доволен Ривьер, ведь он первым сказал Андре Жиду после отсылки рукописи: «Как только вы могли сделать это? Даже не читая!» Ну, а другие?.. Конечно, у них есть причина быть довольными; знаете, что сказал мне Тронш? «Уверяю вас, именно вы спасли издательство, ведь мы были в ужасном положении».

Думаю, и Жак Ривьер подтвердил это г-ну Прусту.

Кроме того, у Тронша и Ривьера были общие взгляды и их связывала неразлучная дружба. Это также привлекало г-на Пруста.

— Как порядочные люди, они держатся друг за друга, — говорил он.

Г-на Пруста уже не было среди нас, когда скончался Жак Ривьер; и он, несомненно, оплакивал бы его. Тронша ничто не могло утешить. Он отдавал свою кровь Ривьеру, который умирал от лейкемии. Потом я встречалась с ним, и он объяснил, как происходило переливание: «Я лег рядом с ним, и мне вкололи шприц. Но ничего не помогло».

Вполне понятна привязанность г-на Пруста к этим двум людям, я тоже их любила. Они занимались своим делом с вдохновением, но не были глухи и ко многому другому. Именно поэтому он и выделял Ривьера и Тронша среди всех прочих.

Что касается Гастона Галлимара, то я не знала его, и не мне судить о нем. В 1971 году на столетнем юбилее г-на Пруста в парижской ратуше после прекрасной речи Жака де Лакретеля меня познакомили с Клодом Галлимаром, его сыном. Он не произвел на меня особого впечатления. А у его отца мне запомнилось только его пристрастие к галстукам-бабочкам — возможно, по ассоциации со словами г-на Пруста.

XXV
ЭТОТ ГОСПОДИН ЖИД С ЕГО ЗАМАШКАМИ ФАЛЬШИВОГО МОНАХА

Точно так же, как и со своим единственным издателем, с которым при идеальной вежливости г-н Пруст поддерживал лишь деловые отношения, так и в литературных кругах он, за исключением светских встреч, отнюдь не стремился к близким знакомствам. Среди имен, упоминавшихся в наших ночных беседах, их оказывается не так уж и много. Скорее всего он понимал не только суетность этой среды, но и необходимость для его труда уединенной жизни, чему способствовали и неизбежные с течением времени потери.

Если, например, он любил писателя Даниеля Галеви, своего сверстника, то, конечно, благодаря памяти о битвах дрейфусаров и их общей привязанности к госпоже Строе, которая была сестрой Галеви. К тому же он был историком широчайшей культуры и занимался изучением того самого общества, упадок которого описал в своих романах г-н Пруст. По тому, как он говорил об эрудиции Галеви, г-н Пруст, несомненно, извлекал из бесед с ним очень многое.

Среди других имен вспоминаю поэта Фернана Грега, товарища его молодости, когда они выпускали скромное литературное обозрение.

— Но, конечно, продлилось это совсем недолго. Всего восемь номеров. Мы назвали его «Пир». И скончалось оно отнюдь не из-за недостатка идей, они были даже в избытке. Скорее всего, от несварения. Также упоминался Рене Бойлев, которого когда-то он весьма почитал, но потом охладел, как и ко многим другим. Иногда г-н Пруст говорил о Поле Бурже, но с некоторым пренебрежением:

Он хочет показать сразу все, это мне не нравится.

В мое время г-н Пруст переписывался с Полем Клоделем — помню, что сестра Мари носила ему письма. Но большой симпатии к нему все-таки не было.

— Я недостаточно благочестив для этих людей, — говорил он.

Почти так же относился г-н Пруст и к Франсуа Мориаку, хотя значительно теплее, и всегда говорил, что с самого начала высоко оценил его.

— Но по мне он слишком набожен, и я чувствую чуть ли не порицание с его стороны. Он как будто бы сдерживает свои порывы обратить меня в свою веру.

Они чаще обменивались письмами, чем виделись друг с другом, хотя их отношения были по-настоящему дружественными. Вспоминаю волнение Мориака, когда его сын Клод женился на внучатой племяннице г-на Пруста, уже после его смерти. Я поехала на торжество. Он обнял меня и сказал своим знаменитым голосом: «Ах, Селеста, как я счастлив наконец-то познакомиться с вами!»

Несомненно, в большей степени г-на Пруста привлекали молодые писатели или те из его поколения, по сравнению с которыми он был старше на десять-пятнадцать лет, потому что они лучше воспринимали его книги, чем сверстники.

Именно поэтому самыми близкими к нему за последние восемь лет были такие люди, как Жак де Лакретель, Поль Моран и Жан Луи Водойе, а одно время даже Жан Кокто, который, желая любой ценой прослыть оригиналом, забавлял его своим шутовством и всяческими небылицами.

Помню и Жана Жироду. Г-н Пруст редко с ним виделся из-за недостатка времени, но очень ему симпатизировал, а Жироду отвечал на это бесконечным восхищением. Однажды г-н Пруст приехал с ним после вечера у Жанны Гюго, тогда уже разошедшейся с Леоном Доде. Очень хорошо помню его: высокий, тощий, несколько сутуловатый, с мягким и умным взглядом. Это было на улице Гамелен, уже в последние годы. Помню, как я рассмешила г-на Пруста, когда он сказал, что Жироду лимузенец, воскликнув: «Да ведь там родилась г-жа Шевалье!» — кухарка доктора Гагэ, моя единственная приятельница на бульваре Османн. «Я вставлю это в книгу», — сказал г-н Пруст и действительно так и сделал.

Но среди всех этих людей, которые тяготели к г-ну Прусту значительно больше, чем он к ним, следует остановиться на Андре Жиде, прежде всего как на единственном виновнике отказа Галлимара от «Свана»; уже потом, после смерти г-на Пруста, появились измышления о каком-то родстве духа и отношений между ними. Эти вымыслы исходили от самого Андре Жида и развивались в его писаниях — возможно, из желания сгладить свою ошибку в глазах публики.

Но в любом случае я могу подтвердить, что г-н Пруст не любил и не уважал Жида. И совсем не из-за отказа от «Сванов» — у него было достаточно и благородства, и терпимости к человеческим слабостям. Но он не одобрял ни его мировоззрение, ни его труды, хотя в какой-то степени ему нравился стиль и сам

талант этого писателя.

Например, по поводу « Подземелий Ватикана» г-н Пруст говорил: «Это совсем недурно». Однако, что касается всего остального:

— Он хотел вовлечь меня в свой клан, не видя ничего, кроме своих идей, абсолютно чуждых мне. Ведь я-то никакой не «Имморалист»!

У них не было ничего общего. По мнению г-на Пруста, Жида связывало с ним только то, что, обжегшись на «Сване», он стал посмешищем в глазах своих друзей, и ему просто хотелось отыграться.

Как я уже говорила, после публикации «Свана» в 1913 году у «Грассе» и появления первых хвалебных статей, люди из «Нового Французского Обозрения» стали переманивать г-на Пруста — Ривьер, Копо, Жид, все без исключения. В искренности первого у него не было ни малейших сомнений. Антуан Бибеско, знавший все сплетни и пересуды, сразу же донес ему о том, как взорвался Ривьер на совете «НРФ» и как, ничего не зная про бечевку Никола, открыто обвинил Жида за то, что тот, даже не читая, возвратил рукопись. Но искренность писем Копо и особенно Жида ставилась под большое сомнение.

Даже через несколько лет г-н Пруст все еще смеялся над выспренными фразами Андре Жида, который вдруг открыл для себя его романы: «Вот уже несколько дней, как я не расстаюсь с вашей книгой и буквально переполнен восторгом...»

Да и было над чем смеяться: издательство «Фаскёль» вслед за Галлимаром тоже вдруг проснулось и предлагало себя для следующих книг.

Наконец, в 1916 году, заставив всех томиться целых два года, г-н Пруст решил, что уже наступил нужный момент заключить *свой* мир, на *своих* условиях с «Новым Французским Обозрением». Это и было сказано в его письме к Андре Жиду, как члену совета, после чего сей последний незамедлительно приполз на животе с покаянным визитом.

Я прекрасно помню всю эту историю и даже тот день, потому что сама участвовала в ней, 25 февраля 1916 года, через два года после письма самого Жида, в котором он признавал себя «ответственным» за отказ от «Свана» и заявлял о своих восторгах перед этой книгой.

Итак, 25 февраля г-н Пруст зовет меня и протягивает конверт с обширным, судя по внешнему виду, посланием:

— Селеста, я написал г-ну Андре Жиду о своем согласии на мир, раз уж ему кажется, что я сержусь на него. Возьмите такси и отвезите это письмо, но только в собственные руки. Адрес на

конверте: вилла Монморанси. Это где-то в Отейле, XIV-й округ. Найти не очень легко, но шофер должен знать.

Ладно, я отправляюсь. Приехав, вижу узкую маленькую дверь. Звоню. Открывает женщина с лампой в руке. Шла война, и, наверно, тогда отключили электричество. На женщине длинное темное платье, совсем простое. Помню, меня поразило и это платье, и выражение глубокой печали на ее лице. И еще я подумала: «Как странно, ведь она похожа на крестьянку».

— Что вам угодно? — спросила женщина, поднимая лампу, чтобы рассмотреть меня.

— Могу ли я передать это письмо лично г-ну Жиду?

— От кого оно?

Я назвала имя.

— Подождите минуту, я предупрежу г-на Жида.

Она не представилась (быть может, это была горничная) и, поднявшись по сумрачной лестнице, исчезла где-то наверху.

Жид сразу же спустился ко мне, взял письмо и спросил, нужен ли ответ. Я сказала, что да, и он предложил мне сесть и подождать, пока прочтет послание г-на Пруста. Я все время рассматривала его. На нем была накидка из грубой шерстяной ткани. Взгляд и все лицо показались мне какими-то неопределенно-неприятными своим видом фальшивой или, скорее, натянутой искренности. А в остальном он был очень даже любезен.

Я возвратилась с ответом, что он приедет к нам сегодня же, и, похоже, он ринулся на бульвар Османн сломя голову.

И едва я успела доложить обо всем г-ну Прусту, как он уже явился. Всякий раз, когда мне приходилось относить письма, я должна была давать не только подробный отчет о том, что при этом говорилось, но еще и обо всем увиденном.

Помню, в тот день он был особенно любопытен и дотошно расспрашивал меня.

— Хорошо, а теперь опишите мне, что это за вилла Монморанси. Я рассказала про узкую дверь, лестницу, темноту.

— И кто вас встретил? Я описала «крестьянку», и он с печальным видом покачал головой:

— Ах, Селеста, ведь это была бедная г-жа Жид. А как вам показался сам г-н?

— Он был очень любезен. Но, не знаю уж, как и сказать... Все-таки что-то в нем мне не понравилось.

— Но почему, Селеста, вы же должны знать.

— Увидев его, я уже не удивляюсь, что он отказался от вашей рукописи, даже не читая. Он именно таков с этим видом фальшивого монаха, из тех, которые выставляют напоказ свою

набожность.

Г-н Пруст смеялся как сумасшедший, а это случалось с ним очень редко.

И тут же позвонили — приехал г-н Жид. Помню, совсем рано вечером — часов в шесть или семь. Я пошла открывать. Он был без шляпы и все в той же шерстяной накидке. Проведя его в малую гостиную, я доложила:

— Фальшивый монах уже здесь.

Он вошел к г-ну Прусту, который, как всегда, лежал в постели. Жид так и был в своей накидке; придерживая ее согнутой рукой, он остановился у камина, и я бесшумно удалилась. Вскоре г-н Пруст снова позвал меня, не помню уж зачем. Жид своим глубоким, резонирующим, — как тогда называли, бронзовым, — голосом говорил:

— Да, г-н Пруст... да, я согласен... это самая большая ошибка в моей жизни...

Очевидно, речь шла все о том же возвращении рукописи.

Я снова вышла, а он еще оставался некоторое — впрочем не очень долгое — время.

После его ухода г-н Пруст позвал меня. Он улыбался и чувствовал себя победителем. Еще во время их разговора я заметила то самое движение век, открывавших и закрывавших его испытующий взгляд с выражением удовлетворения от собственной подтвердившейся правоты. На этот раз смысл был ясен: «Каков ты ни есть, но я все-таки поймал тебя».

Г-н Пруст рассказывал мне, что Жид принес свою безо*говорочную* повинную, а сам он в ответ не умолчал о том, что думает по поводу измышленного предлога, когда упоминались «светские бездельники».

— Сударь, весьма похвально признаваться в самой большой ошибке, но что он сказал о вскрытии пакета?

— Конечно, даже не развязывал! Но теперь это не важно. А потом, ведь ошибки вообще свойственны человеку. Но при всем том вы совершенно правы — вид у него действительно фальшивый.

Прозвище «фальшивый монах» так и сохранилось в наших разговорах, а иногда нам случалось даже передразнивать его.

Думаю, что Андре Жид был настолько ослеплен собственными идеями и пристрастиями, так пропитан собой, что, несмотря на свою показную скромность, хотел использовать книги г-на Пруста для подкрепления этих идей и пристрастий, особенно те места в «Поисках потерянного времени», где показаны нравы и пороки персонажей романа. Возможно, под его влиянием многие читатели и сконцентрировались именно на

этом — в частности, на Шарлюсе, — посчитав, что здесь заключается самая суть книги.

Ну, пусть они и думают, как им угодно. Я вовсе не собираюсь оправдывать г-на Пруста, да и в чем, собственно говоря? Кем бы кому он ни казался, он был свободным человеком. Добавлю только: сводить весь труд г-на Пруста лишь к одной этой стороне — значит незаслуженно суживать его и совершенно не понимать гениальность автора. Будь оно так, ничего не получилось бы из задуманного им собора, в который вступают читатели всего мира.

Жид где-то написал о заметках, сделанных им после двух визитов к г-ну Прусту, происшедших будто бы в мае 1921 года и, следовательно, на улице Гамелен. Как ни странно, но у меня не сохранилось ни малейших воспоминаний о его втором посещении, хотя я прекрасно помню уже немногочисленных тогда гостей, которых мне же и приходилось встречать. Еще более удивительно его утверждение о том, что г-н Пруст послал за ним Одилона и к тому же показался ему сильно растолстевшим, да еще дрожащим от холода в перетопленной комнате.

Может быть, в самое последнее время у г-на Пруста и была некоторая отечность, но только одному Жиду пришло в голову называть его «растолстевшим». Что касается «перетопленной» комнаты, то, по правде говоря, у нас на улице Гамелен вообще не топили. Дальше я объясню, что мы там просто замерзали.

Если Жид и приезжал, я подозреваю, лишь ради того, чтобы подтвердить еще раз вымышленное совпадение его идей об «уранизме» со взглядами г-на Пруста. Совершенно ясно помню один случай, который хочу предложить на суд и скептиков, и почитателей и который, на мой взгляд, по своему значению весьма показателен.

Дело было в конце дня, когда г-н Пруст, как всегда, после кофе просматривал почту. Пришло письмо от Андре Жида, который рекомендовал ему какого-то молодого человека и просил чем-нибудь помочь ему. Прочтя письмо, г-н Пруст объяснил мне, в чем дело, и добавил:

— Я такой благотворительностью не занимаюсь.

Наступило долгое молчание, он словно бы весь ушел в свои мысли. Потом сказал, тщательно подбирая слова:

— Надеюсь, когда-нибудь поймут, что именно Андре Жид принес самый большой вред нашей молодежи.

И, закрыв глаза, чтобы возвратиться к своим мыслям, тихо, как бы для самого себя, проговорил:

— Как это печально... очень печально...

XXVI
ОН НЕ СОМНЕВАЛСЯ В СВОЕЙ СЛАВЕ

Я часто спрашивала себя: если его здравый взгляд на других людей исходил, несомненно, из ясного понимания самого себя, то откуда бралась та легкость оценок и способность обходиться без общения, как только он удовлетворял свою потребность в наблюдениях? Не было ли это результатом его уверенности в своем значении по сравнению со всеми окружающими? Это бросалось в глаза по его отношению к успехам и почестям, когда они стали приходить к нему.

Вспоминаю Гонкуровскую премию за «Девушек в цвету» в декабре 1919 года.

У него был только один конкурент в этот первый послевоенный год — во время войны премия не присуждалась. Многие превозносили Ролана Доржелеса за его фронтовой роман «Деревянный крест», тем более что далеко не всем было известно о болезни г-на Пруста, из-за которой он освободился от мобилизации и поэтому выглядел как бы «тыловым» писателем.

Говорили, что премия досталась ему благодаря интригам и по дружбе с Леоном Доде, состоявшим тогда в жюри. Но с его стороны не было ни малейших происков, хлопотали только друзья, которым, правда, он не препятствовал и дал утвердительный ответ на запрос Рони Эне, примет ли он премию в случае присуждения. Впрочем, как мне кажется, для этого потребовались два письма Рони и два его визита на улицу Гамелен.

Несомненно, Леон Доде содействовал ему, но при всей экспансивности его темперамента он оказался далеко не единственным — Рони Эне тоже не скрывал своих симпатии к г-ну Прусту. Это отнюдь не было простым совпадением. Леон Доде искренне восхищался его книгой и, обладая бойцовским характером, сразу же встал на сторону своего друга.

После получения премии г-ну Прусту полагался, естественно, весь букет сплетен и пересудов по поводу голосования жюри. Он, например, рассказывал мне, что во время обсуждения Леон Доде страшно рассердился на сторонников Доржелеса, которые протестовали на том основании, что будто бы по завещанию Гонкуров премия должна присуждаться только молодым авторам, а г-ну Прусту было сорок восемь лет, некоторые плохо осведомленные члены жюри говорили даже, что ему уже за пятьдесят.

— Похоже, с Леоном Доде случился настоящий припадок ярости, — рассказывал мне г-н Пруст, — и он стал кричать: «Вы даже не знаете завещания Гонкуров. Я принесу его и извольте прочесть. Там ничего не сказано про возраст, а говорится лишь о молодом *таланте*. Это как раз случай г-на Пруста. Еще раз повторяю — он опередил свое время на сто лет».

И Рейнальдо Ан одним из первых настаивал на том, чтобы он выставил свою кандидатуру.

В конце концов «Девушки в цвету» победили «Деревянный крест» шестью голосами против трех.

Это произошло 11 декабря, премия присуждалась часов в пять-шесть вечера, когда у нас день еще только начинался. В дверь позвонили. Я пошла открывать и увидела на лестнице человека, который представился как Гастон Галлимар. Вместе с ним пришли еще двое: Жак Ривьер и Тронш. Галлимар был в страшном возбуждении и торжественно провозгласил:

— Полагаю, вам известно, что г-н Пруст получил Гонкуровскую премию?

Но откуда мы могли знать? У нас уже давно не было телефона и вообще никаких связей с миром. Даже приятели слишком уважали привычки г-на Пруста, чтобы беспокоить его во внеурочное время даже ради такого известия.

Я сразу с восторгом сообщила ему об этом. Клокотавший от нетерпения Галлимар тут же заявил:

— Мне абсолютно необходимо видеть г-на Пруста и незамедлительно.

Стоявшие за ним Жак Ривьер и Тронш были сдержаннее и не произнесли ни слова.

Я ответила Галлимару:

— Хорошо, сударь, пойду предупредить г-на Пруста.

Он уже проснулся, произвел окуривание и выпил свой кофе. У нас было условлено, что я могу входить без вызова в случае какого-нибудь экстраординарного известия. Войдя в комнату, я увидела его спокойно лежащим на подушках и, по всей очевидности, медленно готовящимся к новому дню.

— Сударь, очень важное известие, вам будет очень приятно... Вы получили

Гонкуровскую премию!

Он смотрит на меня и произносит только одно слово:

— Да?

Как будто для него это совершенно безразлично, хотя я прекрасно знала, что в глубине души он обрадовался. Но у него было всегда так — он владел собой в любых обстоятельствах и никогда не выходил из равновесия.

— Да, сударь. Пришел г-н Галлимар вместе с г-ми Ривьером и Троншем. Он страшно возбужден и желает немедленно видеть вас.

— Нет, это невозможно, дорогая Селеста, так и скажите. У меня нет ни малейшего желания. Может быть, позднее... да, часов в десять... может быть...

— Но, сударь, похоже, у него какое-то важное дело к вам.

— Нет, Селеста, скажите г-ну Галлимару, что я бесконечно благодарен ему за визит, но совершенно не в состоянии принять его. Пусть приходит в десять вечера... или завтра...

Возвращаюсь с этим к Галлимару, и он начинает возмущаться:

— Но это просто невозможно, я же говорю, мне непременно нужно его видеть. У меня важнейшее дело! Он просто не отдает себе отчета! Сегодня вечером я должен поездом двадцать один час нестись в Довилль, чтобы запустить тираж. Иначе катастрофа, у нас не хватает книг! Умоляю вас, я должен его видеть, нельзя терять время... Объясните ему, он вредит сам себе.

Снова иду к г-ну Прусту:

— Сударь, он настаивает. Кажется, ему сегодня нужно на поезд, чтобы уладить дела с тиражом и бумагой. Похоже, у него и в самом деле трудное положение. Надо бы принять его.

Он не отвечал, и я продолжала:

— Прошу вас, сударь, сделайте над собой усилие. Г-н Пруст вздохнул и улыбнулся:

— Хорошо, пусть войдет... но только на минуту и один. Я впустила Гастона Галлимара, и это был тот единственный раз, когда его принял г-н Пруст. Впрочем, Жаку Ривьеру и Троншу не пришлось долго ждать — разговор оказался непродолжительным. Когда дверь за тремя визитерами затворилась, г-н Пруст позвонил мне. Он выглядел очень довольным.

— Прекрасно. Дорогая Селеста, я разобрался с г-ном Галлимаром, и мне остается только сказать вам... Вполне возможно, теперь начнутся звонки в дверь, меня все-таки найдут. Я не хочу никого принимать. Особенно журналистов и фотографов... Это опасные люди, он во все суют свой нос. Гоните всех прочь.

И добавил с улыбкой:

— Если вас будут расспрашивать, ни слова.

Приказ был скрупулезно исполнен. Ни один журналист или фотограф не проник в квартиру на улице Гамелен.

Нет никакого сомнения, что он был очень доволен Гонкуровской премией, хотя и не показывал этого. В тот же день или немного позднее он объяснил мне:

— Видите ли, Селеста, есть великое множество литературных премий для награждения и поощрения писателей. Даже неизвестно сколько. Но значительных совсем немного, ради которых стоит беспокоиться. Это «Фемина» и большая литературная премия Французской Академии. Однако даже они ничего не стоят рядом с Гонкурами. Сегодня это единственная настоящая премия, потому что ее присуждают люди, понимающие толк в романах и их достоинствах.

Он был очень горд этой наградой и полученными поздравлениями, в том числе и от тех трех членов жюри, которые до самого конца отстаивали Доржелеса. И получилось, как будто он был избран единогласно.

Больше всех его тронула знаменитая актриса Режан, которой он восхищался чуть ли не с десятилетнего возраста, когда впервые увидел ее на подмостках. Через своего сына Жака Пореля, поклонника г-на Пруста, она спрашивала, какой подарок был бы ему приятен в память о премии. Он попросил ее фотографию в костюме Сагана, роль которого она блистательно исполняла в ревю театра «Эпатан». Когда Жак Порель принес этот подарок, он, по обыкновению, объяснил мне все связанные с ним подробности.

— Посмотрите, Селеста... Из всех женщин только она с присущей для нее элегантностью осмелилась надеть мужской костюм и носить монокль. А вот и гардения в бутоньерке... Жаль только, что оставила в ушах свои жемчужины.

Он был счастлив, как ребенок.

Но при всем этом Гонкуровская премия нисколько не изменила его повседневную жизнь. Рассказывали, будто он истратил полученные пять тысяч франков на благодарственные обеды и приемы. Я ничего такого не припоминаю. Если бы это было, то в первую очередь г-н Пруст пригласил бы голосовавших за него, прежде всего Леона Доде и Рони Эне.

Впрочем, он встретился с некоторыми критиками — например, с Полем Судэ из газеты «Ае Тан», который делал всю погоду на литературной кухне. Судэ написал о нем довольно сдержанную статью. Именно поэтому г-ну Прусту захотелось познакомиться с ним — как всегда, на первом плане оказывалось все то, что касалось его книг. Мнение критика волновало его отнюдь не по мнительности, но из любопытства к иному взгляду, а также потому, что ему всегда хотелось поделиться с другими добытой им истиной.

Я уже не помню всех обстоятельств, но, скорее всего, он сделал все возможное, чтобы их встреча произошла самым торжественным образом. Они встречались дважды, за обедом и

ужином в отдельном кабинете у «Рица». Первый раз не очень удачно. Оба так и остались каждый при своем мнении, но, конечно, не выходя за рамки вежливости. Помню, как г-н Пруст сказал мне по этому поводу:

— Г-н Судэ довольно-таки упрям. В нем нет той широты, которая необходима для понимания других. Но он порядочный человек, твердо убежденный в истинности своих предрассудков. А это уже кое-что.

И прибавил как бы для самого себя:

— Но я добьюсь своего...

После второго обеда все уладилось. Я приглашала тогда графиню де Ноайль и ее сына и очень образованного американца Уолтера Берри, человека высокой культуры, обожавшего книги г-на Пруста. В то время он был президентом Американской Торговой Палаты в Париже. На этот раз г-н Пруст возвратился торжествующий:

— Все хорошо, Селеста. Все великолепно.

Критика Поля Судэ действительно стала вровень со значением его труда. Со своей стороны г-н Пруст относился к нему с неизменным уважением. Уж не знаю, кто выдумал нелепую историю о коробке с шоколадом, будто бы присланным им к Новому Году, которую г-н Пруст велел мне бросить в печку, опасаясь отравы, и даже сказал: «Этот человек способен на все». На самом деле его слова относились к графу де Монтескье, да и то он никогда не присылал никакого шоколада. Это еще одна из сотен гуляющих сплетен и, самое худшее, попадавших в серьезные и «объективные» книги. Разве я, старая женщина, должна учить этих господ, собирающих всякие небылицы и выдумки, необходимости проверять их? Лучше бы они взяли в этом пример с самого г-на Пруста. Но для них важны их жалкие концепции, а у него всегда была некая большая идея.

Наконец, завершились официальные чествования, впрочем, весьма скромные. Кроме Гонкуров, оставался еще Почетный Легион, о котором по установившемуся обычаю можно было ходатайствовать, на чем настаивали многие из его друзей. Мне кажется, если он и сделал это, то лишь в память о родителях, думая, как бы они порадовались за него. У самого профессора Адриена Пруста была внушительная коллекция медалей, и не только французских, а буквально со всего света. Из своих инспекционных поездок за границу он всегда возвращался с какой-нибудь наградой. Г-н Пруст бережно хранил их в ящиках комода вместе с большими лентами.

Он получил орден Почетного Легиона ровно через год после Гонкуров, в декабре 1920-го, одновременно с графиней де Ноайль

и чуть раньше, чем г-жа Колетт, — кажется, месяца на два. Не было никакой церемонии. Его принес брат Робер, и они обедали вдвоем тут же у постели, после чего еще долго сидели, вспоминая свое детство.

Его собственный крест был единственным настоящим даром на моей памяти — он терпеть не мог подношений, хотя сам любил делать подарки. Говорили, будто г-н Пруст получил его от одного торговца картинами. На самом же деле от художника Жана Беро, которого он хорошо знал еще с молодых лет по салону г-жи Лемер. Кроме того, Жан Беро был секундантом в той знаменитой дуэли с Жаном Лорреном. Я прекрасно помню, как Беро написал ему, прося принять в знак дружбы этот крест, купленный у Картье. Чтобы не пересылать его по почте, за ним отправилась моя сестра Мари. Крест был небольшой, очень красивый, тонкой работы и с мелкими бриллиантами. Проснувшись, г-н Пруст спросил:

— Мари уже вернулась?

— Да, сударь.

— А крест принесла?

— Да, сударь.

— И какой он?

— Очень изящный. Когда я подала ему крест, он стал рассматривать его с выражением детского удовольствия, которое часто появлялось у него на лице.

— Как это мило со стороны Беро! И меня восхищает не столько сам подарок, как эта деликатность.

Была ли приятна ему награда, он никогда не говорил. Но я видела переполнявшую его радость, в которой слились и дружеский подарок, и полученное им отличие.

Думаю, проживи он дольше, непременно стал бы и членом Французской Академии и, не сомневаюсь, гордился бы этим, как исполнением предсказания отца, который любил говорить: «Вот увидите, Марсель еще будет в Академии». Г-н Пруст упоминал об этом в письме к академику писателю Морису Барресу. Я видела его письмо. Но со мной он никогда не говорил на эту тему, хотя не может быть никаких сомнений, что такая честь была бы ему приятна. Мелочи никогда не интересовали его, он сохранил себя для великого — того, что давало ему заслуженное место в обществе.

Самым выдающимся качеством его характера была спокойная уверенность в своей значимости и превосходстве, хотя он старался не показывать этого, умея стушевываться за формами вежливости. Но сам он никогда не считал себя посредственностью!..

Как сейчас помню тот вечер, когда г-н Пруст показал мне фотографию белокурого ребенка — того самого «маленького принца» с тросточкой. В порыве нежности он протянул ее мне:

— Это была любимая фотография бабушки Вейль, возьмите ее себе, дорогая Селеста...

Впоследствии я отдала ее в ильерский музей. Она была в рамке из кожи с золотым тиснением. А тогда я сказала ему:

— Ах, сударь, ваша бабушка ведь знала, что вас ждет слава, недаром же на рамке королевские лилии.

Хоть он и рассмеялся, но в нем чувствовалась гордость за себя. Однако у него совсем не было тщеславия, в том числе и к мнениям критиков. В похвалах ему нравилась только правдивость и особенно талант автора. Знаменитый немецкий критик Куртиус написал, что считает его самым значительным классическим писателем XX века, и г-н Пруст, показывая мне это письмо, сказал:

— Я очень горд. «Классический» — как прекрасно сказано! И, главное, человеком такой возвышенной души.

Когда я носила его письма, меня всегда спрашивали: «Как он поживает? Как его работа?» — и почти всегда речь заходила о его книгах. По возвращении происходил отчет, который он внимательно выслушивал, заставляя повторять интересные ему подробности, чтобы проверить правильность сказанного. Помню, например, как я была у банкира Гана, жившего холостяком с матерью и теткой. Пока я ждала его в гостиной, сидевшая тут же мать спросила меня:

— И чем теперь занимается г-н Пруст? Как его здоровье? Ведь мы живем только его книгами. Когда теперь будет продолжение? Мы просто сгораем от нетерпения. У него такое богатство, все так насыщенно! Открываешь для себя все новое и новое...

Возвратившись, я передала ему этот разговор. Он слушал меня со сдержанной улыбкой удовольствия.

— Насыщенно. Она так и сказала: насыщенно?.. Это мне нравится. Да, хорошее слово...

Но обычно в подобных случаях он напускал на себя скромность, словно бы не вполне доверяя мне, хотя на самом деле весь преображался от гордости.

Однако г-н Пруст при этом нисколько не терял своей привлекательности. После званых вечеров, улыбаясь и рассказывая, как к нему подходили с поздравлениями, он повторял говорившиеся слова:

— Я благодарил их, Селеста, и они думали, что провели меня... Но было сразу видно — не прочли ни строчки!

Посылая надписанные книги, он тоже не строил иллюзий. Например, о графине Греффюль и госпоже Шевинье г-н Пруст говорил:

— Они не читают, но если бы и читали, все равно ничего бы не поняли.

Многие представляли г-на Пруста человеком злопамятным, не понимая его истинной значимости. Это было совершенное заблуждение. Он не обращал внимания на мелочи, а когда что-то обижало его, лишь укрывался за стеной презрения, не больше. Но и не забывал, в его памяти сохранялся и дебет и кредит, хотя он никогда не отплачивал своим недоброжелателям, а только оценивал и чаще всего даже искал для них какое-нибудь оправдание в самой природе человеческих побуждений.

Когда присуждалась Гонкуровская премия, Альбен Мишель, издатель Доржелеса, оказался расторопнее Галлимара и выпустил «Деревянный крест» с ленточкой на обложке, где была крупная надпись «ГОНКУР» и дальше совсем мелко: «три голоса». Многие друзья г-на Пруста и «Новое Французское Обозрение» советовали ему судиться за подобный обман, но он написал Гастону Галлимару, что считает подобный иск недостойным и некрасивым, поэтому все так и оставалось, если мне не изменяет память.

За все мое время он только однажды позволил себе маленькую месть (да и не такую уж злую). Это было уже в последние месяцы его жизни и связано с большим званым вечером у графини Мюн, куда он очень хотел пойти, несмотря на свою ужасную слабость и уже подхваченный грипп, который вскоре еще ухудшился.

Помню, ему было так плохо, что он боялся обмороков, но на мои предостережения лишь отговаривался:

— Я поеду с Полем Мораном. Правда, там большая лестница без перил, и я не хотел бы поскользнуться и упасть, если закружится голова... Я тогда разобьюсь... Но с Мораном уже не страшно — в случае чего я возьму его за руку. Так что все будет хорошо.

Возвратившись поздно ночью, он, несмотря на усталость, был очень доволен и рассказывал мне:

— Ах, дорогая Селеста, все приходит к тому, кто умеет ждать. Сегодня я изрядно позабавился. Там был весь бомонд... даже слишком — совсем разные люди. Явился и романист Марсель Прево, я часто вам говорил о нем. Он так и крутился вокруг, когда меня поздравляли и говорили о моих книгах. Потом подошел и сказал: «Добрый день, г-н Пруст», — но я сделал вид, что не слышу и не вижу. Через минуту подходит снова: «Дорогой

коллега...» И снова я ничего не вижу и не слышу. Но все напрасно — совсем не понимает. В третий раз зашел сзади и говорит: «Дорогой г-н Пруст, представьте себе, недавно нас с вами перепутали». Тогда я обернулся и громко, чтобы все слышали, ответил: «Но только по инициалам!» После этого, уверяю вас, у него уже не будет желания подходить ко мне.

И добавил с улыбкой:

— Я не пишу романов для чтения в вагоне.

— Но что такое сделал вам этот г-н Прево? Он как-то неопределенно махнул рукой:

— О, это очень старая история... Потом я узнала, что Марсель Прево написал о нем нехорошую статью. Тогда меня поразило, как ни странно, его мягкость даже в иронии. Он улыбался, но совершенно безобидно, без какого-либо злорадства. Это его позабавило и не больше.

Я никогда не слышала, чтобы он хвастался своими успехами, а про свою работу неизменно говорил только в самых скромных выражениях. Но почти всегда в его словах звучала твердая убежденность.

Однажды, возвратившись из гостей и еще не сняв пальто, он говорит мне:

— Пойдемте, Селеста, я кое-что расскажу вам. Представьте, что мне сегодня сказали?.. «Надо быть осторожнее, Марсель, ведь вас с вашим г-ном де Шарлюсом в конце концов запретят». Ну, как, Селеста? А я думал, что после того, как г-н Жид упрекал меня в холодности к «уранизму», мне уже нечего опасаться.

— И когда же это будет, сударь? Но ведь такое запрещение лучше любой рекламы! Хотя я уверена, что ничего не случится.

Он прыснул со смеху.

— А ведь и правда, Селеста! Прекрасная реклама! Но согласен, меня не запретят.

Потом, перестав смеяться, сильно и отчетливо произнес:

— И знаете почему, Селеста?.. Дело в том, что, когда умеешь, можно сказать все. А Марсель Пруст умеет.

В его глазах был такой огонь, что не могло быть никаких сомнений — этот крик души исходил из глубочайшего убеждения.

Надо сказать, для большинства его знакомых он издавна был «маленьким Прустом» или «Марсельчиком», неизменно вежливым, очаровательным, может быть, излишне горячим и вместе с тем деликатным. И вдруг, благодаря своему роману, он оказался как бы выше всех. Но ведь сам он всегда ощущал свое превосходство — для него в этом не было ничего удивительного. Помню, как он смеялся, получив письмо от графа де Монтескье,

где тот называл его «Марсельчиком». Ему льстила отнюдь не фамильярность в отношениях с графом. Напротив, это письмо служило лишь доказательством того, что он победил де Монтескье, и придет время, когда тот поймет, насколько выше него этот «Марсельчик». Как ни прискорбно для графа Робера, такое время все-таки наступило.

Иногда его уверенность в своей будущей славе угадывалась по незначительным мелочам.

Помню, что первая книга, «Утехи и дни», вышедшая в 1896 году с предисловием Анатоля Франса, совсем не продавалась, и издатель сообщил ему о своем намерении избавиться от ненужных экземпляров. Прочтя его письмо, г-н Пруст сказал:

— Ах, Селеста, как жаль, что мне негде их держать. Уверяю вас, когда-нибудь они пойдут нарасхват.

Иногда это прорывалось у него с какой-то магнетической убежденностью, которая даже пугала меня.

Однажды вечером, сидя в маленькой гостиной, он стал говорить мне про статью о Стендале, которую ему рекомендовали прочесть. И вдруг его внимательные глаза зажглись:

— Послушайте меня, Селеста. Я скоро умру...

— Да нет же, сударь! Зачем вы это говорите? И все только о своей смерти? Да я умру еще раньше вас.

Как ни странно, я действительно так думала все эти годы, уверенная, что умру раньше его, хоть и не зная почему.

— Нет, Селеста, вы будете жить. Но когда я умру, увидите: меня будет читать весь мир. Попомните мое слово: в этой статье говорится, что Стендалю для славы потребовалось сто лет, но Марселю Прусту хватит и пятидесяти.

XXVII
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Умирание началось для него после переезда с бульвара Османн, когда были вырваны моральные корни его жизни. И не то чтобы, не будь этого, изнурение от работы и болезней не одолело бы его организм. Но я всегда считала, а впоследствии нисколько не сомневалась — если бы г-н Пруст остался на прежнем месте, он прожил бы дольше.

Чтобы понять это, надо учитывать его привязанность к памяти отца и матери и семейным корням, не говоря уже о его привычках.

Еще в 1905 году, после смерти матери, ему пришлось расстаться с жилищем родителей на улице Курсель и чуть ли не бежать из этой огромной квартиры, где и так уже была заперта часть комнат, когда не стало профессора Адриена Пруста.

— За такую квартиру приходилось слишком дорого платить, — объяснял он. — Она принадлежала обществу «Феникс», и, когда я захотел расторгнуть договор аренды, не собираясь там жить один, не говоря уже о связанных с ней воспоминаниях, мне сначала наотрез отказали. Но потом все-таки смягчились из уважения к заслугам моего дорогого папа перед городом Парижем и всем миром и отпустили меня.

Но сам он ничем этим не занимался. Все дела по переезду взял на себя брат Робер, а г-н Пруст укрылся в Версале в отеле «Резервуар» вместе со старой служанкой Фелицией.

Еще до Версаля ему пришлось пробыть несколько недель в санатории доктора Солье в Билланкуре, о котором часто говорил Леон Доде, когда-то учившийся вместе с его владельцем. Что побудило к этому г-на Пруста? Может быть, потребность в психотерапии? Или просто любопытство. У него всегда было трудно понять истинные причины. Возможно, и то, и другое. Сам он никогда не говорил об этом.

— Я не очень-то доверял этому Солье, а если бы меня заперли и никуда не выпускали!.. Прежде чем согласиться, я оговорил себе условия полной свободы.

Не думаю, чтобы г-н Пруст серьезно относился к подобному лечению. Вспоминая об этом санатории, он лишь подсмеивался. Помню его рассказы:

— Развлечений там вполне хватало. Вокруг был роскошный сад; как-то раз я зашел туда и сел на скамейку. Ко мне сразу же подошел очень красивый и элегантный молодой человек и стал

рассказывать свою историю. Будто бы его заперли сюда, чтобы лишить наследства родителей. Я уже собирался пожалеть несчастного, но все-таки почувствовал какое-то смутное недоверие. Дня через два он снова оказался рядом со мной и опять принялся за свой рассказ. Но вдруг, прервавшись и показывая пальцем прямо перед собой, воскликнул: «Смотрите, сударь, вы ее видите?» — «Кого?» — «Да саму Пресвятую Деву! Она приближается к нам, сидя на лужайке!» — тут-то я все понял...

Что касается версальского отеля «Резервуар», похоже, у него сохранились не очень хорошие воспоминания:

— Не знаю, сам ли этот отель или время было такое, но помню только какую-то мрачную тоску. Я еще писал об этом Рейнальдо Ану.

По-настоящему он стал поправляться только после того, как Фелиция перевезла его на бульвар Османн. Здесь г-н Пруст почувствовал себя в своем доме. Тут до своей кончины жил дядюшка Луи, расставшийся с виллой в Отейле. Не имея детей, он завещал свое состояние племяннице, госпоже Пруст, и ее брату, Жоржу Вейлю, после смерти которого его доля досталась вдове, то есть тетке г-на Пруста, ставшей владелицей дома, и он оказался ее квартирантом. Большая часть обстановки, унаследованной от родителей и «дядюшки Луи», была продана как излишняя. Но даже и после раздела с братом мебели оказалось слишком много. Именно тогда столовая была обречена на роль склада и заставлена до самого потолка. Туда никто никогда не входил.

Но он чувствовал себя хорошо среди оставленных для себя вещей, которые так много значили в его памяти. Фактически вся квартира была пустыней вокруг оазиса его комнаты. Через большую гостиную всегда проходили, даже не останавливаясь, и там никого не принимали. Для редких посетителей малая гостиная служила лишь промежуточной остановкой опять же перед комнатой г-на Пруста. И только мы с ним проводили здесь иногда целые часы.

Кроме того, весь дом был практически зависим от него, и квартиранты всячески старались угодить ему. Сам он, не имея с ними никаких других отношений, кроме случайных встреч или их писем с благодарностями за одолжения или любезности, был очень всеми доволен. Дочь доктора Гагэ с первого этажа г-н Пруст находил просто очаровательной. Она занималась благотворительными базарами и каждый раз сообщала ему о них, а он всегда присылал ей по банковскому билету. Однажды она передала ему кружевную подушечку ручной работы с

приложением письма. Г-н Пруст не взял подушечку, но само письмо показалось ему «восхитительным», написанным от чистого сердца. После смерти г-на Пруста, когда слава о нем уже распространилась, г-жа Гагэ призналась мне, как она потом кусала себе локти из-за того, что сожгла все его письма.

Выше нас располагался американский дантист, неподражаемый Вильяме. Он нанимал протезистов, которые работали в течение дня, но совершенно бесшумно. Вильяме был еще и спортсменом и по субботам вместе со своим шофером уезжал играть в гольф. Он женился на какой-то знаменитой артистке, сильно душившейся и великой поклоннице г-на Пруста. Она даже писала ему письма. Помню, как она играла на арфе. Ее квартира была прямо над кабинетом мужа. Г-н Пруст считал их союз мезальянсом. Не думаю, чтобы он встречался с госпожой Вильяме, но они переписывались, и ему нравилась ее изящная манера выражать свои мысли.

Все это и объясняет, почему переезд с бульвара Османн явился для него настоящим вырыванием корней.

Эта трагедия — а это действительно была трагедия — морально отягощалась еще и теми условиями, в которых она происходила. Дело в том, что тетка г-на Пруста продала дом, даже не предупредив его, и в конце 1918 года он оказался перед совершившимся фактом. Весь низ был куплен банком Варен-Бернье, который намеревался открыть кассы с выходом во двор. В 1919 году начались работы, и г-н Пруст, хотевший сначала остаться, несмотря ни на что, понял, что спокойная жизнь для него кончается и будет так же обезображена, как и столь дорогой для него дом.

По одним его словам: «Боже мой, я всегда был так внимателен к тетке, а она даже ничего мне не сказала!» — я поняла не только его обиду, но и почти уверена, что он без колебаний купил бы этот дом, хотя ни на что подобное сам г-н Пруст мне даже не намекал. Ведь в противоположность всем россказням, будто он задолжал ей чуть ли не за три года, я полагаю, у него было достаточно средств на такую трату, чтобы при этом еще и не менять свой привычный образ жизни. Если бы его заботила, как говорили, нехватка денег, я уж непременно знала бы об этом.

Во всяком случае, закон защищал его как писателя, и г-н Пруст мог бы оставаться на бульваре Османн еще восемнадцать месяцев. Но он не хотел:

— Чем слышать весь этот беспрерывный шум, я лучше поступлюсь своими правами.

Возникла проблема обстановки — еще одна драма, еще одно

уничтожение прошлого, связанного со всей его жизнью. Наваленная в столовой родительская мебель, пролежавшая там тринадцать лет, пошла на продажу в агентство на улицу Шово-Лагард в квартале Мадлен. Туда же отправилась и часть обстановки большой гостиной, из которой я помню большую хрустальную люстру. Помню даже имя служащего, занимавшегося этим делом, — г-н Дюбуа. Все было продано вопреки здравому смыслу. Отчаявшийся г-н Пруст ничем этим не хотел заниматься. Он только велел мне пойти на распродажу:

— Сходите посмотреть, как там торгуют.

Г-н Дюбуа оставил себе приглянувшийся ему письменный стол. Большая хрустальная люстра продавалась за пять тысяч франков, и я сама выкупила ее для г-на Пруста, полагая, что ему будет слишком жаль ее. Он очень хвалил меня за это. И если бы, как говорили, г-н Пруст продавал обстановку, чтобы получить наличные деньги, то эта операция оказалась по меньшей мере неудачной.

И еще одна ложь — будто из «экономии» он просил своего приятеля герцога де Гиша продать торговцу винными пробками панели, заглушавшие его комнату. Это неправда. Г-н Пруст позаботился о том, чтобы они были сняты со всеми предосторожностями. Их отдали на время в гараж, до тех пор, пока он не найдет себе квартиру по своему вкусу. Может быть, герцог де Гиш как-то участвовал в этом, но ни о какой продаже и речи не было.

А когда после многомесячных поисков мы нашли, наконец, квартиру на улице Гамелен, г-н Пруст все равно считал это не более чем временным решением.

Но сначала надо было поселиться хоть где-нибудь, а найти удобную для него квартиру представляло собой очень нелегкую задачу. Искали буквально все. Помню, как-то раз Одилон привез адрес красивого дома на бульваре Перейр. Но около него за деревьями проходила окружная железная дорога.

— Поезда! Никогда в жизни!

Г-жа Гагэ, жена доктора с бульвара Османн, сообщила ему, что также вынуждена искать для себя новое место и обещала поделиться своими находками. Она дала нам несколько адресов, но и из этого ничего не подошло.

То его не устраивал весь квартал, то отсутствие лифта — без него при такой астме не могло быть и речи. Или возникала проблема верхних жильцов, которые будут ходить по голове, и там уже, что ни делай, все равно ничего не поможет. Был еще адрес на бульваре Малерб, неподалеку от товарища его детства Робера Дрейфуса, но и это не получилось. На улице Риволи

предлагали пятый этаж и совсем близко от «Рица», что было соблазнительно, однако:

— Там слишком шумно, да еще и сырость от туманов на Сене.

Тем временем, прослышав о наших усиленных поисках, актриса Режан, которой принадлежал дом на маленькой улочке Лоран-Пиша, между авеню Фош и улицей Перголезе, предложила у себя четвертый этаж, сохранявшийся за ее дочерью, жившей тогда в Америке. Сама Режан занимала второй этаж, а на третьем жил ее сын, Жак Порель, хорошо знавший г-на Пруста. Туда мы временно и вселились, с трудом разместив обстановку из его комнаты (там и без того стояла своя мебель). О пробковых панелях не приходилось, конечно, и думать.

Режан была тогда уже старой дамой, страдавшей тяжелой болезнью сердца, но г-н Пруст все так же неумеренно восхищался ею. В его книге есть великая актриса Берма, Для которой он многое взял от нее. Несомненно, улица Лоран-Пиша соблазнила его возможностью быть вблизи от кумира своего детства и молодости. Тогда он много рассказывал мне о ней:

— Видите ли, Селеста, Сара Бернар была, конечно, великой актрисой, но она могла играть только вполне определенные роли, а Режан умеет все — от трагедии до бульвара. Она выше, чем актриса — это великий художник. Обе эти женщины отличаются друг от друга так же, как хороший романист от великого писателя. В Испании у нее был такой триумф, что король послал ей в подарок карету, запряженную мулами, и я видел, как она ездила в ней по Елисейским полям. Великолепное зрелище.

Он очень любил также и Жака Пореля. Помню один очень веселый вечер, который мы провели с ним на улице Лоран-Пиша, развлекаясь подражаниями и передразниваниями. Потом г-н Пруст спросил меня, что я думаю о нем.

— Красивый и очень милый юноша, но немного легкомысленный.

— Вы правы, Селеста, зато он приятен, как дуновение ветра летним вечером.

Да и саму Режан заботила легковесность сына. Уже после того, как мы переехали от нее на улицу Гамелен, она написала длинное письмо г-ну Прусту, прося его после ее ухода — она чувствовала приближение смерти — помогать сыну советами. Он очень разволновался, и ее мольба, именно мольба, мучила его.

— Селеста, это просто ужасно. Конечно, г-н Порель слабый человек, но ведь я болен и не могу взять на себя такую ответственность.

Он, в свою очередь, тоже написал Режан длинное письмо, и я

отправилась с ним. Она приняла меня лежа и долго говорил о своем восхищении г-ном Прустом. Кроме того, сказала еще, как ей надоел тот покой, который предписывают врачи из-за больного сердца. Все же она сохраняла силу духа и необыкновенную веселость.

Вскоре она умерла. Ей очень хотелось вернуться на подмостки, чтобы сыграть в «Безумной девственнице» Анри Батая и встретиться с той же публикой, как и во времена ее триумфов. Помню, что это очень беспокоило г-на Пруста.

— Вот увидите, Селеста, при ее болезни она умрет в театре. Ах, зачем только она согласилась на эту роль.

Однажды вечером, когда он был в ложе Оперы на представлении «Антония и Клеопатры» Андре Жида, где выступала Ида Рубинштейн — идол тех лет, — ему сообщили, что прекрасная душа Режан отлетела в иной мир. Он сразу же уехал из Оперы на улицу Лоран-Пиша, где мы устроились далеко не идеальным образом. У г-на Пруста там не было столь необходимого для него уединения. Кроме того, ему казалось, что в близких деревьях на авеню Фош накапливается сырость, и он опасался новых приступов. Говорили и о шуме, который сильно преувеличивали, в том числе и он сам, но уж такую игру он сам придумал для себя. Помню, что на другой стороне двора жил актер «Комеди Франсез» Ле Баржи. Было видно, как он расхаживает по ванной, издавая иногда громкие крики во время декламации или споров с женой, что не всегда отличалось одно от другого, и это очень забавляло г-на Пруста.

Но, самое главное, он не чувствовал, что живет у себя дома. Поиски продолжались, и в конце концов мы нашли улицу Гамелен, обратившись в агентство на площади Виктор-Гюго. Квартира не вызвала у него возражений, и он отправил меня.

— Поезжайте посмотреть, потом расскажете.

Это был четвертый этаж с лифтом. Квартира сдавалась вместе с обстановкой.

Сам дом числился под номером 44. Выслушав меня, г-н Пруст принял решение:

— Скажите этой даме, что мы согласны на пятый этаж. За ее мебель я заплачу, но пусть ее уберут.

Был подписан договор об аренде — недавно я нашла его среди бумаг. На улицу Лоран-Пиша мы переехали в конце мая 1919 года, а съехали оттуда в начале октября. Предварительно на улице Гамелен производились некоторые работы. По желанию г-на Пруста все было обито коврами, чтобы заглушить шум. Кроме того, к его кровати провели электричество, как на бульваре Османн — с тремя выключателями: для звонка и двух ламп,

рабочей и у самого изголовья. Над нами была еще одна маленькая квартира г-жи Пеле, экономки Аристида Бриана, который жил на улице Лористон, угол авеню Клебер, прямо напротив нас. Но никогда не было никаких детей, которым г-н Пруст будто бы дарил войлочные туфли, чтобы заглушить их беготню. Это все вымысел. Там помещалась только эта дама, ничем не мешавшая нам. Г-н Пруст платил ей за обещание не шуметь.

Мало-помалу жизнь более или менее восстанавливалась. Улица была спокойной, с добропорядочными буржуазными жителями, — я уже говорила об особняке г-жи Стендиш, который был виден из нашей кухни. На первом этаже находилась булочная с неизменно любезным, хотя совершенно беззубым хозяином. Помню даже его имя: г-н Монтаньон. Я договорилась с ним о моих «телефонажах» — он пек хлеб, и у него было открыто почти всю ночь; я ходила к нему прямо в столовую, не спрашивая каждый раз позволения. Не знаю уж, откуда некоторые взяли, что он был еще и владельцем дома, и консьержем. Как я уже говорила, дом принадлежал госпоже Буле, а консьержкой служила одна старая женщина, муж которой погиб при взрыве парового котла в подвале. Возникла и другая легенда, будто бы маленькая внучка «владельца-консьержа» часто приносила г-ну Прусту приходившую почту. Но этот ребенок существовал не знаю только уж в чьем воображении. Помню один-единственный раз, когда г-н Пруст хотел написать статью о хлебе, он послал меня к булочнику Монтаньону с просьбой прислать работника, чтобы тот объяснил, как происходит выпечка. Тот явился к нам, г-н Пруст задал ему несколько вопросов и отпустил, наградив монетой.

Если я походя задерживаюсь на всех этих мелких смехотворных баснях, то лишь потому, что, видя, как вроде бы разумные люди доверяют им, невольно спрашиваешь себя: а сколь правдивы все их грандиозные концепции, относящиеся к г-ну Прусту и его творчеству? Даже такой считающийся серьезным человек, как Эдмон Жалу, мог написать к примеру, о квартире на улице Гамелен: «На стенах висели оборванные куски обоев».

Конечно, улица Гамелен это не бульвар Османн, и г-н Пруст всегда считал новую квартиру лишь временной. Но никакой бедности там не было, хотя я и вспоминаю, как смеялась, увидев оставленные для нас хозяйкой три кастрюли и три выщербленные тарелки, за которые она после смерти г-на Пруста взяла еще и плату.

И хоть как-то, но волшебный круг был восстановлен. Все размещение было почти таким же, несмотря на меньшее

пространство и более скромную обстановку. Комнаты располагались в той же последовательности: гостиная, малая гостиная (скорее, это был будуар) и комната г-на Пруста. Я обычно проходила через коридор, будуар и двойные двери, как на бульваре Османн. Возле его кровати была вторая дверь с проходом в ванную, а за ванной находилась еще одна комната, где лежали сложенные книги и столовое серебро, которым никогда не пользовались. И, конечно, еще моя комната у входных дверей по правую сторону.

Но у г-на Пруста уже не осталось многих вещей: исчезли фортепиано, тяжелый комод, большой зеркальный шкаф и еще некоторая мебель. Зато кровать с сошедшей от окуривания позолотой стояла на том же месте, как и прежде, — возле камина, и столь любимая им легкая китайская мебель рядом с большим стулом для гостей. Наконец, его три рабочих столика с тетрадями рукописи, заметками, стопкой платков, коробкой с бумагой для окуривания, очками и часами. На камине лежали книги. Черных коленкоровых тетрадей уже не было — я сожгла их. (Кто-то написал, будто бы при переезде г-н Пруст велел мне уничтожить много бумаг и фотографий. Это неправда.) Большие занавеси из голубого атласа, очень красивые, закрывали окна.

В будуар поставили черный книжный шкаф из малой гостиной с любимыми книгами: г-жи Севинье, Рёскина, Сен-Симона в красивом переплете с тиснеными инициалами «М.П.»... Стулья были заменены каминными пуфами.

С бульвара Османн переехали также портреты г-жи Пруст и профессора Адриена Пруста, картина Эллё и, конечно же, портрет самого г-на Пруста работы Жака Эмиля Бланша.

Да, жизнь со всеми привычками г-на Пруста возобновилась. Вызов звонком, кофе во второй половине дня, наши ночные разговоры, работа над книгой, глубокая тишина. С той лишь разницей, что г-н Пруст выходил все меньше и меньше, глубже погружаясь в работу, и чаще повторял:

— Время торопит меня, Селеста...

Теперь мне кажется, что на улице Гамелен он стал меньше «курить», хотя и здесь все было приспособлено для этого — в коридоре, как на бульваре Османн, постоянно горела свеча.

Но, возвращаясь в своей памяти к этой квартире и видя, как часто ее называют его «последней обителью», я вновь и вновь осознаю весь трагический смысл этих слов. Ведь последние два года своей жизни он провел в атмосфере приближающейся могилы. По сравнению с бульваром Османн это был глубокий разрыв, отлучение от дорогих для него вещей, хотя он ни разу ни на что не пожаловался.

Камины на улице Гамелен были совсем маленькие, или, быть может, нам так казалось. Он не переносил центральное отопление, и я пробовала зажечь огонь, чтобы пламя камина, как в прошлые годы, приносило ему тепло и хорошее настроение. Но из-за плохой тяги дым шел в комнату, и г-н Пруст говорил мне:

— От этого дыма я заболеваю, Селеста. Мне кажется, что у меня во рту и бронхах горелое дерево. Невозможно дышать, прекратите это...

И я уже больше не зажигала огонь.

До сих пор вижу его в постели, с приглушенным зеленым светом на страницах, а за спиной смятые рубашки, накапливавшиеся по мере сползания, — он просил подать ему новые, чтобы набросить себе на плечи. И ни одной, совершенно ни одной жалобы. Я говорила ему:

— Сударь, вы простудитесь.

Но в ответ только улыбка, без слов, и взгляд, как бы говорящий: «Мы здесь ненадолго. Скоро я кончу, все образуется». Или:

— Вот увидите, Селеста... Когда я напишу слово «конец», мы поедем на юг. Будем отдыхать, устроим себе каникулы. Это необходимо нам обоим, ведь и вы уже изрядно устали.

Но сначала нужно было закончить работу, только это и имело значение, остальное — всего лишь какие-то материальные обстоятельства, совершенно для него несущественные.

Да, улица Гамелен стала его последней обителью, где была только работа, одна беспрерывная работа, часто на холоде, как в погребе. И этим он убил себя.

XXVIII
КВАРТЕТ ПУЛЕ У НАС ДОМА

Но в этой более скромной обстановке на улице Гамелен г-н Пруст решил сделать для себя последний подарок, или, вернее говоря, воздать должное своему труду. Чтобы возникла подобная идея, надо было обладать характером настоящего аристократа и столь свойственной ему настойчивостью в достижении своей цели.

Такое желание зародилось у него уже давно и было связано как с одним поразившим его музыкальным произведением, так и с теми инструменталистами, которых он считал способными на почти идеальное исполнение. Речь идет о квартете Сезара Франка и музыкантах, составляющих квартет Пуле.

Г-н Пруст унаследовал от своей матери необыкновенную любовь к музыке, и у него сохранялись все ее тетради с партитурами. Во времена «камелии» он часто бывал на концертах, да и вообще его интересы распространялись на все искусства. Он рассказывал мне о средневековых соборах, о Вермеере или Ренуаре и Дега, которых он больше всех любил среди новых художников. Говорил он и о «Русских Сезонах» Дягилева, упоминал имена Дебюсси, Форе и даже Равеля. Читавшие его романы понимают то значение, которое он придавал одному своему персонажу, композитору Винтейлю, со смешанными чертами музыкантов прошлого и настоящего: Бетховена, Моцарта, Франка и даже тех, с кем он был знаком, — Форе и Винсента д'Инди.

А что касается квартета Пуле, то я уже говорила, как он восхищался им на концерте Форе, и как ему хотелось познакомиться с этими музыкантами, особенно с виолончелистом Массисом, произведшим на него сильное впечатление.

После того как я носила Массису письмо в разгар войны и посреди глубокой ночи, он несколько раз (может быть, три) приходил к нам на бульвар Османн поговорить о музыке. Г-ну Прусту, несомненно, хотелось все это записать, чтобы использовать для своего Винтейля. Я прекрасно помню, как этот молодой виолончелист в солдатской форме позвонил нам в дверь. Это было в конце войны. Г-н Пруст спросил у него:

— А вы не хотите есть? И, повернувшись ко мне:

— Селеста, может быть, поджарить ему картофеля?

Я приготовила картофель, и он съел его, запивая не то сидром, не то шампанским, уже не помню. Но тогда он всегда

приходил один. Кроме него и его коллег, да еще Рейнальдо Ана, я никогда не видела у г-на Пруста никаких других музыкантов, не считая того вечера, о котором хочу теперь рассказать. В мое время такое событие было во всех отношениях уникальным. Говорили, будто в начале 1914 года г-н Пруст «собрал» на бульваре Османн квартет Капе. Могу засвидетельствовать, что это неправда, такое тогда никак не могло произойти. Я бы очень удивилась, случись это раньше, ведь г-н Пруст непременно рассказал бы мне, хотя бы в связи с квартетом Пуле.

Уже на улице Гамелен ему захотелось еще раз послушать квартет Сезара Франка, произведший на него яркое впечатление еще в 90-х годах.

Возможно, что такое желание возникло у него во время работы над «Пленницей», где вновь появляется музыка Винтейля. Но я не могу утверждать этого, потому что он то отходил, то возвращался к этой теме. Однако совпадение сразу бросается в глаза.

Во всяком случае, ему потребовалось некоторое время для того, чтобы созреть. Он говорил мне, что самым простым было бы пригласить к себе квартет Пуле и, думаю, поделился этим замыслом с Массисом, то ли пригласив его, или, быть может, написал письмо.

Г-н Пруст колебался и, наконец, сказал мне:

— Селеста, мне все-таки надо решиться и спросить у г-на Пуле, не может ли он приехать к нам со своим квартетом. Я напишу ему, и пусть Одилон отвезет письмо.

Письмо было доставлено, и Гастон Пуле в принципе согласился. Но совершилось это далеко не сразу. Надо было позаботиться о том, чтобы все прошло безупречно. По просьбе г-на Пруста от квартета приезжал виолончелист Луи Рюссен, и они совещались. Потом как-то поздно вечером Одилон возил самого г-на Пруста к Гастону Пуле даже без предупреждения, но возвратился он совершенно очарованный:

— Г-н Пуле уже лег спать и открыл мне, одетый в пижаму. Мы обменялись извинениями. Он был очень любезен, и я договорился с ним о дне. Придется потратить много денег, Селеста, но многие заплатили бы еще больше, значительно больше, чтобы только послушать это гениальное произведение и этих великих музыкантов. Я хотел пригласить еще кое-кого, но тогда мне пришлось бы заниматься гостями, а не слушать, или, во всяком случае, вполуха. И раз уж все это нужно для меня, пусть лучше никого не будет.

Затем последовали указания касательно приготовлений.

Здесь следует разъяснить еще одну вещь. Почему-то

считалось, что г-н Пруст приглашал квартет Пуле несколько раз. Это совсем не так. Было всего лишь одно-единственное исполнение. Кроме того, говорили, будто все происходило на бульваре Османн, прямо в комнате г-на Пруста. И это тоже выдумка, как и все подобные фантазии, которые я по мере сил стараюсь исправлять. Не знаю уж, кто именно постарался в этом случае. Может быть, все перепутал Массис, приходивший к нам раньше на бульвар Османн. Во всяком случае, я категорически заявляю: этот музыкальный вечер был в 1920 году на улице Гамелен и отнюдь не в комнате г-на Пруста. Кроме того, повторю еще раз, он так и остался единственным...

Я не только помню весь интерьер, ведь именно мне пришлось заниматься всеми приготовлениями, а указания г-на Пруста отличались такой скрупулезностью, что не могло быть и речи о какой-либо путанице. Я и до сих пор слышу его голос:

— Дорогая Селеста, позаботьтесь, чтобы в гостиной было все как следует приготовлено. И, главным образом, не забудьте закрыть камин. Г-н Пуле очень настаивал на этом. Как он сказал, звук должен концентрироваться во избежание излишних потерь.

Помню, как я расставляла стулья и перетащила в гостиную из соседнего будуара большое кресло, обитое каштановым бархатом, на котором он мог бы вытянуться во время концерта. Места самих музыкантов располагались точно по центру комнаты. Нет, я никак не могла ошибиться.

Сочинили еще и целую драму, будто бы г-н Пруст ездил на такси Одилона поднимать в полночь и без предупреждения музыкантов, несмотря на все их протесты. Это полная бессмыслица, время было оговорено заранее, и все приготовлено, в том числе и такси для них.

Но легенда пошла еще дальше — оказывается, г-н Пруст сидел в такси, укутавшись почти до макушки периной, а в ногах у него стояла супница с горячим пюре! Просто невообразимо, как только можно печатать подобный вздор. Во-первых, наша единственная перина была вынута из стенного шкафа уже перед самой смертью г-на Пруста. Для такси он надевал только свое пальто на меху и никогда не брал с собой даже плед. Ну, а супница с горячим пюре — это просто смехотворная выдумка. Он в жизни не ел пюре. Я уже упоминала, что делала пюре для Одилона, но чтобы он брал его с собой в такси!..

Правда только, что, действительно, ездили за музыкантами привезти их к часу ночи, а г-н Пруст сидел, вытянувшись в покойном кресле, пока они занимались приготовлениями. Тщательно занавесив окна, я вышла и оставалась в прихожей на случай, если понадоблюсь г-ну Прусту.

Они сыграли этот квартет, и он слушал полулежа, с закрытыми глазами — это я все-таки увидела. Говорили, что во время перерыва я будто бы подавала жареный картофель с шампанским, как тогда Массису на бульваре Османн. Ничего подобного не было. После антракта г-н Пруст попросил музыкантов еще раз сыграть ему одну из частей квартета, но я не могу сказать, какую именно. Когда все закончилось, он очень благодарил их и спустился вместе с ними на улицу. Но я не припоминаю, чтобы там уже стояли четыре такси, как об этом рассказывали. Скорее всего, он поехал вместе с ними сделать еще кое-какие заметки и мог отвезти их ужинать в пивной зал «Липп» на бульваре Сен-Жермен.

Перед прощанием он отдал им деньги. Я не сомневаюсь, что каждому пришлось больше чем по пятьсот франков. В подобных случаях он не скаредничал и был более чем щедрым. Все деньги взял Гастон Пуле. И, конечно, г-н Пруст не скрывал от меня, что это была очень большая сумма.

— Весьма крупный расход, Селеста. Да еще все эти беспокойства. И как я устал! Но так нужно.

Он не добавил: «...для моего труда», в чем, конечно, не было ни малейшего сомнения.

Чтобы покончить с измышлениями — не упустили еще придумать, будто он просил повторить весь квартет, потому что заснул при первом исполнении. Это просто глупость. Я говорила, что он закрывал глаза, но такое бывало даже в присутствии гостей — зато какое внимание и понимание скрывалось за этими закрытыми глазами! Со мной у него случалось это очень часто, когда он слушал и даже когда говорил сам.

Я останавливаюсь на всех этих выдумках прежде всего из чувства долга перед истиной. Но меня еще неприятно поражает, что ради привлечения к себе внимания люди готовы исказить образ человека, который весь отдавался своему труду вплоть до пожертвования самой жизнью, стремясь лишь к постижению всей правды.

Он так и светился изнутри, рассказывая мне о том кусочке желтой стены на картине Вермеера. Именно такими впечатлениями г-н Пруст поддерживал в себе пламя жизни, которую приносил в жертву своей работе.

XXIX
СЕЛЕСТА, Я НАПИСАЛ: «КОНЕЦ»

Его сжигало время. Оно гналось за ним по пятам в каждой его книге, и он ощущал жизнь как ловушку, из которой невозможно выскользнуть. За все годы, проведенные вместе с ним в этом перевернутом наизнанку мире, почти полностью закрытом извне, где был чуть ли не свой особенный календарь — то одни воскресенья, то одни только будние дни, со своими собственными, ни на что не похожими часами, где стрелками управлял г-н Пруст, — за все эти годы не бывало и дня, чтобы хоть как-то не прорвалась его боязнь оставить свой труд незавершенным. Не было жалоб или нетерпеливости, но говорилось об этом мягко и с улыбкой, словно вздох, исходивший из самой глубины его бесконечной усталости в конце наших долгих бдений.

— Селеста, зачем я только ездил?! Какая скука! У меня пропал целый вечер... и это когда не хватает времени!

— Сударь, но все-таки нужно хотя бы немного отвлечься и передохнуть...

— Нет, Селеста, мне нужно торопиться. Еще столько дела! Я должен был остаться и спокойно работать.

Или вдруг, часов в девять утра:

— Боже мой, Селеста, как мы заговорились! Я и не заметил, что уже так поздно. Сколько потеряно времени!

Хоть он и не говорил мне, но я не сомневалась, что он еще будет работать. Иногда я решалась спросить его:

— Сударь, но когда же вы спите?

— Не знаю, Селеста, я не знаю...

Мне кажется, что работа продолжалась и в его задремываниях. Это были какие-то лихорадочные состояния.

Но, как лейтмотив, его всю жизнь преследовала боязнь не довести до конца задуманное.

— Дорогая Селеста, у меня совсем нет сил, а надо двигаться вперед... Если мне не удастся закончить, значит, я впустую пожертвовал своей жизнью!

Сколько раз он говорил мне это. Или:

— Время торопит... Смерть гонится за мной, а я все никак не могу кончить. Стараясь обратить все в шутку, я отвечала:

— Так в чем же дело, сударь? Зачем тогда тянуть? Заканчивайте — и все. Он смотрел на меня с терпеливой и снисходительной улыбкой:

— Дорогая Селеста, вы думаете, все так просто? От меня совершенно не зависит, когда напишется слово «конец».

— Но уж, во всяком случае, сударь, совсем ни к чему все время твердить о своей смерти.

— Да нет, Селеста, я и вправду умираю.

— Сударь, вы еще переживете меня, попомните мое слово.

— А я говорю нет, вам придется закрыть мне глаза. И слушайте меня внимательно, вы должны знать, что, когда с вами говорят о смерти, нельзя отмахиваться от этого. Мы все носим в себе ее и чувствуем, когда она здесь, рядом... а я и тем более, ведь моя жизнь совсем другая, не нормальная, без воздуха и питания. Здоровье разрушено астмой еще с детских лет. Сколько раз я вам говорил: мои бронхи превратились в пересохшую резину, сердце, не получавшее столько лет воздуха, уже не дышит. Я совсем старый, Селеста... как мои старые бронхи и мое старое сердце. Мне осталось совсем немного.

— Не говорите так, сударь, это неправда.

— Нет, именно так. И мне нужно скорее кончать. После его смерти Поль Суде написал:

«Когда он говорил, что умирает, этому никто не верил». Да и я тоже не то чтобы подозревала в нем желание разжалобить, это было ему совсем не свойственно, но, видя его всегда таким моложавым, уравновешенным, не говоря уже о постоянной веселости, относила все эти разговоры о близкой смерти на счет утомления, как бывает, когда говорят: «Я смертельно устал». Ему достаточно бывало хорошо поработать или с удовольствием провести вечер в гостях, и его усталость как рукой снимало.

Было у нас одно совсем необычное утро — конечно, утро в нашем смысле, то есть уже после полудня. К сожалению, я не вела дневник и не могу назвать точную дату, хотя отчетливо помню, что все происходило в начале весны 1922 года.

Мы очень долго разговаривали, и я ушла что-то около девяти утра. Встала около часа или двух, чтобы приготовить ему кофе. Г-н Пруст уже давно отказался от круассанов, так что оставалось еще только молоко.

Он позвонил часа в четыре, один раз, и я пошла, ничего не взяв с собой. Войдя, увидела его лежащим, как всегда со слегка приподнятой головой и затененным лицом, кроме взгляда, который нельзя было не ощущать на себе, если он смотрел на вас. Я сразу заметила, что он еще не окуривал комнату, и это всегда настораживало.

Обыкновенно, как я уже говорила, при моем первом приходе все происходило в полном молчании — легкий жест благодарности или просто движение глаз, чтобы указать на

нужную ему вещь. Слова были не нужны — я все понимала по малейшему знаку.

Г-н Пруст выглядел очень утомленным, но с улыбкой посмотрел в мою сторону. Меня поразила просветленность его лица.

Когда я подошла ближе, он слегка повернулся ко мне, и губы его раскрылись. За все мои годы с ним он впервые заговорил сразу после пробуждения, еще до своего кофе. И больше это уже никогда не повторилось. Я была поражена и стояла в оцепенении. Он сказал:

— Добрый день, Селеста...

И на секунду умолк, как бы наслаждаясь моим удивлением. Затем продолжал:

— Знаете, этой ночью со мной случилось нечто совершенно необыкновенное...

— Что такое, сударь?

— Угадайте!

Такая игра очень забавляла его. В моей голове быстро пронеслось все, что могло бы произойти. Это не был неожиданный гость — я бы услышала и поняла, да он никогда сам не открывал дверь. Невозможно представить и то, чтобы он встал и вышел из квартиры. Г-н Пруст никогда не снимал с вешалки пальто или шляпу, ему всегда все было приготовлено. Я думала: «Никто не приходил, он не просил подать пальто и не покидал квартиру; не включал свой электрический чайник; ничего не разбил; все на своих местах...»

— Сударь, я не могу догадаться. Может быть, какое-нибудь чудо? Расскажите мне.

С видом ребенка, радующегося удачной проделке, он сказал:

— Так вот, дорогая моя Селеста, слушайте. У меня великая новость. Сегодня ночью я написал «конец».

И добавил все с той же улыбкой и блеском в глазах:

— Теперь можно и умирать.

В этих словах слышались и удовлетворение, и радость.

— Сударь, не говорите так. Я вижу, как вы счастливы, и тоже рада, что ваша цель, наконец, достигнута. Но ведь я-то знаю, вряд ли вы перестанете подклеивать свои бумажки и делать исправления.

Он засмеялся.

— Это совсем другое. Самое главное, теперь можно не беспокоиться. Мой труд окончен. Я не напрасно потратил свою жизнь.

Все сказанное им в тот день еще раз доказывает, с каким яростным упорством он работал все эти годы. Я упоминала, что

не могла бы сказать, когда он спал. Ради этого слова «конец» надо было очень много работать, часто уже после того, как я уходила, когда за окном уже давно начался день, остававшийся для него ночью. Несомненно, так и случалось едва ли не всякий раз после моего ухода.

На улице Гамелен он уже почти не выходил из дома и сам принимал все реже и реже. Весной 1921 года самым памятным для него было посещение вместе с писателем Жаном Луи Водойе голландской выставки в «Зале для игры в мяч»: прежде всего, чтобы еще раз увидеть картины его любимого Вермеера, особенно тот самый кусочек желтой стены. Г-н Водойе приехал за ним в одиннадцать часов, а возвратился он, как мне кажется, только в начале вечера, совсем без сил. На выставке у него кружилась голова, но не думаю, чтобы он терял сознание, как о том говорили; он бы непременно рассказал мне. И, несмотря на все утомление, он все-таки допоздна задержал меня, чтобы поделиться своим восхищением картинами Вермеера. Тогда передо мной был совсем еще молодой человек.

В 1922-м, последнем году, я вспоминаю только о нескольких больших выходах. Вечер у графини де Мюн, где несколькими словами он отделался от Марселя Прево. И еще два званых обеда: один у «Рица», в конце мая, устроенный его английскими друзьями Шиффами, где были среди множества других Дягилев из «Русских Сезонов» и ирландский писатель Джеймс Джойс, тогда мало кому известный; второй раз — у г-жи Хеннеси, в начале июня. Я уже говорила об этом обеде, там он снова встретился с вдовой Гастона Кэллаве, той самой Жанной Пуке, чьи белокурые косы когда-то перелетали с плеча на плечо на теннисном корте; эта его любовь двадцати лет стала седовласой княгиней Радзивилл. Он предложил проводить ее домой, но она сказала: «Как-нибудь в другой раз», — и г-н Пруст ответил, что больше уже не увидит ее. Именно так оно и случилось.

Не припоминаю, чтобы к нему часто приходили, кроме нескольких близких людей, таких как Рейнальдо Ан или Поль Моран. Именно тогда заезжали обе княгини Бибеско, Марта и ее кузина Элизабет, жена князя Антуана. Но они не входили дальше прихожей.

Последним, кроме Поля Морана, о котором я уже рассказывала, приходил в июне 1922 года Люсьен Доде. В этих двух визитах было что-то общее, похожее на последнее прощание. Как и Поль Моран, Доде тоже все никак не мог уйти. Он уже давно не виделся с г-ном Прустом и, наверно, чувствовал, что им не суждено больше встретиться. Г-н Пруст подарил ему на память какую-то вещицу, не помню, что именно.

Как и всегда в таких случаях, после ухода Люсьена Доде г-н Пруст позвал меня. Он казался взволнованным, но рассказывал об их встрече даже весело.

— Что-то он показался мне сегодня странным. Да, совсем странным и не обычно молчаливым, каким-то грустным и чуть ли не испуганным. А перед самым уходом вдруг захотел поцеловать меня, но я ему сказал: «Нет, нет, милый Люсьенчик, видите, я не брит, еще не умывался, да и чувствую себя неважно». Я ведь не соврал, верно? — добавил он, улыбаясь

Но я даже не подозревала, что скрывается за его веселостью. Какая-то слепота не давала мне даже подумать о его смерти. И к тому же, как я и предсказывала, он продолжал работать, несмотря на это слово «конец», бесконечно все исправляя, то рукопись «Исчезнувшей Альбертины» или то, что после его смерти стало «Обретенным временем», или корректуры «Пленницы», с которыми к нему приходил Жак Ривьер. И, конечно, мы не переставали подклеивать «бумажонки».

Все-таки однажды вечером у меня должны были открыться глаза. Сейчас я насилую свою память, чтобы вспомнить точную дату. Но вполне определенно могу только опровергнуть мнение, что это случилось после голландской выставки.

Тогда он возвратился до крайности изнуренный, часов в пять или шесть вечера, и попросил Одилона подняться вместе с ним. Со мной еще сидела сестра Мари — значит, было не так поздно, иначе она пошла бы уже спать.

Возвращаясь домой, г-н Пруст часто проходил через большую гостиную, будуар и потом к себе в комнату, но никогда не останавливался в гостиной и тем более не садился там. А на этот раз, не дожидаясь, пока я сниму с него шубу (значит, была плохая погода), он пошел в гостиную и как был в шубе, так и опустился в кресло. Этого я никогда не забуду, до самой смерти.

Он склонился немного набок, и с обеих сторон свисали полы расстегнутой шубы. Казалось, силы совершенно оставили его. Я никогда еще не видела у него на лице выражения такой тоски.

До сих пор так и вижу всех нас четверых, словно запечатленных на картине. Мари оставалась в прихожей, Одилон стоял на пороге гостиной, а я была в двух шагах от г-на Пруста.

Войдя, он сказал:

— Я собирался опять ехать и поэтому просил Одилона подняться вместе со мной. Но я так устал, что даже не знаю, смогу ли...

Мы все молчали, он говорил, закрыв глаза. Наконец Одилон решился сказать:

— Сударь, не удивительно, что вы так утомлены, нельзя же

совершенно ничего не есть. Позвольте я привезу вам нежного цыпленка, и Селеста приготовит его. Всего несколько кусочков, и к вам возвратятся силы.

Г-н Пруст открыл глаза и обвел всех нас взглядом. У него было выражение такой печали, но в то же время мягкости и любви, что нам стало невыносимо больно. Он ответил мужу:

— Вы правы, Одилон, поезжайте за цыпленком, но только для вас троих, вам надо позаботиться и о себе...

И добавил с разрывающей душу нежностью:

— Ведь я вас так люблю. Вы как мои дети. Потом, обернувшись ко мне:

— Пожалуй, я никуда не поеду, а лучше лягу в постель. И попросил Одилона:

— Дорогой Одилон, сделайте одолжение, побудьте еще здесь на всякий случай.

Но ему так ничего и не понадобилось, и я не припомню, чтобы он позвал меня в тот вечер для разговоров.

О трех последних месяцах его жизни не постеснялись насочинять всяческие романы — я уже упоминала об этом, но хочу, чтобы правда все-таки сохранилась. Говорили, будто у него часто случались обмороки, он не мог встать с постели и валился на пол; будто с ним были также припадки, когда он терял дар речи, у него затемнялось сознание и совсем отказывали память и зрение; будто ему уже представлялось, что его болезнь происходит от втекающего через щели в камине газа... да мало ли что! Сколько всяческих историй, столько же преувеличений и выдумок.

Мне, конечно, известно, что в своих письмах он ссылался на обмороки и недомогания. В самом начале книги я уже объясняла, в чем тут дело. За последние месяцы он более чем когда-либо экономил силы ради своей книги. Полагаю, в большинстве случаев это были лишь отговорки, чтобы отклонить просьбы о посещениях или оправдать свою задержку с ответом на письмо.

Стоит ли повторять — если бы он упал у себя в комнате, это было бы невозможно скрыть. А если у него якобы случались затруднения с речью и выпадение сознания, значит, он общался со мной только в минуты просветления? И какая мне нужда все скрывать и говорить неправду? Разве во всем этом было бы хоть что-то позорящее г-на Пруста? Но ведь самое характерное для него заключалось именно в том, что он до последнего вздоха сохранял полное самообладание.

Об утечке угарного газа никогда и речи не было. С самого начала на улице Гамелен просто не топили, поскольку сразу же обнаружилось, что дым из камина идет в комнату.

Конечно, именно из-за этого ледника, когда он часами работал в холодную погоду, лежа без движения и обогреваясь только рубашками и «бутылками», его ослабленный организм и подхватил осенью 1922 года грипп.

Говорили, что в то время к нему с новой силой возвратилась астма. Скорее всего, и это относится к разряду «романов». Несомненно лишь то, что он вполне осознавал, насколько слабость все больше и больше овладевает им. Он стал еще сильнее бояться микробов. Именно в эти последние месяцы г-н Пруст велел мне купить длинный металлический ящик, где в формоле дезинфицировалась вся приходившая почта.

В начале октября он в последний раз выехал в большой свет к графу и графине де Бомон, где собирался весь Париж. Это было то самое высшее общество, к которому он так стремился в молодости и агонию которого только один он, может быть, и предчувствовал.

Как я сожалею, что не сохранила никаких воспоминаний об этом званом вечере, потому что в то время он ничем не отличался от всех других. Не знаю, ощущал ли г-н Пруст свой приход туда как прощание. Он ничего не говорил, и по нему ни о чем нельзя было догадаться. Только сказал мне, что опять простыл.

Но, выезжая в тот вечер, г-н Пруст уже вступил в преддверие самой смерти.

XXX
ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ

Г-н Пруст чувствовал приближение смерти, а я все еще была убеждена, что он доживет до глубокой старости. Но даже близкие к нему люди не могли поверить в его раннюю кончину, ведь все уже привыкли, что он так давно болел. И прежде всего я сама, которая все время жила рядом с ним и собственными глазами видела, как он, все превозмогая, играет со смертью. Быть может, у нас с ним было то общее в характерах, что мы начинали понимать безвыходность положения, только стукнувшись лбом в тупик.

Но с того дня, когда болезнь в этом несчастном изнуренном теле стала резко ухудшаться, я уже не смыкала глаз. Мне говорили, что я семь недель не ложилась в постель, но сама этого ничего не помнила: он страдал, и меня обуревало только одно чувство — сделать все, что хотя бы немного облегчило его мучения.

Он уже совсем не спал. Если его не сотрясали приступы кашля или астмы, г-н Пруст работал, преследуемый страхом задержать корректуры «Пленницы» для «Нового Французского Обозрения». Он постоянно звонил, просил то горячую «бутылку», то рубашку или еще что-нибудь — книгу, тетрадь, листки для подклейки, и я сновала взад-вперед. А потом надо было звонить доктору Бизу и профессору Роберу Прусту (как брату, а не врачу); приходилось бегать по лестнице то вверх, то вниз. Я согревала молоко и готовила кофе. Ему хотелось компота, и нельзя было заставлять его ждать ни минуты. Потом он просил холодного пива, и я посылала Одилона. Но что значила моя усталость рядом с его страданиями?

Эти последние недели были как длинный туннель без дня и ночи — лишь один полумрак со слабым светом зеленой лампы, среди которого уже столь явственно проступали все черты неизбежного конца.

Вокруг всего этого насочиняли множество басен и просто глупостей, приписывая мне искаженные или вовсе не произносившиеся слова. До сих пор я еще ничего не говорила обо всех этих делах, ведь г-н Пруст, как и при жизни, видел меня, знал мои истинные мысли и не сомневался в том, что я не предам его.

Но сегодня, уже на пороге иного мира, одна мысль об остающихся сомнениях и неправде для меня непереносима и я должна раз и навсегда подтвердить: то, что написано на

последующих страницах, — доподлинная истина, которую я многократно перепроверяла, чтобы убедиться в ее абсолютном соответствии действительно бывшему. Это даже не свидетельство, это мое завещание.

Как я говорила, все началось с легкого гриппа, который усугубился еще и простудой, подхваченной при его возвращении с приема у графа и графини Бомон. Но еще раньше необыкновенная сопротивляемость его организма стала ослабляться: я с трудом уговорила г-на Пруста поехать на день рождения племянницы Сюзи, убеждая в том, что иначе он обидит и брата, и еще больше саму Сюзи, так ждавшую его. Потом, когда ему стало хуже, я вызвала профессора Робера Пруста, который нашел брата явно отечным.

Но теперь я понимаю, что его здоровье ухудшалось уже в течение года, и самым показательным была голландская выставка 1921 года, когда ему стало нехорошо перед картинами Вермеера, хотя потом он и пытался представить все так, будто в этом виновата только музейная лестница.

Заболев гриппом, он сказал:

— Пожалуй, мне стоит показаться доктору Бизу. Как вы думаете, Селеста?

Поскольку грипп никак не проходил, я ответила, что он совершенно прав и ему обязательно нужно подлечиться, да и работать надо бы все-таки поменьше. Он позвал доктора Биза, но не внял моим словам о работе.

Доктор Биз приходил несколько раз. Сначала он прописал лекарства, которые г-н Пруст не стал принимать. Из-за того, что грипп наложился на астму, ему было трудно дышать, и его мучили страшные приступы кашля. Тогда доктор Биз рекомендовал уколы камфарного масла для очищения легких. Но г-н Пруст отказался и от этого.

Сегодня мне уже понятно, сколь роковым оказалось его нежелание лечиться в эти последние недели. Доктор Биз говорил мне: вначале это был обыкновенный грипп. Если бы он согласился на уколы, воспаление в легких и бронхах прекратилось бы, и тогда при полном покое и в тепле он, несомненно, поправился бы. Но для г-на Пруста лишь он сам был для себя единственным авторитетом. Никто не мог принудить его к тому, чего он не хотел. Я думаю, с того дня, когда он сказал мне, что его труд теперь может выйти в свет, поддерживающая его прежде воля к преодолению недугов уже исчерпала себя, хотя, несомненно, он не собирался умирать. Но когда г-н Пруст написал слово «конец», пружина ослабла.

Помню, как прописывая камфару, доктор Биз сказал:

— Мэтр, уверяю вас, этот грипп — совершеннейший пустяк. Если вы послушаетесь меня, через неделю все будет в порядке.

И мягкий, хоть и затрудненный голос г-на Пруста:

— Милый доктор, я должен отправить эти корректуры, их ждет Галлимар.

— Но сначала все-таки вылечитесь, а потом занимайтесь корректурами.

Доктор Биз оставил нам свои назначения. Как всегда, г-н Пруст велел мне купить все лекарства. У нас это было правилом — все предписанное, даже если он не намеревался употреблять его, покупалось, а потом выбрасывалось. Но ампулы с камфарным маслом я все-таки не взяла — г-н Пруст в принципе не терпел уколы.

Видя упрямство больного и дальнейшее ухудшение бронхита с кашлем и прерывающимся дыханием, доктор Биз решился пойти к своему другу и однокашнику по университету профессору Роберу Прусту и сказал ему:

— Ваш брат не хочет лечиться. Он продолжает работать в ледяной комнате, которую нельзя топить из-за его астмы. Только вы можете повлиять на него. Любой ценой нужно хоть что-то сделать, иначе болезнь может развиться до такой степени, когда будет уже поздно. Но моего авторитета здесь не хватает.

В тот же вечер профессор Робер Пруст приехал на улицу Гамелен. Произошла тягостная сцена. Сначала меня удивил этот визит: доктор Биз ни полусловом ни о чем не намекнул мне. Уже потом он сказал: «Это был мой долг. Я боялся воспаления легких».

Профессор пытался убедить брата. Г-н Пруст рассказывал мне об их разговоре:

— Милый Марсельчик, ты просто обязан лечиться. Я врач и твой брат, и то, что я говорю, только на благо тебе и твоей работе тоже.

Но, ничего не добившись, он закончил такими словами:

— Значит, тебя надо лечить без твоего согласия. Это очень не понравилось г-ну Прусту:

— Как? Ты хочешь заставить меня?

— Я ни к чему не хочу принуждать тебя, милый Марсельчик. Я хочу только, чтобы ты переселился из этого ледника. Здесь, совсем рядом, есть великолепная клиника Пиччини, теплая, с прекрасными врачами. У тебя будет сестра для всего необходимого. И ты моментально вылечишься.

— Мне не нужны твои сестры. Меня понимает только Селеста, и никто ее не заменит.

— Но тебе оставят и Селесту. Для нее рядом будет комната.

На это г-н Пруст не стал «орать», как потом рассказывали, но очень рассердился:

— Уходи, я не желаю тебя видеть. И не возвращайся, если ты хочешь принуждать меня.

Профессор Робер Пруст ушел. Он не показал мне виду, но, думаю, был потрясен. Все-таки он просил предупредить его, если брату станет хуже.

Сразу после его ухода г-н Пруст позвал меня. Еще до того, как рассказать об их разговоре, он объявил:

— Дорогая Селеста, не впускайте больше ни моего брата, ни доктора Биза и вообще никого. Мне нужны только вы.

Затем пересказал случившееся. Я возразила:

— Сударь, но ваш брат не собирается ни к чему вас принуждать. Все, что он говорит, это лишь для вашего блага.

— А я говорю, что хочу поступать так, как хочу, до самого конца.

— Неужели, сударь, вы действительно так думаете? Если придет ваш брат, я не смогу не впустить его.

— Делайте, как вам сказано, Селеста.

И он повторил еще раз:

— Мне нужны только вы, и я запрещаю вызывать доктора Биза.

Было видно, как сильно он взволнован. Войдя, я застала его сидящим на постели.

В тот же день, успокоившись — а совсем не в самые последние дни, как говорили, — он еще раз сказал мне то, что говорил совсем давно по поводу уколов:

— Это просто ужасно. Как только врачи могут так мучить больных этими впрыскиваниями... и ради чего? Чтобы продлить жизнь? Еще десять минут, еще полдня жалкого существования?

И он еще раз повторил:

— Селеста, обещайте, что никогда не позволите колоть меня.

— Ах, сударь, но кто я такая? Никто. Вы прекрасно знаете, что врач придет только по вашему желанию. Вы все решаете сами, и никто насильно не станет делать вам уколы. Я обещаю это.

Мне всегда говорили, что я сделала для него все, насколько это было в моих силах, и мне не в чем упрекнуть себя. Но у меня остается какое-то раскаяние за то, что в последний день все-таки нарушила данное слово — без ведома г-на Пруста вызвала доктора Биза и позволила сделать ему укол.

Весь его конец был для меня сплошным кошмаром. Поль

Моран писал обо мне госпоже де Шамбрен, дочери Пьера Лаваля: «Остается лишь удивляться, как она только держалась на ногах». А что тогда говорить об этом несчастном теле под одеялом, сотрясавшемся от кашля и удушья и в то же время истязавшем себя неумолимым стремлением закончить свою работу.

Болезнь его мучила больше месяца, сильнее всего — сухим кашлем. Он говорил мне:

— Я больше не могу, Селеста. У меня совсем нет сил. Я задыхаюсь.

Но кашель и удушье становились все хуже и хуже. Иногда он отрывался от корректуры и обращал на меня свой прекрасный глубокий взгляд:

— Если бы вы знали, как мне плохо, Селеста...

Это была не жалоба, а какое-то мягко отвлеченное подтверждение факта. Я умоляла:

— Сударь, ну отдохните же!

— Нет, нет, я еще не кончил. И тут же с сияющей улыбкой:

— Но вот увидите, сами увидите, дорогая Селеста... я лучший врач, чем все эти доктора...

Он не только уже давно ничего не ел, но иногда даже не пил свой кофе. Я пыталась уговорить его выпить горячего молока, чтобы хоть как-то сопротивляться холоду в комнате. Но чаще всего он не соглашался даже на это. У него не было никаких других желаний, кроме желания работать. Попросив настойки, он только смачивал губы и тут же отдавал мне стакан. То же и с компотами, которые он иногда спрашивал, но лишь еле-еле притрагивался. Конечно, из-за жара ему ничего не хотелось, кроме холодного пива, что при его состоянии и температуре в комнате было чистым безумием. Но для него ничего не могло быть хуже возражений. Он их просто не переносил, и один его укоряющий взгляд мог заставить хоть кого пролезть в игольное ушко. Одилон бесчисленное количество раз ездил по ночам на опустевшую кухню «Рица» за холодным пивом.

Дойдя до последней степени истощения, г-н Пруст почти перестал говорить. Я ловила знаки и взгляды, чтобы понять его желания. Или он писал маленькие бумажки. Я уже настолько привыкла к этому, что успевала прочитывать их, пока он выводил буквы; я хорошо понимала его не очень-то разборчивый почерк.

Сколько я выбросила этих листочков — за годы их набралось бы на целую книгу! Часто он выражал нетерпение, когда что-то, по его мнению, задерживалось. Например: «...иначе я совсем рассержусь», — но при этом все-таки смотрел на меня с улыбкой.

Ужасно, что до самой последней минуты г-н Пруст сохранял полную ясность сознания. Он как бы со стороны видел

собственное умирание, и тем не менее у него находились силы улыбаться. Басни о том, что он записывал предсмертные ощущения для описания смерти своих персонажей, в частности писателя Берготта, конечно, не более чем литературные украшения. Но вообще г-н Пруст был способен и на это.

Приходил доктор Биз, хотя он ничего и не мог сделать. Теперь шла только борьба самого организма с болезнью.

Вернулся и профессор Робер Пруст. Уже назавтра после описанной сцены все было забыто, и через несколько дней г-н Пруст послал меня позвонить брату. Профессор понял, что тут ничем уже не поможешь, и, прекратив все свои попытки, мог приходить в любое время, так же как и другие близкие люди, например, Рейнальдо Ан. Вместо врача оставался только любящий брат, осужденный на то, чтобы наблюдать за развитием болезни.

На смену октябрю пришел ноябрь. Не знаю уж, откуда взяли, будто г-н Пруст сказал мне, что ноябрь — роковой месяц, унесший его отца. Подобная неуклюжая аллюзия была совсем не в его духе. И в эти дни он ни разу не упомянул о смерти профессора Адриена Пруста. Точно так же, как ничего не говорил и о матери, кроме одного раза, когда сказал мне, что в детстве она была великолепной сиделкой, если ему случалось заболеть.

17-го, накануне смерти, часов в восемь или девять вечера пришел профессор Робер Пруст. Незадолго до этого больной сказал:

— Селеста, сегодня мне, кажется, лучше. Раз уж вы все так хотите, чтобы я что-нибудь съел... ладно, приготовьте мне тогда соля.

Я занялась солем, и в это время пришел его брат.

— Можно войти к нему?

— Да, сударь, он уже проснулся.

— Как он сегодня?

— Кажется, получше. Попросил соля, я уже приготовила.,

— Подождите немного. Сначала я посмотрю его.

Они долго разговаривали, но г-н Пруст прервался, чтобы позвать меня, и сказал:

— Селеста, я все-таки воздержусь от этого соля.

Уходя, профессор объяснил мне в прихожей:

— Я отсоветовал ему есть рыбу, у него не совсем хорошо с сердцем. Но, слава Богу, он обещал мне оставить вас при себе на всю ночь.

Профессор Пруст ушел, не дав никаких других рекомендаций.

Это было в пятницу.

И в тот же день, 17 ноября, случился тягостный инцидент, не

помню уж, до или после ухода его брата. Г-н Пруст позвонил мне, и пока я была в комнате, попросил отвернуться и не смотреть.

— Я хочу подняться и сесть на кровати, — объяснил он, — но уже через несколько мгновений сказал: — Можете обернуться, Селеста, уже все.

Я увидела, что он опять лежит на подушках под одеялами. Взглянув на меня, г-н Пруст устало и очень грустно проговорил:

— Бедная моя Селеста, что же со мной будет, если я не справляюсь сам с собой!

— Это пустяки, сударь. Всего лишь небольшая слабость.

Он ничего не ответил, а только закрыл глаза.

Может быть, он позвал меня, опасаясь головокружения. Зная его щепетильность и изящество буквально во всем, тяжело представить себе, чего ему все это стоило.

Несомненно, что пневмония, которой столь боялись доктор Биз и профессор Робер Пруст, уже произвела свое разрушительное действие, хотя вполне явственно она проявилась позднее — в самые последние дни, а отнюдь не на первой неделе ноября.

Пожалуй, только я одна и сохраняла тщетную надежду на его выздоровление. И не то чтобы совсем не могла поверить в смерть — у меня почему-то не возникало такой мысли. Я мучилась, видя, как он слабеет и отказывается от всего, но все-таки сохраняла уверенность в благополучном исходе.

Однако некоторые признаки и жесты должны были поразить меня. В предпоследнюю неделю он поручил мне послать букет цветов доктору Бизу. Как говорили, будто бы «в знак раскаяния». Но в чем ему было раскаиваться? Что он не исполнил его предписаний? Нет, я полагаю, что это была лишь благодарность за заботу и внимание в течение стольких лет. С другим букетом он отправил меня к Леону Доде, который только что написал о нем большую статью. Помню, это было в воскресенье. Г-н Пруст ждал моего возвращения и отчета. Я рассказывала, что видела самого Леона, он долго разговаривал со мной и проводил меня на лестницу: «Я так люблю Пруста, что готов ради него на все, и не встречал еще никого, кто мог бы сравниться с ним по уму, восприимчивости и сердцу. Мадам, я прекрасно понимаю, что вы значите для него. Прошу вас, если я только понадоблюсь, не стесняйтесь, я приеду в любое время дня и ночи». И он чуть не плакал, говоря это. Г-н Пруст выслушал меня и был явно взволнован. Он сказал только:

— Что ж, и еще одно дело сделано.

Но я как-то не воспринимала все это, несмотря на слезы Леона Доде. Для меня были столь привычны знаки внимания к

нему, когда я передавала письма, а уж цветов я отвозила превеликое множество, и каких красивых...

В ту ночь, с 17 на 18 ноября, около полуночи г-н Пруст позвал меня, чтобы я побыла возле него, как он сказал своему брату. Его голос звучал почти радостно:

— Дорогая Селеста, устраивайтесь на этом кресле, и мы с вами как следует поработаем. Если ночь пройдет благополучно, я докажу докторам, что все-таки сильнее их. Но ее надо пережить. Как вы думаете, мне это удастся?

Естественно, я уверила его, и вполне искренне, что ничуть в этом не сомневаюсь. Меня беспокоило только, как бы он еще больше не переутомился.

Усевшись, я так и оставалась несколько часов в кресле, за исключением каких-то своих коротких отвлечений. Сначала мы немного поговорили, потом он занялся корректурой и добавлениями и диктовал мне часов до двух ночи. Я стала уже уставать, в комнате был страшный холод, и я ужасно замерзла.

— Кажется, мне труднее диктовать, чем писать. Это все из-за дыхания.

Он взял перо и больше часа продолжал писать сам.

В моей памяти врезались стрелки часов, показывавшие время, когда перестало двигаться перо, — ровно три с половиной часа ночи. Он сказал мне:

— Я слишком устал. Достаточно, Селеста. Больше нет сил. Но все-таки останьтесь.

Впоследствии профессор Робер Пруст объяснил мне, что, возможно, именно в этот момент прорвался абсцесс на легком и началась интоксикация. Г-н Пруст еще сказал:

— Не забудьте подклеить эти листки на свои места. Обязательно подклейте... это очень важно.

И он все подробно объяснил, что именно нужно делать. Потом повторил:

— Вы сделаете все как надо, верно, Селеста? Не забудете?

— Ни в коем случае, сударь, не беспокойтесь. А теперь вам нужно отдохнуть. Может быть, съедите что-нибудь горячее?

Он отказался и, нежно глядя на меня, произнес:

— Спасибо, дорогая моя Селеста... Я знал, что вы очень милы, но сегодня как-то особенно...

В ту ночь он повторил эти слова раз двадцать.

Г-н Пруст просил меня тщательно разложить его тетради и бумаги; потом стал говорить о том, что хотел бы сделать для меня. Впоследствии я узнала, как, уже больной гриппом, он нашел в себе силы и время съездить по этому делу к своему приятелю, банкиру Орасу Финали, который сам мне это

рассказывал. В то воскресенье, когда я носила цветы Леону Доде, г-н Пруст сказал мне:

— Селеста, я напишу письмо на ваше имя и положу в китайский столик. Обещайте мне, что откроете его только после моей смерти.

Я никогда в жизни не открывала без его ведома ни единого ящика, но решила поддразнить его:

— Ах, сударь, женщины любопытны. Неужели вы думаете, что я могу устоять? Конечно же, я прочту это письмо!

— Так вы прочтете? Тогда ничего не буду писать!

— И совершенно правильно, сударь. У вас найдутся дела поважнее, лучше просто скажите мне.

Рано утром 18-го он упомянул о проданных им ценных бумагах — кажется, это были акции сахара Сэй — и про чек на мое имя.

— Ну, а если кому-то вздумается опротестовать этот чек? Ведь должны же признать подпись умирающего?

— Сударь, не говорите так, вы меня расстраиваете.

— Боже мой, Селеста, как жаль... как жаль!

— Прошу вас, сударь, не утомляйте себя разговором. Думайте только о выздоровлении.

Я чувствовала, что ему плохо, и со своего кресла видела, как он вдруг переменился к худшему: веки часто моргали, дыхание стало очень тяжелым. Немного погодя, заметив, что он открыл глаза, я спросила:

— Вам не получше, сударь? Он взглянул на меня и ответил:

— Уже хорошо, что вам это показалось, дорогая Селеста. Около семи утра ему захотелось кофе:

— Чтобы угодить вам и моему брату, я выпью его горячим, но несите поскорее.

Помню, что я встала, как лунатик, ноги совершенно не слушались, и я сказала сестре Мари:

— Я кончилась, не могу даже стоять.

Все-таки мне удалось принести кофе и молоко. Он был совсем слабым, и я предложила:

— Сударь, позвольте мне помочь вам, я подержу блюдце.

— Нет, Селеста, спасибо.

Он взял чашку, поднес ее к губам и, взглянув на меня, повторил:

— Чтобы угодить вам...

Отпив немного, г-н Пруст велел не уносить поднос с чашкой и сказал:

— Полежу пока спокойно, — и сделал знак, что хочет

остаться один.

Я вышла. Меня сильно поразила происшедшая в нем перемена, и я ужасно забеспокоилась.

Вместо того чтобы возвратиться на кухню или к себе в комнату, я пошла обратно по коридору между его комнатой и ванной, стараясь не производить ни малейшего шума, и, задерживая дыхание, остановилась не у внутренней портьеры, как рассказывали — чего бы я себе никогда не позволила, а за дверью, которая находилась возле самой постели.

Было, наверно, около восьми часов утра. Я уже довольно долго простояла, неподвижная и окоченевшая, когда г-н Пруст, наконец, позвонил. Неслышно возвратившись назад, чтобы не возбуждать его подозрений, я вошла через дверь будуара. Он встретил меня испытующим взглядом.

— Что вы делали за дверью, Селеста?

— Сударь, я не стояла за дверью.

— Ах, Селеста, зачем обманывать?

— Да, сударь, я была там, чтобы сразу прибежать, если вам что-нибудь понадобится.

Он ничего не ответил на это и сказал:

— Только не тушите мою лампу.

— Сударь, вы же знаете, я сама никогда не стану зажигать или тушить лампу. Распоряжаетесь только вы.

— Не тушите, Селеста... в комнате какая-то огромная женщина, огромная, в черном, страшная... Я хочу видеть...

— Сейчас, сударь, не волнуйтесь; я сейчас прогоню эту мерзавку! Она напугала вас?

— Да, немного. Только не дотрагивайтесь до нее...

За все эти годы он часто говорил мне о смерти, но никогда не представлял ее в виде отвратительной черной женщины, которая, как говорили, будто бы являлась ему в годовщину кончины матери, — еще один выдуманный роман! Всякий раз, когда заходил разговор о смерти, г-н Пруст говорил, что не боится ее.

Когда он сказал об ужасной женщине, я подумала, что у него бред или просто кошмарный сон. Немного погодя, видя, что он успокоился, я вышла из комнаты. И тут я ослушалась г-на Пруста, запретившего мне звать кого-нибудь, — Одилон был немедленно послан к доктору Бизу. Я тем временем спустилась в булочную, чтобы позвонить профессору Роберу Прусту.

И еще одно обеспокоило меня: говоря о черной женщине, он старался как будто натянуть на себя одеяло и одновременно стал доставать с пола упавшие газеты, которые обычно запрещалось трогать из боязни поднять пыль. Я никогда не видела агонии, но еще в деревне слышала разговоры о том, будто «умирающие

всегда что-то собирают». И движения его пальцев напугали меня.

Каким бы это ни показалось невероятным, но много лет спустя, когда умирал мой дорогой Одилон, он говорил те же слова, что и г-н Пруст. Однажды в больничной палате я заметила его взгляд, устремленный на угол комнаты, и спросила, куда он смотрит. «Я вижу смерть». — «Нет, ты не умрешь!» — «Я уже умираю». — «Тебе страшно?» — и так же, как и г-н Пруст, он ответил: «Да, немного».

Была суббота 18 ноября, часов десять утра, когда приехал доктор Биз. Перед этим г-н Пруст попросил холодного пива, за которым, как всегда, отправился Одилон.

Несмотря ни на что, я все еще была уверена, будто у г-на Пруста всего лишь крайнее истощение сил, и поэтому велела мужу, чтобы он попросил доктора Биза взять какое-нибудь стимулирующее средство. Но, с другой стороны, я уже впадала в отчаяние и чувствовала необходимость вызвать всю семью. Когда я говорила по телефону из булочной, невестка г-на Пруста сказала:

— Значит, все-таки случилось то, чего мы так боялись.

Потом она объяснила, что мужа нет дома — у него лекции в больнице Тенон.

Но она незамедлительно все ему сообщит.

Открыв дверь доктору Бизу, я сказала (и это было мое второе ослушание):

— Доктор, умоляю, спасите его. Он еще больше ослабел. Сделайте ему укол.

— Но вы же знаете, он не хочет.

— Доктор... у него уже нет сил сопротивляться. Вы просто должны любым способом поддержать его.

Мы прошли в комнату, и я солгала, сказав г-ну Прусту, что доктор Биз, проходя мимо, зашел узнать, как дела.

— Я подумала, вам это будет приятно.

Г-н Пруст ничего не ответил, а только взглянул на меня, показывая, что его невозможно обмануть.

Тем временем приехал Одилон, а буквально за несколько минут до этого г-н Пруст спрашивал меня, не привез ли он пиво, на что я ответила: «Пока еще нет, сударь». — «Значит, и с пивом то же самое, все слишком поздно...»

Доктор Биз подошел к нему:

— Добрый день, мэтр.

Но г-н Пруст смотрел поверх него на вошедшего с пивом Одилона. И его голос, как бы проходя сквозь доктора Биза и ничего ему не отвечая, устремился к Одилону:

— Здравствуйте, дорогой Одилон, как я рад вас видеть.

Но пиво он уже не стал пить.

Доктор Биз приготовил укол. Я видела, как он волнуется и шепчет сам себе:

«Как же быть?..» На мой вопрос, куда нужно колоть, он ответил:

— В бедро.

— Доктор, я приподниму одеяло.

Мы оба подошли к постели, я осторожно подняла одеяло, стараясь не оскорбить деликатные чувства г-на Пруста.

Он лежал с самого края. Его рука, слегка распухшая, свисала вниз. Я подняла ее и держала одеяло. Доктор склонился над ним.

То, что произошло дальше, навсегда врезалось в мою память. Г-н Пруст вынул вторую руку из-под одеяла и, защипнув мое запястье, стал крутить кожу. Как бы мне ни хотелось, но я никогда не смогу забыть его крик:

— Ах, Селеста... ах, Селеста!

Это было хуже любых упреков и обвинений в предательстве обещаний не пользоваться его беспомощным положением для уколов.

И у меня тем больше причин для раскаяния, что в том его состоянии укол был уже бесполезен — раствор все равно не пошел в кровь.

Доктор Биз уехал, и почти сразу появился брат г-на Пруста. Я была так ошеломлена, что тут же стала говорить ему о своем раскаянии. Он утешал меня:

— Вам не о чем жалеть, Селеста. Вы поступили так, как надо.

И добавил еще:

— Как только мне сообщили, я сразу же поехал и был здесь раньше доктора Биза, но подумал, что лучше пропустить его первым, и поэтому остался ждать в авто. Мне не хотелось, чтобы брат подумал, будто я хочу принуждать его.

Он оставался с г-ном Прустом очень недолго. Было, кажется, часов одиннадцать или около полудня, но через час профессор Робер Пруст вернулся. Он, конечно, понимал, что все уже бесполезно, хотя ничего не сказал мне, а только попросил моего мужа привезти банки, а мне велел достать перину. Я вынула из стенного шкафа ту самую знаменитую перину от «Либерти», которой г-н Пруст ни за что не хотел пользоваться, боясь за свою астму. Одилон возвратился с банками. Профессор велел подложить подушки, а сам очень осторожно приподнял г-на Пруста.

— Я утомляю тебя, Марсельчик...

— Да, мой милый Робер... Было уже около половины

первого пополудни. Банки не сработали — они просто не присасывались. Больному становилось все труднее и труднее дышать, и профессор попросил Одилона поехать за кислородными подушками.

Он дал ему немного кислорода и, склонившись над братом, спросил:

— Так лучше, Марсельчик?

— Да, Робер. Через некоторое время профессор послал за доктором Бизом, явившимся к половине третьего. Они посоветовались и решили пригласить профессора Бабинского, одну из величайших знаменитостей тех лет. Уже во время болезни сам г-н Пруст говорил мне: «Я послал бы вас за доктором Бабинским. Но я ведь не видел его после смерти матушки, и как теперь я выглядел бы в его глазах?»

Приехал доктор Бабинский. Было, наверно, часа четыре. Все трое советовались тут же в комнате, и г-н Пруст все слышал. Я тоже была здесь. Его брат предложил внутривенный укол камфары, но профессор Бабинский остановил его:

— Нет, дорогой Робер, не нужно его мучить, это уже не поможет.

Затем доктор Биз уехал, а вскоре и профессор Бабинский. Я провожала его до дверей, но, прежде чем открыть, повернулась к нему и в отчаянии спросила:

— Г-н профессор, ведь вы спасете его?

Он казался очень взволнованным и, взяв обе мои руки, ответил:

— Мадам, я знаю, сколько вы сделали для него. Мужайтесь. Все кончено.

Я вернулась в комнату и остановилась возле профессора Робера Пруста. Никого другого больше не было.

Г-н Пруст все время смотрел на нас, и это было мучительно больно. Так прошло минут пять. Потом профессор подошел к постели, склонился над братом и закрыл ему глаза, все еще обращенные к нам.

— Он умер?

— Да, Селеста, это конец.

Была половина пятого.

Меня шатало от изнурения и горя, хотя я никак не могла поверить в случившееся, — он отошел с таким благородством и достоинством, без судорог, свет души и жизни погас в его глазах, неотрывно смотревших на нас до последнего мгновения. Последние его слова были обращены к брату. Он не говорил: «Мама!» — как рассказывали (конечно же, в угоду литературным красотам). Вместе с профессором мы привели в порядок постель,

стараясь не шуметь, как будто боялись разбудить его. У меня было какое-то странное ощущение — я впервые убирала лежавшие на постели предметы в его присутствии — газеты, бумаги, номер «НРФ» с какой-то записью на обложке.

Потом профессор Робер Пруст сказал:

— Теперь остается последнее. Надо привести его в порядок.

Я принесла белье. Профессор одел на него чистую рубашку, и мы сменили подушки и одеяла. Я хотела соединить ему ладони, как делали у нас в деревне с умершими. В тот момент я была настолько потрясена, что даже забыла о его желании перевить пальцы четками, привезенными Люси Фор из Иерусалима. Профессор ничего не знал об этом и сказал мне:

— Нет, Селеста, он умер за работой, пусть руки и остаются вытянутыми.

Так он их и положил.

Мы потушили маленькую лампу и зажгли свет в середине комнаты. Профессор спросил у меня, говорил ли что-нибудь г-н Пруст о своих похоронах, и я ответила, что об этом у нас никогда не было речи.

— Хорошо, сделаем все так, как мы устраивали для родителей.

Я только упомянула о желании г-на Пруста, чтобы аббат Мюнье читал над ним заупокойные молитвы. Но, как я говорила, аббат был прикован к постели и не смог приехать.

Профессор еще попросил меня срезать с волос несколько прядей для себя и для него.

Потом, позднее, пришел Рейнальдо Ан и занялся телефонными звонками к знакомым. Он пробыл у нас всю ночь, сначала вместе со мной возле г-на Пруста, а потом в соседней комнате, где пробовал сочинять музыку. Время от времени, стараясь сосредоточиться и собраться с мыслями, он подходил к постели умершего.

На следующий день первым пришел Леон Доде. Он много плакал, и профессор Робер Пруст сказал ему:

— Спасибо вам, Леон, за ваши чувства к Марселю.

— Не благодарите меня, он опередил нас всех на сто лет. После него нам уже нечего делать.

Г-н Пруст скончался в субботу. Профессор Робер сказал — это были его слова, — что он в «таком хорошем виде», лучше поэтому задержать похороны, чтобы все могли попрощаться с ним. Во вторник его положили в гроб, а похоронили в среду 22 ноября. В эти три дня приходило очень много людей. Не буду перечислять все имена. Помню поэтессу графиню де Ноайль, она с рыданиями

обнимала меня:

— Дорогая Селеста... Я-то знаю, кем вы были!..

В воскресенье 19-го приехал Поль Моран. Выйдя из комнаты, где лежал г-н Пруст, он сказал мне:

— Бывало, когда я приходил к нему, он говорил: «Простите меня, дорогой Поль, если я закрою глаза, я устал, но будем разговаривать. Мне нужно только немного отдохнуть». Но все-таки он слегка поглядывал на собеседника. Наверно, вы заметили, Селеста, это у него сохранилось до самого конца.

В то же воскресенье около двух часов дня по просьбе профессора Робера Пруста пришел художник Эллё, которого так любил г-н Пруст, чтобы сделать набросок сухой иглой. Он сказал мне, что хочет вложить всю свою душу в этот посмертный портрет, но ему мешают блики света на медной пластине. Я предложила приоткрыть ставни, но он не согласился из опасения, что свежий воздух может повлиять на состояние тела, которое, по словам профессора Пруста, удивительно хорошо сохранилось.

С этой пластины, награвированной сухой иглой, г-н Эллё сделал два оттиска и подарил их профессору, сказав, что, к сожалению, не смог сделать лучше и поэтому уничтожит гравировку. Но профессору Прусту они понравились, и один оттиск он отдал мне. Насколько я знаю, наследники Эллё нашли потом эту пластину, уже сильно попортившуюся, и с нее были сделаны другие оттиски, конечно, не такие четкие и хорошие, как два первые.

В этот же день Эллё, выходя, встретился со знаменитым рисовальщиком Дюнойе де Сегонзаком, который, в свою очередь, сделал рисунок углем. А потом приходил еще и фотограф Ман Рэй.

Все эти дни с ним были, кроме меня, только Рейнальдо Ан и профессор Робер и еще две монахини. По правде говоря, мне пришлось воевать с этими двумя драконами, чтобы оставаться в комнате; думаю, я очень мешала им — они не осмеливались спать в моем присутствии.

У меня кружилась голова от усталости, но я не хотела покидать г-на Пруста и все время смотрела на его изможденное, но, как всегда, спокойное лицо, молясь в глубине своего сердца: «Боже, сделай так, чтобы он хоть что-нибудь сказал мне...»

Во вторник после полудня перед положением тела в гроб профессор Робер Пруст долго оставался с ним наедине, потом позвал меня для последнего прощания, перед тем, как похоронные служители приступят к своему делу.

В среду, день похорон, профессор взял меня к себе в авто.

— Вам нужно быть вместе со всем семейством, Селеста,

ведь никто не был ближе к нему, чем вы.

На середину гроба он положил заказанный мною небольшой цветочный крест.

Я рассталась с г-ном Прустом только на кладбище, но никак не могла поверить в это.

И однажды произошло нечто необычайное... Я выходила из дома, в котором мы все еще жили с Одилоном и моей сестрой, и вдруг неожиданно увидела витрину книжного магазина тут же, по соседству, на улице Гамелен. За сверкающим стеклом стояли книги г-на Пруста в три ряда по три.

Меня словно ослепили те предчувствия, о которых он сказал в своей книге по поводу смерти писателя Берготта: «Его похоронят. Но всю траурную ночь на ярких витринах в три ряда по три его книги, словно ангелы-хранители, будут простирать над ушедшим свои крылья, как символ воскрешения».

Вот и все. Что еще сказать?

В последовавшие за его смертью недели у меня было только желание — умереть.

Мы оставались на улице Гамелен до апреля 1923 года, пока все не было приведено в порядок. Я подклеила последние листки к корректуре «Пленницы», как велел г-н Пруст, и мы вместе с профессором разложили в нужной последовательности все остальное. Мало-помалу перевозили вещи. Профессор Робер Пруст, кроме прочего, оставил себе и кровать брата, а я взяла ширму, стулья и пуфики, туалетный столик, а также три маленьких прикроватных столика; на одном из них лежало роскошное издание «Девушек в цвету». Г-н Пруст все собирался надписать его для меня:

— Мне хочется, чтобы на вашем экземпляре была красивая надпись, Селеста.

Я подарила эту книгу Рейнальдо Ану, который очень сокрушался, что так и не получил ее от г-на Пруста.

И, наконец, надо было переселяться. Теперь и я узнала, что такое вырывание корней. По совету профессора Робера Пруста я поехала на курорт Баньонь де ль'Орн.

В 1924 году Одилон купил небольшой домик на улице Каннет в Париже, квартал Сен-Сюльпис. Наших накоплений оказалось недостаточно, и пришлось занимать. Я настолько привыкла к волшебному миру рядом с неповторимым человеком, что никак не могла приспособиться к обычной жизни. Даже распорядок дня представлял для меня трудности, и я чувствовала себя, как ночная птица, обреченная жить только при свете дня. Оставалось лишь погружаться в себя, в свои воспоминания о тех сказочных ночах.

Как и предсказывал г-н Пруст, ко мне приходило много людей. Многие писали письма. И, опять же по его предсказанию, я никому не отвечала. Но были и те, кто так и не появились. Гастон Галлимар написал мне весьма любезное письмо с уверениями, что ничего для меня не пожалеет. Он даже не прислал ни одной книги г-на Пруста.

Я все больше и больше замыкалась в своих воспоминаниях. От г-на Пруста у меня осталось несколько вещей, несколько книг, несколько фотографий, кое-какие бумаги. Часто он повторял: «Селеста, когда я умру, берите здесь все, что хотите. Это все ваше». Но мне и в голову не приходило дожить до его смерти, а тем более брать что-нибудь. На другой день после похорон ко мне на улицу Гамелен пришел профессор Робер Пруст. Он спросил, оставил ли его брат какой-либо относящийся ко мне документ.

— Я готов исполнить его волю.

Я ответила, что мне об этом ничего не известно. Так оно и было — он умер, не позаботившись о завещании.

Профессор все-таки настаивал: может быть, я знаю, что г-н Пруст хотел сделать для меня?

— Ничего, сударь, благодарю вас, мне ничего не нужно.

Банкир Орас Финали и г-жа Строе также справлялись, чем бы они могли помочь мне. Но и им я отвечала с глубокой благодарностью: «Ничем».

Прошли годы. Мы продали дом на улице Канетт. Умер Одилон. Несколько лет я занималась музеем Равеля в Монфор ль'Амори под Парижем. Ко мне приходили, и, надо признаться, я говорила посетителям музея больше о г-не Прусте, чем о Равеле.

У нас родилась дочь Одиль. Это единственное существо на свете, для которого, как и для г-на Пруста, я готова достать с неба даже луну.

Однажды она сильно заболела, да еще в то время, когда мы вместе с сестрой Мари строили небольшой домик, куда могли бы удалиться на покой. Мне пришлось продать много сувениров, оставшихся после г-на Пруста. Хоть я и не сомневаюсь, что он не стал бы упрекать меня за это, но все-таки мне было страшно тяжело расставаться с ними.

Сохранившийся в моем сердце его образ — это самое прекрасное из всех моих воспоминаний. Принц духа среди людей.

Он никогда не покидал меня. Всякий раз, если в жизни мне предстояло какое-нибудь сложное дело, всегда находился почитатель г-на Пруста, который сглаживал все трудности, — словно и с того света он продолжал оберегать меня. Точно так же, когда надо принять какое-нибудь жизненное решение, я нахожу для себя совет и облегчение в воспоминаниях о нем. Совсем

недавно со мной случилась странная история. Еще на бульваре Османн как-то ночью г-н Пруст показывал мне вещи, которые я должна была положить в сувенирный ящик комода, в том числе прелестные коралловые серьги, принадлежавшие его матери. Он сказал:

— Пожалуй, они будут хороши для племянницы Сюзи. А вот еще моя булавка с опалом. Как жаль, что я раздавил ее, такой красивый камень... Хотите, я подарю ее вам?

Я сразу же вставила опал в кольцо, которое с тех пор не покидало моего пальца. Уже много позже я хотела подарить его дочери. Одиль побоялась потерять кольцо и, зная, как оно мне дорого, оставила у меня. Но все-таки камень где-то у меня выпал. В отчаянии я вспомнила старое средство моей матери: стала просить Святого Антония. Она уверяла меня, что это ей всегда помогало. Но бесполезно.

В тот же день Одиль принесла мне салат, и я его приготовила. Садимся все трое за стол — третьей была моя сестра Мари, которая жила вместе со мной. Едим салат. Вдруг Одиль испуганно замирает.

Я спрашиваю:

— Что с тобой? Сломался зуб?

Это был опал г-на Пруста.

Я поняла, что и сам он тоже никогда не покидает меня.

notes

Примечания

Перевод Д. Соловьева
Редактор П. Степанов

1

То есть букмекер, маклер азартных игр. *(Примеч. переводчика)*.

2

Буль — стиль мебели, названный по имени французского мастера XVII в. Андре Буля. *(Примеч. переводчика).*

3

Традиционно неправильный перевод названия «Du côté de chez Swann», которое буквально означает: «Со стороны Сванов», где слово «сторона» употреблено в смысле семейных отношений — со стороны отца, матери и т. п. В данном случае, со стороны семейства Сванов. (См.: Французско-русский фразеологический словарь. М., 1963, С. 271-272, №№ 2439, 2484, 2488). Правильный перевод: «Сваны». *(Примеч. переводчика)*.

4

Долина Иосафата— находится в окрестностях Иерусалима и названа так в память погребенного там царя Иудейского. По преданию, там будет вершиться Страшный Суд после конца света. *(Примеч. переводчика)*.

5

Имеется в виду знаменитый готический собор в Шартре (XI-XVI)

6

Тильбюри — легкий двухколесный экипаж**.** *(Примеч. переводчика).*

7

Сен-Сир – французская военная школа

8

Эгерия — нимфа, дававшая советы римскому царю Нуме Помпилию. Отсюда вообще доверенная советница

9

Мадленки— сорт бисквитного пирожного.

10

«Готский Альманах» (Almanach de Gotha) — дипломатический и генеалогический справочник, издававшийся в Готе с 1763 г., в котором помещались сведения о царствующих и аристократических династиях и дипломатическом корпусе.

11

Мандарин — чиновник высокого ранга в феодальном Китае.